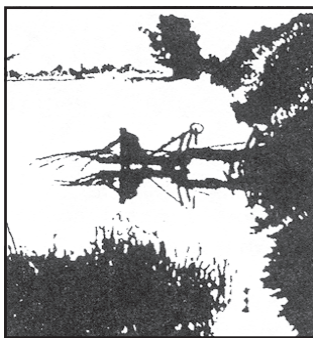


*Лауреат
Государственной премии
Волгоградской области*

*Лауреат
Всероссийской
литературной премии
«Сталинград»*

*Лауреат
премии имени В. Канунникова*



4 (88)
2015

ОТЧИЙ КРАЙ

Шеф-редактор
Виталий СМЕРНОВ
Главный редактор
Любовь ЧЕРНЯВСКАЯ

**Редакционная
коллегия:**
Александр ВЯЗЬМИН
Борис УСИК
Борис ЕКИМОВ
Василий СУПРУН
Александра ЕРОНОВА
Нина ШАШКО
Владимир ОВЧИНЦЕВ
Александр РОМАШКОВ
Виктор ФЕТИСОВ
Валерий МЕЛЬНИКОВ

На 1-й стр. обложки
фото Олега ДИМИТРОВА

В ЭТОМ НОМЕРЕ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

- «Счастлив тем, что я дышал и жил...» 3
Борис ГУЧКОВ. «Сама русская стихия» 4
Максим СКОРОХОДОВ. «Радуясь, свирепствуя и мучась...» 6

ЧТЕНИЕ И ОБЩЕСТВО

- Борис ЕКИМОВ. Необходимость Толстого 9

ЮБИЛЕИ

- Дэя ВРАЗОВА. Командарм 16

ГОЛОСА РОССИИ

- Виталий СЕРКОВ. «О чём веки забывать не надо...» 27

ЮБИЛЕИ

- Александр РОГОЗИН. «Война такой вдавила след...» 30

ПРОЗА

- Татьяна БАТУРИНА. Павла и Павел 35

ПОЭЗИЯ

- Владимир ОВЧИНЦЕВ.
«Мне только бы с душой своею разобраться...» 73

ПАМЯТЬ

- Наталья СИЛАНТЬЕВА. Комендант Сталинграда 80

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

- Владимир МАВРОДИЕВ. Писатель с глазами священника 87

ПОЭЗИЯ

- Евгений СОННОВ. «До сладкого крика души...» 112

ПРОЗА

- Пётр ТАРАЩЕНКО. Ломаная прямая 115

ПОЭЗИЯ

- Наталья БАРЫШНИКОВА. «Нас не покинет родство» 157

ТЕАТР

- Валерий БЕЛЯНСКИЙ. Великолепная «десятка» 162

МУЗЫКА

- Любовь ЧЕРНЯВСКАЯ.
Лоу, Уэббер, Брейтбург — на сцену! 168

ПАМЯТЬ

- Сергей ПОПОВ. Прогулки с самим собой 175

БЫЛОЕ

- Пётр СЕЛЕЗНЁВ. В стороне от больших дорог... 184

ПРОЗА

- Анатолий ЕГИН. В плену у жизни 199

ПОЭЗИЯ

- Ксения ВАЩЕНКО. «Внутри меня растёт моё спасенье...» 223

ПРОЗА

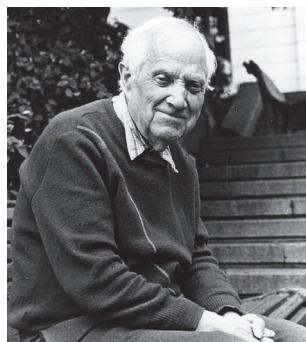
- Юрий ЛИФАНОВ. Нетипичный 227

КНИЖНАЯ ПОЛКА

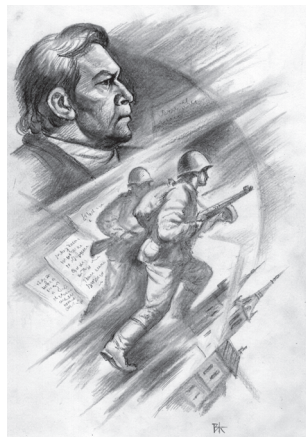
- Матвей СИБИРЯКОВ. Орден Мужества на груди планеты 234
Дмитрий ШЕВАРОВ. Прислонись к дверному косяку 235
Светлана ИОНОВА. Пионерские звёзды не гаснут 237



В стороне от больших дорог



Писатель с глазами священника

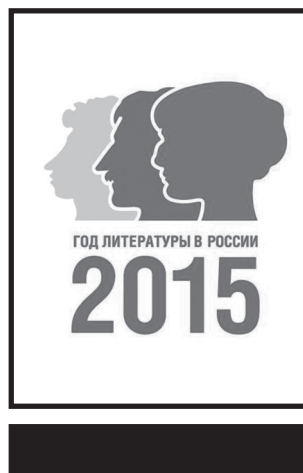


В плену у жизни



Великолепная «десятка»

*120 лет назад
родился Сергей Есенин*



«Счастливы тем, что я дышал и жил...»



Художник Геннадий Новожилов

С. Есенин.

*Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.*

*Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть своей тоски.*

*Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облакает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.*

*Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастливы тем, что я дышал и жил.*

*Счастливы тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве,
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.*

*Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.*

*Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.*

«Сама русская стихия»

В рязанское село Константиново — на родину Сергея Есенина, я приезжал не однажды, но особенно запомнилась первая поездка, в октябре 1965 года, когда праздновалось 70-летие со дня рождения великого русского поэта. Нас, группу учащихся техникума, привезли в село не 3 октября, в день рождения Сергея Есенина, а спустя дней десять. Но это было и к лучшему. Мы были в Константиново одни; уже стемнело, но экскурсовод все же впустила нас, приехавших за две сотни верст, в дом родителей поэта и коротко рассказала о детстве и юности Сергея. О том, чтобы писать стихи, я тогда и не помышлял, но после поездки к Есенину перо потянулось к бумаге и сложились первые неуклюжие, но искренние строки о золотой осени и о девушке, к которой испытывал нежные чувства.

Была, помнится, поездка в начале двухтысячных по литературным местам Центральной России с творческой группой, возглавляемой Елизаветой Иванниковой. Тогда, помимо родины Сергея Есенина, мы посетили толстовскую Ясную Поляну и подмосковное Мелихово, где Чехов писал свои пьесы и рассказы. С нами были телевизионщики, и по итогам поездки был вскоре показан волгоградским телезрителям замечательный фильм. Наконец, десять лет назад, в 110-ю годовщину со дня рождения Сергея Есенина, я посетил Константиново вместе с поэтами Владимиром Овчинцевым и Михаилом Зайцевым. Вспоминаю, что тогда мне с моим земляком поэтом Геннадием Морозовым посчастливилось познакомиться с Наталией Васильевой — дочерью замечательного русского поэта Павла Васильева, живущей в Рязани. Встреча эта запечатлена на памятной фотографии, о ней есть написанное впоследствии стихотворение.

И вот новая встреча с дорогими сердцу местами, где слагал свои первые строки великий поэт России Сергей Александрович Есенин. Мероприятия, посвященные 120-й годовщине со дня рождения поэта, прошли по всей Рязанщине, но основной площадкой по уже сложившейся традиции стало Константиново. Десятки тысяч людей приехали сюда 3 октября на Всероссийский праздник поэзии «Звени, звени, златая Русь!» День был ветреный, и не с площадки на крутом окском берегу, а со ступенек крыльца дома Лидии Ивановны Кашиной, чей образ в лице Анны Снегиной запечатлен Есениным в одноименной поэме, читали стихи поэты из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Твери, Тамбова, Вологды, Иркутска и других городов России. На площадке с открытым микрофоном, а их было несколько в селе, мог выйти любой желающий, чтобы прочитать свои собственные стихи или стихотворения любимого поэта.

Большой интерес у всех вызвал спектакль «Хулиган. Исповедь» в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова, знакомого россиянам по телесериалу «Есенин». Стульев и лавочек у главной сцены всем не хватало, ребяташки и даже те, что постарше, как грачи, облепили ветки окрестных деревьев... Поэты высаживали деревца на берегу Оки, отовсюду звучала поэтическая речь, песни на стихи Сергея Есенина исполнял Государственный академический русский народный хор им. Е. Попова, открыв выступление песней «Над окошком месяц, под окошком ветер...»

Сергей Есенин и Россия, особенно Россия сельская, провинциальная, — понятия нерасторжимые. Поэт «проскакал на розовом коне» свои короткие тридцать лет, чтобы прочно поселиться в сердцах и душах людей. Безусловно, особенно он близок сельскому читателю. «Это все мне родное и близкое, отчего так легко зарыдать...» С какой щемящей любовью и грустью говорит поэт о родине! Подобное чувство, когда «легко зарыдать», я думаю, испытывал каждый, возвращаясь пусть даже после короткой разлуки в родные места.



Картина воронежского художника Константина Финакова

«Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою», — эти афористичные строки, как гимн любви к Отчизне, мог написать только он и никто другой. Сергей Есенин лишь однажды ошибся, когда посетовал в стихотворении «Русь Советская», что «моя поэзия здесь больше не нужна, да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен».

Сергей Есенин нужен России, он нужен и сельскому жителю и закоренелому горожанину. Без его лирики оскудела бы, очерствела душа русского человека.

По-осеннему кычет сова... В прозрачном холоде заголубли доли... Гаснут красные крылья заката... Осень — рыжая кобыла, чешет гриву... Нивы сжаты, рощи голы... В саду горит костер рябины красной... Тихо льется с кленов листьев медь... Отговорила роща золотая березовым веселым языком... Облетевший тополь серебрист и светел...

Вот бродим мы «по раздолью осенней рани» со своими раздумьями и невольно замечаем за собой, что давно-давно как-то незаметно научились смотреть на окружающий мир глазами Сергея Есенина. Не думаю, что эта мысль вызовет у кого-то возражение. Особенно хороши, элегически прекрасны осенние лирические стихотворения поэта. Не случайно многие из них стали песнями.

«Король» поэтов начала прошлого века Игорь Северянин, будучи в эмиграции, сказал о Сергее Есенине в 1940 году: «Как все искренне!.. В них пульсирует сама жизнь, сама русская стихия. Да, его стихи рождены русской стихией». А наш земляк писатель Александр Серафимович оставил в 1926 году короткие заметки о Сергее Есенине. В них он писал: «Такой чудовищной способности изображения тончайших переживаний, самых нежнейших, самых интимнейших — ни у кого из современников... Сам. Всего достиг сам. Ни у кого не спрашивал, никому не подражал. За ним косолапа тащились другие, бездарно и убого. Чудесное наследство!..»

В стихах Сергея Есенина о матери каждый видит свою мать. «Лишь немного глаза прикрою, вижу вновь дорогие черты...», «Так приятно и так легко мне видеть мать и тоскующих кур...», «Ты одна мне помощь и отрада, ты одна мне несказанный свет...»

А как нежно поэт писал о «братьях наших меньших»! Невольно улыбаешься или утираешь слезы с глаз, когда читаешь его строки о лошадях, которые кивают поэту при встрече, о коровах со свитком годов на рогах, о кудлатых щенках, заползающих в хомуты, о закидывающем к голове тонкие ноги красногривом жеребенке, пытающемся обогнать поезд на чугунных лапах.

Глубоки, предельно чисты и просты чувства в стихах Сергея Есенина, и потому они вечны, как вечно сияние солнца. Может быть, когда-нибудь исполнится есенинская мечта и «пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть». Во всяком случае, мне хочется в это верить. Одно в российском подлунном мире останется неизменным: в сердцах людей будут вечно жить любовь и вера в светлое завтра, а потому из уст в уста, из поколения в поколение люди будут передавать стих великого поэта России Сергея Есенина:

«Потому и навеки не скрою, что любить не отдельно, не врозь — нам одною любовью с тобою эту родину привелось...»

Борис ГУЧКОВ

«Радуюсь, свирепствую и мучась...»

Наследие Есенина разнообразно и многогранно. Это и размышления о судьбах России в переломные периоды её истории, и философские раздумья, и глубоко прочувствованные описания родной природы, и одухотворенное обращение к Родине, и любовная лирика. Изучение есенинского творчества позволяет проникнуть в самую суть русской жизни, которая сформировалась на основе исконных древних верований наших далёких предков и глубоко усвоенного, укоренившегося в народе православного представления о мироздании. Буквально каждое произведение пронизано образами, центральными для русской культуры, связано с традиционным для России осмыслением действительности.

Для творчества Есенина, особенно раннего периода, характерно соединение земного и небесного, дольного и горнего, быстротечного и вечного. Есенинская поэзия — это преломление силой поэтического слова ощущений русского человека, который напряжённо и сосредоточенно ищет свой путь в жизни, это отражение истории всей русской цивилизации, существование которой сопряжено с подвижностью, поиском гармонии, вечной неуспокоенностью, со стремлением к самосовершенствованию, к сохранению самобытной культуры и внутренней целостности.

В нынешнюю школьную программу включено только несколько есенинских шедевров. Конечно, это крайне небольшая часть творческого наследия поэта. И всё же такие стихотворения, как «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Отговорила роща золотая...», «Гой ты, Русь моя родная!..», подвигают к размышлениям, важным в любые времена: о красоте родной земли, о миссии человека в мире, о смысле жизни. Но что дозированной программа, когда в любой школьной библиотеке, не говоря о других, есть прекрасные издания Есенина, целые собрания сочинений. И основная задача педагога-словесника не только в «анализе» нескольких произведений поэта, главное — чтобы учащийся после урока взял с полки есенинскую книгу. И уже не расставался со стихами гения мировой поэзии, своего соотечественника.

Источником, благодаря которому возможно преобразование пространства, является для Есенина русский крестьянский мир. Это сила, создавшая Россию, сохранившая её в годы великих бедствий, невзгод и тяжких испытаний. Воспетая Есениным «страна берёзового ситца» стала ярким символом родины для многих почитателей его творчества. Этот мир — не просто череда берёз, это одухотворённый образ мира, где в согласии с природой живут люди, ведь берёзки для Есенина — это и чувственный женский образ. Недаром лирический герой «почти берёзке каждой / Ножку рад поцеловать». Ему «Так и хочется к телу прижать / Обнажённые груди берёз».

«Анна Снегина» — одно из вершинных его произведений, созданное в начале 1925 года на Кавказе. В поэме, в значительной степени построенной на автобиографическом материале, раскрываются драматические страницы жизни человека в переломные моменты отечественной истории. В основе сюжета — общение главного героя произведения Сергухи — участника Первой мировой войны, известного поэта — с крестьянами и дочерью помещицы Анной Снегиной, в которую он был влюблён в юности.

Есенин одним из первых в русской литературе показал трагизм Первой мировой войны:

Я думаю:
Как прекрасна
Земля
И на ней человек.
И сколько с войной несчастных
Уродов теперь и калек!
И сколько зарыто в ямах!
И сколько зароят ещё!

Неприятие войны выражается в активном противостоянии героя действительности: «Под грохот и рёв мортир / Другую явил я отвагу — / Был первый в стране дезертир». Отметим, что Есенин, являясь санитаром военно-санитарного поезда, неоднократно выезжал к линии фронта, участвовал в перевозке и лечении раненых. Во время Первой мировой войны поэт видел мучения раненых, страдания и смерть сотен людей, которым оказывал посильную помощь, делая перевязки, помогая сойти с поезда, переноса на носилках. Трагизм звучит и в более ранних произведениях поэта, тематически связанных с военными событиями. Здесь проявляется одна из важнейших особенностей русской классической литературы, для которой самоценной является каждая человеческая личность.

«Анну Снегину» справедливо называют энциклопедией русской жизни начала 20-го столетия. В ней представлена галерея образов, галерея типов: крестьяне и дворяне, воины и защитники Отечества, убийцы и стяжатели. В ней преломились события русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, революций 1917 года. Каждый из героев глубоко индивидуально воспринимает происходящее, по-своему интерпретирует события. Мельник — наблюдатель, созерцатель, мыслитель. Его проникновенные письма никого не могут оставить равнодушным. Мельничиху серьёзно тревожат «сплошные мужицкие войны», причина которых кроется в безвластии, вседозволенности, растлевающе действующих на «неразумный народ». Для неё убийца старшины Прон Оглоблин — «булдыжник, драчун, грубиян».

Однако именно такие люди получают в революционное время возможность поднять народ на борьбу. Власть же зачастую получают люди вовсе без нравственных ориентиров, они легко приспосабливаются к любым обстоятельствам и везде находят свой корыстный интерес.

Как и другому народному вожаку, герою поэмы Есенина «Пугачёв», Прону Оглоб-лину уготована смерть — он погибает в стычке с белогвардейцами. Постигшая страну трагедия приводит к разобщённости, к трагической разорванности русского мира: Анна с матерью уезжают за границу, главный герой — в Петроград.

Любовь, которую не могут заглушить ни различия в социальном положении, ни долгие годы разлуки, является тем стержнем, который позволяет человеку оставаться человеком, жить полной, насыщенной жизнью, сохранять лучшие душевные качества. Важен поиск смысла бытия, следование нравственным принципам, заложенным православной культурой. Память о светлых минутах жизни, о задушевных беседах, о чистой любви позволяет главным героям поэмы преодолеть все испытания — как моральные, так и физические. Лишь спустя многие годы герой узнаёт о том, что его любовь не была безответной, несмотря на ласково прозвучавший, но глубоко ранивший его отказ. Как гимн молодости, гимн всепобеждающей любви звучат финальные строки поэмы:

Далёкие милые были!..
Тот образ во мне не угас.
Мы все в эти годы любили,
Но, значит, любили и нас.

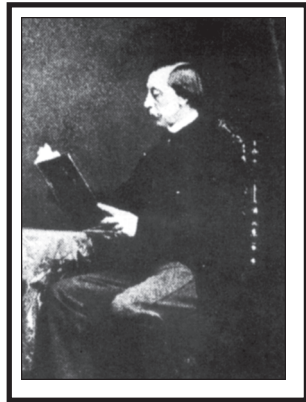
Невозможно вернуть былое, реализовать иной сценарий развития событий. Но жизнь продолжается, счастье не утрачивается.

И ещё одна цитата, из известного стихотворения «Спит ковыль. Равнина дорогая...», написанного в том же трагическом и последнем для поэта 1925 году:

Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуюсь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живётся на Руси.

Поэзия Сергея Александровича Есенина — это любовь и свет, красота и боль нашей России. Такое наследие вечно.

Максим СКОРОХОДОВ



ЧТЕНИЕ И ОБЩЕСТВО

Борис ЕКИМОВ

Необходимость Толстого

В давние уже годы услышал от одного литературоведа — «пушкиниста», человека славного, образованного, что-то вроде: «Слава богу, гора — с плеч, закончил книгу о «Медном всаднике». — «Книгу?» — переспросил я. — «Книга получилась. Больше двадцати листов. Это же — Пушкин...»

Понимаю, Пушкин. «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Редет облаков летучая гряда...» Почти каждое его стихотворение — это подарок на всю жизнь. Читаем. Помним. Повторяем и повторяем... Думаем. Всю жизнь. Порою кто-то пишет, объясняя, видимо, не столько поэта, сколько себя. Можно и книгу написать об одном стихотворении. И всё будет мало. Новые дни жизни: от юности до последних дней. И почти в каждом дне голос и душа поэта скажут что-то новое, о чём думать и думать...

Будучи в прошлом году в Иркутске, услышал я, что в тамошнем театре выступал в качестве гостя Владимир Ильич Толстой. Выйдя на сцену, он не привычные речи стал говорить: о жизни Толстого, о значении его творчества. Но услышал зал... «Неужели так никто и не подойдёт ко мне, неужели я не буду танцевать... Неужели меня не заметят... Они же должны знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и как им весело будет танцевать со мной...»

Да, это был «Первый бал Наташи». Слушали, затаив дыхание. А потом — встали и долго аплодировали. Это была благодарность Льву Толстому. И немного, конечно, Владимиру Ильичу Толстому, который вовремя и правильно понял, что лучшее слово о Толстом — это сам Толстой: его речь, его мысли, его вечная живая душа. Никто и никогда не скажет о Толстом лучше и точнее, чем сам Лев Николаевич. И слава Богу, что дарована ему была долгая жизнь. Он много написал. Для всех.

Вспоминаю своё. Маленькому внуку Мите пять да шесть лет, мне — за семьдесят. Возле дивана, где мы обычно отдыхаем, лежат несколько книг. Детская жизнь полна дел интересных: везде надо успеть. Бегом да бегом. Порой настигает усталость. Усаживаемся на диван. И почти всякий раз Митя вспоминал:

- Можно «Два товарища» почитать...
- Можно, — соглашаюсь я и протягиваю руку.

Книга рядом. Это сборник басен Льва Толстого с иллюстрациями Ромадина. «Два товарища» выбраны и положены ближе не моею рукой и волей; Митя выбрал из стопки других детских книг. Раз да другой было сказано: «Можно «Два товарища» почитать». Вот и легла книга поближе, чтобы удобней брать.

Мальш, открывая книгу, начинает смотреть содержание.

— Можно «Лев и мышь», можно «Два товарища»... Можно... — но добавляет всегда одинаково. — А потом — дальше.

Читаем. Порою — он, чаще — я. Одну басню, другую... Потихоньку беседуем, осуждая глупую жадность вороны, её погубившую, или плохого товарища, который оставил друга в беде. Хорошее получалось чтение. Славная, тихая беседа. Многие басни мальчик знает почти наизусть. Но не приедаются. Потому я и слышал порой: «Можно «Два товарища» почитать...» Это просит душа детская. В ней томится жажда духовная: хочется побыстрее понять этот мир, в который недавно ступил. Утоление этой жажды — художественная литература. Лев Толстой. Нынче это толстовские басни, завтра будет «Филиппок», «Лев и собачка», «Косточка»; в свою пору, с помощью учителей да родителей — «Детство. Юность. Отрочество» и, конечно, «Казачи» — исповедь молодого сердца. А потом — дальше и выше.

Внуку пять да шесть лет. Мне — старому — семьдесят с лишним. Вроде бы начитался. Вот они — ряды и ряды книг. Но возле того же дивана, приюта покойного — «Круг чтения», томик «Переписки», «Мысли на каждый день», «Об искусстве». И почти всякий день открывается одно ли, другое. Тоже просит душа. Утоленья ли, мудрого собеседника. И теперь, на склоне лет.

Толстовские годовщины, в том числе «Яснополянские встречи», подготовка к ним — прекрасный и естественный повод читать, размышлять и даже спорить о Толстом. Хотя все эти споры — не более чем сладкоголосое витийство. О чём спорить? Всё прояснилось и установилось. Перед нами, а точнее, с нами не только писатель, философ, учитель и проповедник, но шире, выше, объёмнее — Лев Толстой. Стремиться постичь его — всё равно что пытаться постичь природу ли, Бога. Но читать, в который раз наслаждаясь толстовским словом, пытаться понять, беседовать, удивляться его прозорливости — разве не радость.

Простой пример.

«Любопытство» — название космического аппарата, который работает на Марсе. Честное название. Цена этому «Любопытству» — миллиарды долларов.

Лев Толстой: «Если бы 1/10 тех сил, которые тратятся теперь на предметы простого любопытства ... тратились на истинную науку, учреждающую жизнь людей... то не было бы тех болезней, от которых вылечивается крошечная часть... Не было вырождения целых поколений... не было бы убийств сотен тысяч на войнах... не было бы тех ужасов безумия и страдания...»

Это не день вчерашний, но сегодняшний, когда ужас безумия уносит уже не сотни тысяч, а миллионы и миллионы человеческих жизней. «Какая интересная физика...» — сказал о своих трудах один из создателей атомной бомбы. Ответ ему — Хиросима и Нагасаки.

Ещё одно толстовское, совсем простое: «На старости лет мне как-то особенно удивительно, когда я так смотрю на муравьёв, на деревья. И что перед этим значат все аэропланы! Так всё это грубо, аляповато...»

Читаю. Тихий вечерний час разрывает оглушающий рёв современного военного «аэроплана». Поводились они над нашим посёлком летать. И все стараются ниже и ниже, чтобы оглушить, пугая ли, удивляя. Дуростью нас не удивишь. Даже если это плоды научных открытий и достижений века двадцать первого.



Гул стихает. Возвращается тишина.
В последних лучах солнца сияющая стрекоза
неслышно парит, улетающая к ночлегу.

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои.
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне.
Безмолвны, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи, —

сказал, может быть, самый значительный для Толстого поэт — Фёдор Тютчев. Это стихотворение отмечено в сборнике, который читал Толстой, восклицательным знаком.

— Не могу молчать! — ответил на эту, такую близкую ему, мысль, и тоже с восклицательным знаком, Лев Толстой.

И рядом с «Войной и миром», «Анной Карениной», «Кавказцами», «Воскресеньем» — томами великолепной, отточенной прозы, смолоду и до последних лет — дневники, бесчисленные письма людям близким и вовсе незнакомым, газетные статьи, памфлеты. «К рабочему народу», «К политическим деятелям», «К духовенству»...

Мне кажется, это случилось, потому что смолоду и до последних лет Толстой хотел быть услышанным и понятым. Но видя, что мир не меняется или слишком медленно изменяется, он начал «кричать». Он хотел быть услышанным. И он был услышан. Но...

Возле человека великого во все времена всегда было много «скептиков». По-другому называл их Крылов. Точнее назвал. Они не переводятся и ныне. Особенно им видятся уязвимыми философские труды Толстого, трактаты, статьи, письма. Ответ тут может быть только один: много званых (Толстой обращался ко всем), но не все оказываются «избранными», то есть способными хотя бы попытаться понять, а что труднее, принять толстовское видение мира и человека в нём. Сто раз обруганное «толстовство», которое воплотилось в людях и в сообществах людей. Разве не пример — толстовские коммуны, которые доказали свою жизнеспособность, но советской властью сначала были выселены в Сибирь, но и там не сдались и поэтому были физически унич-



тожены. А Махатма Ганди и с ним народ Индии, история его освобождения; движения «общих», «молокан», израильские «кибуцы», то там, то здесь возникающие «города Солнца», «Ауровили»... А сколько нас, чаще всего не осознающих, но сердцем и духом — «толстовцев». Сколько было и есть, и будет ещё. Ведь детская душа маленького Мити сразу почуяла в толстовских притчах родственное и потянулась к ним: «Два товарища» почитать...» А потом подумать, понять и принять толстовское, такое близкое детской душе: любовь, сострадание, радость жизни.

Они должны обязательно встретиться: маленький человек, начинающий путь, и Лев Толстой — русская художественная литература, которая изначально и поныне — не прятник, не кнут, но хлеб насущный и утоление души.

Да, именно русская художественная литература, которой совсем нередко, то громче, то тише, поют зауспокойную, определяя время окончательной смерти её. Опять Крылов вспоминается, его басня. Но порою визгливые ниспровергатели, атакуя Пушкина, Толстого, Есенина, пусть в малом и не сразу, а понемногу, шаг за шагом, но добиваются своего.

Простой пример. Среди книг, которые мы читали порою с внуком — «Родная природа», «Стихи русских поэтов». Издательство «Детская литература». Составитель Наталья Боярская. В книге четыре раздела: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Есенин, Некрасов... Вершины, цвет русской поэзии.

Строки редакционного предварения: «Эта книга введёт маленьких читателей в чудесный мир...» Именно так: в мир не только русской природы, но русской поэзии, русской культуры. Первые шаги детства рука об руку с Пушкиным, Кольцовым, Тютчевым, Никитиным.

Когда мы с внуком читали эту книгу, малыш удивлялся. Увидев лишь первые строки: «Здравствуй, гостья-зима...», «Октябрь уж наступил...», я поднимаю глаза от книги, гляжу на внука, продолжаю наизусть: «Просим милости к нам...», «Уж роща отряхает...» Печатных страниц и строк мне не надо, потому что они у меня в памяти, в душе, в благодарном сердце. Давным-давно, накрепко и до конца дней моих. Спасибо моему школьному «Букварю», «Родной речи», «Хрестоматиям». Спасибо их составителям, которые понимали, что русская классическая литература — это хорошие, понятные, легко запоминающиеся стихи и конечно же воспитание, созидание детской души, характера, нравственного стержня.

Детям — всё лучшее! Это — вечный закон. Еда, питьё, чистый воздух... И конечно же родной язык в лучших его образцах. Для нас — русская классическая литература. С первых шагов ученья. Особенно — с первых шагов.

Открываем нынешние учебники для первого класса, которые называются «Азбукой», «Литературным чтением». Последнее в двух книгах. Здесь представлены стихи и проза более 30 авторов, в основном мне неизвестных: Пивоваров, Лунин, Артюхова и т. д. Присутствует обычный набор детских писателей: Маршак, Чуковский, Михалков. Несколько строф Пушкина. Майков и Плещеев — по одному стихотворению. Лев Толстой помещён в раздел «Из старых книг». Одна басня — «Зайцы и лягушки». Вот тебе и вся русская литература!

Немногим более повезло русской классике в «Азбуке». Никитин, Суриков, Есенин, Бунин — по одной строфе каждый. Пушкин появляется на страницах «Азбуки» семь раз, но лишь отрывками по 3-4 строчки (не строфы!). Толстой — шесть раз, но тоже крохотками. А В. Берестова — 15 произведений. И снова конечно же — Бобылёв, Костарёв, Григорьев и Григорьева, Пляцковский, Резник, Хармс, Михалков, Маршак, Благинина — всего два десятка авторов, для первого знакомства с русской художественной литературой.

НЕОБХОДИМОСТЬ ТОЛСТОГО

Цыпа-цыпа! Аты-баты!
Мы — цыплята, мы — цыплята!
Мы клюём, клюём, клюём
Всё, что встретим на пути,
И поём, поём, поём
Ти-ти-мити! Ти-ти-ти...

Слон-москвич, в столицу он
Был слонёнком привезён
Из соседней из страны,
Той, где водятся слоны.

(Вопрос по географии: «Из какой соседней? Польши, Монголии?..»)
И словно глоток свежего воздуха, после душной комнаты:

Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

.....
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весёлой, пёстрою стеной
Стоит над светлою поляной.

Слава тебе Господи, что была, есть и будет русская художественная литература!
Но это лишь глоток. Одна лишь строфа Есенина, одна строфа Бунина, Сурикова,
Никитина. А далее снова так называемое «детское»:

Гусь Гога
И гусь Гага.
Друг без друга
Ни шага.

«Азбука», «Хрестоматия» — это первые встречи с литературой. Первые шаги, которые должны быть выверены с помощью взрослых. Это понимал Толстой, взяв на себя великий труд составления не только «Азбуки», «Новой азбуки», но 1, 2, 3, 4-й «Русских книг для чтения». В течение семнадцати лет он работал над этими книгами, объясняя столь долгие труды великой ответственностью: «... для неё нужно знание греческой, индийской, арабской литератур... работа над языком...», «... как бы не просмотреть Ломоносова, Пушкина...», «... первые впечатления поэтические получает из неё...» То есть из «Азбуки».

«Дети — строгие судьи в литературе. Нужно, чтобы рассказы были для них написаны и ясно, и занимательно, и нравственно».

Позднее дотошные литературоведы подсчитали, что, работая над «Азбуками» и «Русскими книгами для чтения», Л. Толстой создал 629 произведений. А потом снова и снова шёл строгий отбор. «... Чтоб всё было красиво, хорошо, просто и, главное, ясно», — объяснял свою задачу Толстой.

В толстовских «Азбуках» — первое знакомство с богатствами русского языка, с нашей природой, историей, вековыми обычаями, нравами, а всё это вместе — ненавязчивые подспудные уроки воспитания: любовь, милосердие, сострадание. «Мальчик и нищий», «Бабушка и внучка», «Старик и яблонька»... Короткие строки, но великая мудрость, которая от страницы к странице, капля за каплей наполняет душу ребёнка.

«... Каждые три-четыре строчки... превращаются под его пером в умные, трогательные, убедительные рассказы» (С. Маршак).

Но теперь, в современных «Букварях» Лев Толстой оказался лишним. Повторю: в «Литературном чтении» для 1-го класса, в двух его книгах, лишь одно-единственное произведение Толстого — «Зайцы и лягушка», в разделе «Из старых книг».

Наши прежние «Буквари» да «Родные речи», вероятно, были мудрее. Недаром я и поныне помню их страницы: Пушкин, Некрасов, Тютчев, Никитин, Кольцов...

Мои первые учебники теперь лишь в памяти. Найти их не смог. Но, к примеру, в «Родной речи» для первого класса 1963 года — десять произведений Толстого, одиннадцать — Ушинского, Плещеев, Аксаков, Лермонтов, Коцюбинский, Пушкин, Одоевский, Некрасов, Крылов, Соколов-Микитов, Майков. Всё это за полвека растеряно. Взамен:

Цыпа-цыпа! Аты-баты!

.....
Ти-ти-мити! Ти-ти-ти!

Русская художественная литература во времена нынешние, мягко скажем, не в чести. Трудно хорошим книгам, трудно и литераторам. Порой посещают печальные мысли: а что если и впрямь: «Будущее русской литературы в её прошлом». Эту усмешливо-злую формулу уже почти век повторяют, пытаюсь принизить, а то и вовсе свести на нет русскую литературу прошлого века и века нынешнего.

Снова нам в помощь Лев Толстой. Как печален, как скорбен старый огромный дуб... с «обломанными... суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками... он старым, сердитым и презрительным уродом стоял...» Его печальный вид впору мыслям безнадёжным князя Андрея Болконского, что было естественно после череды жизненных невзгод. «Да, он прав... этот дуб... — наша жизнь кончена».

Но... Вот она, подбегает к коляске тоненькая черноглазая девушка, «которая... довольна и счастлива», о чём-то своём кричит и смеётся. Таёт на сердце лёд.

«Нет, ты посмотри, что за луна! Ах, какая прелесть! Душенька, голубушка, поди сюда. Так бы вот... и полетела бы. Ах, боже мой! Боже мой!»

Что особого в этих простых словах, наборе слов. Почему они словно врачующий бальзам или живая вода? Просто это — Лев Толстой.

И вот уже...

«Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, тёмной зелени, млея, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого горя и недоверия — ничего не было видно. Сквозь столетнюю жёсткую кору пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвёл их. «Да, это тот самый дуб», — подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мёртвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна — и всё это вдруг вспомнилось ему.

«Нет, жизнь не кончена...» — окончательно беспрременно решил князь Андрей».

Повторим и мы: продолжается жизнь людей, страны и, конечно, художественной литературы. Нужно лишь оглянуться, прислушаться, увидеть в своих, уже нынешних днях «черноглазую девушку», услышать её слова или что-то иное, похожее, детское.

Будем читать Толстого, потому что жизнь продолжается, она — и в прошлом, и в будущем.

Когда смотришь на могучее дерево, любишь его кроной, листвой или вкушаешь его плоды, не лишне вспомнить и возблагодарить не только нынешний час этого дерева; ведь позади у него годы и годы, порою десятилетия, века; под морщинистой истрес-

НЕОБХОДИМОСТЬ ТОЛСТОГО

канной корою — обруч за обручем — годовые кольца, а в земле могучие корни, на которых дерево стоит и которым живёт в час нынешний, одаряя прохладой, красотой, плодами.

«Будущее русской литературы в её прошлом».

«Да!» — соглашаюсь я. Будущее и настоящее русской художественной литературы в её великом прошлом, в тех светлых истоках и могучем русле, где сливаются Толстой и русские сказки, Пушкин и народные песни, Лермонтов и наши поговорки, пословицы, Тургенев, Лесков, Шолохов, Шукшин, Рубцов.

С опорой на это богатство, с подмогой его рождалось и ныне рождается русское слово — свежая молодая листва и плоды многовекового укоренённого древа русской художественной литературы, которое одно для всех. От первых шагов жизни до последних.

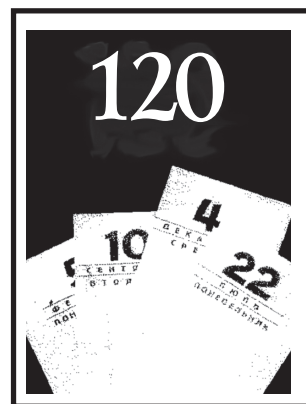
Вспоминаю недавнее, детское: «Можно «Два товарища» почитать. А потом — дальше...»

Именно так, дальше и выше. Рука об руку с Пушкиным, Тютчевым, Никитиным, Кольцовым. И конечно же — Лев Толстой, великий писатель, мудрый учитель, необходимость которого так очевидна в нашей нынешней жизни.

2013 г.



Имя выдающегося полковника М. С. ШУМИЛОВА золотой строкой вписано в историю Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы. Командующий 64-й — 7-й гвардейской армией, оборонявшей южные рубежи города. Герой Советского Союза, кавалер трёх орденов Ленина, четырёх орденов Красного Знамени, двух — Суворова I степени, орденов Кутузова I степени, Красной Звезды и других советских и зарубежных наград. Почётный гражданин города-героя Волгограда, а также городов Братислава, Белгород, Бельцы, села Верхняя Теча. Памятники генералу Шумилону установлены в Волгограде и Кургане, его имя носят улицы в Москве, Волгограде, Белгороде, Чебоксарах, Кировограде (Украина). Имя Шумилова присвоено СПТУ № 18 Харькова, на территории училища установлен бюст героя. В ноябре нынешнего года исполнилось 120 лет со дня рождения генерал-полковника Михаила Степановича Шумилова.



ЮБИЛЕИ



КОМАНДАРМ

В начале сороковых Бекетовка представляла собой небольшой посёлок — южный пригород Сталинграда у подножия Ергенинских гор. Его облик представляли старые постройки, ещё начала века, в основном деревянные: жилые дома, магазин, баня, школа. Перед войной открылся культурный центр — клуб имени Кирова. На территории же, где ныне разрослась «молодая» часть Кировского района, была зелёная луговина. По весне она пышно расцветала полевыми ромашками и тюльпанами, а в густых травах паслись коровы и козы. Много позже, когда в южном направлении от города построили развилку дорог, в Бекетовку пришла новая жизнь: бывшая луговина стала активно застраиваться.

В дни Сталинградской битвы в старой части посёлка были расквартированы подразделения 64-й армии, командиром которой 28 июля 1942 года был назначен генерал М. С. Шумилов. Воины этой армии с гордостью называли себя «шумиловскими солдатами».

Рассматриваю старые фото, хранящиеся в Музее-панораме «Сталинградская битва». Вот снимок 1943 года: Михаил Степанович ещё сравнительно молодой, но уже опытный военачальник. Лобастый, губы крепко сжаты, суровый строгий взгляд человека, ощущающего всю тяжесть ответственности: как добиться победы, но сберечь солдат? А на этом фото Шумилов с детьми — это его родная стихия, ведь по гражданскому образованию он учитель. Есть и послевоенные фотографии командарма: на мундире — Звезда Героя Советского Союза и колодки других воинских наград.

Михаил Степанович Шумилов родился в ноябре 1895 года в Пермской губернии, в селе Верхняя Теча. Учился в земской сельской школе, поступил в учительскую семинарию в Челябинске. В 1916 году окончил Чугуевское военное училище, был призван в Императорскую армию. В звании прапорщика Кременчугского пехотного полка участвовал в Первой мировой войне.

В апреле 1918 года добровольцем вступил в Красную Армию. Командовал батальоном, затем стрелковым полком в составе 7-й стрелковой дивизии Харьковского военного округа. В конце 20-х годов окончил Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» имени III Коминтерна. В июне 1937 года был назначен командиром 7-й стрелковой дивизии Киевского военного округа. Участвовал в боевых действиях в Испании, в апреле 1939 года стал командиром 11-го стрелкового корпуса в Белорусском особом военном округе.

Великая Отечественная война застала М. С. Шумилова в Прибалтике: после неудачного оборонительного сражения у Чудского озера в конце июля 1941 года он сумел вывести части корпуса из окружения. Позже как заместитель командующего 55-й армией Ленинградского фронта участвовал в обороне Ленинграда.

Уже через несколько месяцев, в начале 1942 года М. С. Шумилов был назначен заместителем командующего 21-й армией, подразделения которой летом 1942 года на Юго-Западном фронте вели бои на Харьковском направлении и на Дону.

С августа 1942 года и до конца войны он командует 64-й армией. Героическая 64-я армия. Она была сформирована 10 июля 1942 года на основании соответствующей директивы Ставки Верховного Главнокомандования. Требовалось мощное воинское формирование для участия в полномасштабной, надёжной обороне Сталинграда и последующего контрнаступления. В состав армии вошли шесть стрелковых и две морские стрелковые дивизии, две танковые бригады, полки курсантов Житомирского, Краснодарского и двух военных училищ Орджоникидзе, а также артиллерийские и другие части.

12 июля 64-я армия была включена во вновь образованный Сталинградский фронт. В первые дни битвы её передовые отряды вступили в бои на реке Цимла. Позже отра-

жали наступление южной ударной группировки противника на рубеже Суровикино, Рычково и далее по левому берегу Дона. В начале августа возникла угроза прорыва с юго-запада к Сталинграду 4-й танковой армии немцев. В связи с этим войска 64-й армии были отведены на внешний оборонительный обвод Сталинграда, в начале сентября — на рубеж Старо-Дубовка, Елхи, Ивановка. Продолжались упорные оборонительные бои. Наконец соединения армии укрепились на юго-западной окраине и в южной части Сталинграда. Благодаря умелым действиям командования, героизму солдат и офицеров ещё некоторое время работали промышленные предприятия Кировского района. Фашистов, сумевших прорваться в северную и центральную части города, сюда, на юг, не пропустили.

Командный пункт 64-й армии в период боёв был в разных местах Кировского района. В оборонительный период КП размещался вблизи Волги на территории лесокombината имени Ермана, затем в районе Кировского затона на территории химзавода. Приведём отрывок из рассказа начальника разведотдела штаба дивизии И. М. Рыжова:

«...Начальник штаба генерал Ласкин отправил меня с задачей: найти в Сталинграде штаб 62-й армии, информировать о наших действиях и получить информацию от них. Это было 13 сентября 1942 года. Выехал я на полutorке во второй половине дня. Авиация противника в это время «обрабатывала» район Песчанки методом «карусели»: примерно 9-12 самолётов (до эскадрильи) образуют круг, поливая, пикируя и бомбя определённую площадь. Сделав 2-3 круга и отбомбившись, они уходят, а на смену им образует круг новая группа самолётов. И когда мы ехали по дороге из Бекетовки в Сталинград, отдельные самолёты пытались бомбить и эту дорогу, и нам приходилось съезжать с неё, укрываясь в придорожных кюветах и малых мостах («трубах»). Проехав благополучно через Купоросную балку, через реку Царицу, мы оказались в пострадавшем от бомбёжек городе».

Далее И. М. Рыжов подробно рассказывает, что возвратиться тем же путём в Бекетовку было практически невозможно, и всё же каким-то чудом ему это удалось: «Минут через 20 мы остановились у трубы, где размещался КП армии. Когда я явился к генералу Ласкину, он был удивлён и первым его вопросом был: «Как вы проехали?». Я ответил: «По дороге Сталинград — Бекетовка». Больше он ничего не спрашивал, а направил меня к генералу Шумилову. Последний, узнав, что я прибыл на машине по дороге Сталинград — Бекетовка, сказал: «Но ведь дорога перерезана противником, и



На улице Шумилова

по докладу командира 204-й сд Скворцова, его части отошли, а его «штаб около часовни на берегу Волги».

...К счастью, идти мне далеко не пришлось: при выходе из «трубы» я встретил нач. штаба этой дивизии и привёл его к командарму, который приказал штабу 204-й сд занять свой оставленный КП с землянкой комдива, хорошо защищённой от артобстрела (если не ошибаюсь, перекрытие блиндажа имело не менее четырёх слоёв брёвен).

На второй день, т. е. 14 сентября 1942 года противнику действительно удалось по Купоросной балке выйти к Волге и тем самым разъединить 62-ю и 64-ю армии. Командарм потребовал от командиров соединений прочной обороны — дальше отступать некуда.

...Штаб армии перешёл к этому времени в «трубу» — под мост железнодорожной насыпи несколько севернее Бекетовки. Он был довольно близко к правому флангу переднего края обороны. Михаилу Степановичу в связи с этим вспоминалась одна неприятная история. Однажды, выйдя из «трубы», он встретил пожилого мужика из местных жителей, который обратился к нему: «Ну как, товарищ генерал, немец вас в трубу загнал?»

Впоследствии Михаил Степанович вспоминал, что этот вопрос так задел его, что он приказал запросить штаб фронта о перемещении КП армии на запасной КП — в Сарепту (почти рядом с лесопильным заводом), куда с получением разрешения он немедленно перебазировался и находился там до 25 января 1943 года.

В Музее истории Кировского района есть фотография этой «трубы». Есть фотографии мест, где располагались КП и ВПУ 64-й армии. Был и памятный знак на берегу Волги.

В полосе Юго-Восточного фронта, не сумев пробиться вдоль железной дороги Абганерово—Сталинград, враг перенёс направление главного удара восточнее, пытаясь достигнуть Сталинграда через Красноармейск, вдоль Волги. Начальник штаба 64-й армии генерал И. А. Ласкин пишет: «Это значило, что танки врага могли вскоре выйти к Волге в районе Красноармейска».

Стремясь охватить левый фланг 64-й армии, противник продолжал наносить удары в направлении станции Тингута, разъезда 74-й км, станции Абганерово. В то же время он пытался прорвать оборону 57-й армии на участке Дубовый Овраг, разъезда 55-й км и овладеть Красноармейском, станцией Сарепта, Сталгрэсом. В безводной степи, под палящими лучами солнца советские воины отбивали вражеские атаки.

«Семь суток пробивалась армия генерала Гота, семь суток шли невероятно ожесточённые бои», — пишет И. К. Морозов, командовавший тогда 422-й стрелковой дивизией.

Однако прорвать фронт войск 64-й и 57-й армий противнику не удалось. Ганс Дёрр в своей книге «Поход на Сталинград» признаёт крупную неудачу немецких войск на южных подступах к городу: «Армия остановилась всего в 20 километрах от Волги: сно-



М. С. Шумилов

ва наступил критический момент не только для действий 4-й танковой армии, но и для всей битвы за Сталинград.

Когда 4-я танковая армия 20 августа перешла к обороне у станции Тундутово, она находилась в непосредственной близости от важного участка местности, возможно, имевшего решающее значение для всего оперативного района Сталинграда, — приволжских возвышенностей между Красноармейском и Бекетовкой... Здесь, если смотреть вниз по течению реки, расположена последняя возвышенность у берега. Она господствует над всем изгибом Волги с островом Сарпинский. Если вообще можно было взломать оборону Сталинграда, то удар следовало наносить именно отсюда.

Красноармейск был южным краеугольным камнем обороны Сталинграда и одновременно конечным пунктом единственной коммуникации, связывавшей по суше западный берег Волги с Астраханью. Ни в каком другом пункте появление немецких войск не было бы так неблагоприятно для русских, как здесь.

Кроме того, любой вид боя, который немецкие войска вели за город — будь то наступление или оборона, — с самого начала был связан с большими трудностями, пока Красноармейск и Бекетовка оставались в руках русских, так как эта возвышенная местность господствовала над Волгой и предоставляла прекрасные возможности для наблюдения за калмыцкими степями, а также могла быть использована как место сосредоточения и как трамплин для контрудара русских по южному флангу войск, наступавших на Сталинград или занимавших там оборону.

Для 4-й танковой армии принятие решения о прекращении наступления в непосредственной близости от цели, с тем чтобы попытаться другим путём пробиться к Сталинграду... означало отказ от овладения высотами в районе Красноармейска, отказ от намеченных группой армий «Б» сходящихся ударов по противнику.

Очевидно, что для 4-й танковой армии другого выхода не было».

Об этом периоде обороны Сталинграда в своих воспоминаниях рассказывал сам Михаил Степанович: «Для прикрытия отхода главных сил армии требовалась исключительно стойкая часть. И выбор командования пал на 126-ю дивизию. Понимая, какую трудную задачу возлагаю на плечи её командира, я сказал Сорокину:

— На тебя вся надежда, выручай!

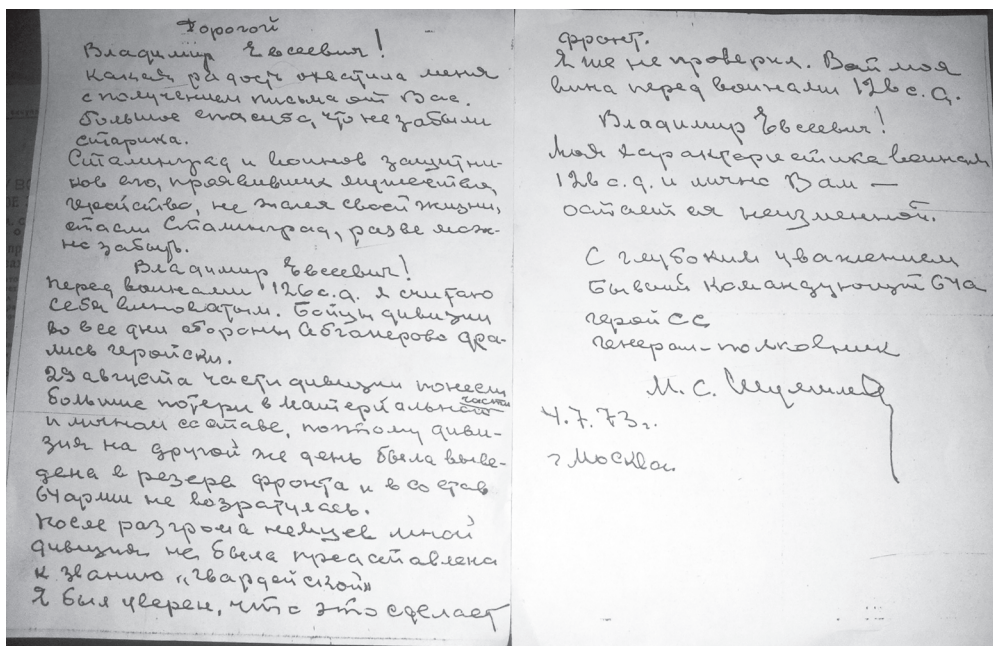
— Если требуется, — ответил он, — будем стоять до конца.

То есть надо было удержать позиции любой ценой. Полковник Сорокин в 6 часов 30 минут 29 августа 1942 года доложил Шумиллову о начале наступления крупных танковых сил и мотопехоты врага.

— Знаю, всё знаю, — ответил М. С. Шумилов, который был на НП. — Держись, дорогой, до последнего вздоха держись! Иного выхода нет. Любой ценой сдерживайте танки, отсекайте от них пехоту! Главное — держаться. Час продержитесь — хорошо, два — лучше, а три — вам при жизни памятник поставим!»

Командир дивизии В. Е. Сорокин позже писал: «Кажется, это было немыслимо: против одной почти обескровленной дивизии — 5 вражеских дивизий, да ещё две из них танковые, одна моторизованная. Но это так. И всё же держали эту силищу, сколько могли. До сих пор не могу себе представить, откуда у людей в крайних обстоятельствах брались такие нравственные и физические силы».

Комдив Владимир Евсеевич Сорокин прошёл долгий военный путь, в послевоенные годы часто рассказывал об участии своей дивизии в боях за Сталинград. Оставил воспоминания. Умер в 1985 году в Москве и завещал похоронить себя на сталинградской, абганеровской земле. Его завещание было выполнено: могила комдива находится рядом с братской могилой его погибших в тех боях однополчан в посёлке Привольный. Есть в посёлке и улица имени Сорокина. Решением сельсовета ему присвоено звание Почётного гражданина Абганерово.



Родственники передали вещи и документы командира 126-й стрелковой дивизии полковника В. Е. Сорокина в школьный музей, где открыта отдельная экспозиция, посвящённая его судьбе. Есть там и известное письмо М. С. Шумилова к В. Е. Сорокину.

После прорыва противником обороны Юго-Восточного фронта на стыке 62-й и 64-й армий и выхода его войск к Волге в районе Купоросное основные силы были направлены на отражение ударов врага, рвавшего в город с юга. В середине сентября особое значение в ходе обороны Сталинграда приобрела знаменитая Лысая гора — высота 145,5 м, находящаяся на южной окраине. Эта высокая точка — пустое, открытое со всех сторон пространство — имела стратегическое значение: с неё практически полностью просматривался весь город. Гитлеровцы прорвались на неё 14 сентября. Укрепились, выстроив добротный оборонительный рубеж: лабиринты траншей глубиной в человеческий рост, колючая проволока, минные растяжки.

Пока на севере и в центре Сталинграда шли кровопролитные бои, немцы концентрировали свои силы на территории Лысой горы с целью именно отсюда нанести окончательный победный удар по Сталинграду.

Этому плану, как и другим намерениям гитлеровского командования, не суждено было сбыться. В середине октября воины 64-й армии предприняли первую массированную атаку на Лысую гору с целью выбить врага. Фашисты оборонялись отчаянно, доходило до рукопашных схваток, потери с обеих сторон были огромными. Бои продолжались 147 дней, и только в январе 1943 года высота была освобождена.

Здесь, на Лысой горе, похоронены её защитники — они покоятся в братской могиле на восточном склоне, у сосновой рощи. На могиле установлен мраморный памятник. Надпись гласит: «Здесь похоронены воины частей 64-й армии, погибшие в дни Сталинградской битвы. Слава героям!»

Несколько позже, уже в 1968 году, в память о погибших на Лысой горе был воздвигнут мемориал — 20-метровый обелиск. Авторы — скульптор В. Н. Безруков и архитектор

Ф. М. Лысов. На обелиске высечены слова: «Мир отстоявшим для будущих поколений, слава вам вечная и благодарность Отечества! Родина чтит подвиги, имя которым — бессмертие!» На гранитной плите у подножия обелиска нанесена схема боевых действий 64-й армии с 10 января по 2 февраля 1943 года. Места ожесточённых рукопашных схваток на Лысой горе отмечены небольшими пирамидками с пятиконечными звёздами.

Память людская хранит эти события — в обелисках, рассказах ветеранов, художественных произведениях живописи, музыки. В стихотворных строках:

...А над Лысой горой идут облака,
Зреют в балках упрямые травы,
Здесь смешенье осколков, золы и песка,
Место скорби и воинской славы.
Был рубеж обороны. Окрестье в огне...
Нынче с елями шепчется ветер.
Если б дрогнул солдат, то тогда бы и мне
Не увидеть родное на свете...
Там, где рваной тельняшкой прикрыты холмы,
Над крестом полыхают закаты.
Перед подвигом вашим склоняемся мы.
Вы простите потомков, ребята,
Что порою вздыхаем, что жизнь нелегка,
Что судьба могла выпасть получше.
...А над Лысой горой всё идут облака,
Словно воинов вечные души.
(Людмила Зиновьева)

В ноябре 1942 года с началом контрнаступления советских войск именно 64-я армия как главная ударная группировка Сталинградского фронта сыграла свою историческую роль. Читаем ещё в воспоминаниях Михаила Степановича: «19 ноября... Утром послышался мощный залп «катюш», затем канонада артиллерии, и сразу стало радостно на душе. Бойцы, которые на следующий день должны были перейти в наступление, сидя в окопах, бросали шапки в воздух.

...Командующий группой армий «Дон» фельдмаршал Манштейн организует наступление вновь сформированной 4-й танковой армии Гота для соединения с окружёнными. Развернулись тяжёлые оборонительные бои. Угроза от наступления была настолько опасна, что мне пришлось развернуть на юг две стрелковых дивизии из своего резерва.

Подошедшая 2-я гвардейская армия изменила всю обстановку в нашу сторону.

64-я армия перешла в наступление 20 ноября 1942 года вначале своим левым флангом, севернее Ивановки, а подойдя к Поповке, получила приказ перегруппировать силы. После этого она получила задание вести наступательные операции против южной группировки немцев и идти на соединение с 62-й армией.

...В декабре и январе была низкая облачность и густые туманы, поэтому лётчики противника, чтобы сориентироваться и сбросить груз точно в расположение своих войск, вынуждены были снижаться. Организованная нами противовоздушная оборона успешно сбивала самолёты противника. Нами было принято решение: кто сбил самолёт, тому и принадлежит содержимое. Началось соревнование. Пехотинцы придумали ставить ручные пулемёты на подставки, чтобы удобнее было вести огонь по немецким самолётам.

К концу декабря на сбитых самолётах мы стали обнаруживать ёлки, игрушки, фигурки Дедов Морозов, губные гармошки и т. д. Из писем, обнаруженных в этих же самолётах, было ясно, что Геббельс развернул широкую пропаганду за посылку всего этого барахла мужьям, отцам, сыновьям к рождественским праздникам в 6-ю окружённую

ную армию. Геббельс успокаивал общественное мнение, говоря, что армия существует и ничего особенного с ней не произошло.

Между тем кольцо наших войск продолжало всё крепче зажимать окружённого противника».

64-я армия участвовала в ожесточённых наступательных боях в январе 1943 года и, развивая стремительное наступление в центр города, блокировала штаб 6-й полевой немецкой армии. На улице Калачёвской, в доме 18 (ныне улица Красноуфимская, 20) находилась штаб-квартира командующего 64-й армией генерала Шумилова. Дом постройки 1911 года, одноэтажный, шестикомнатный, деревянный, был отделан накладными рельефными орнаментами, резьбой по дереву. Это частное владение, дом требует ремонта, но доказать властям необходимость сохранить его как живого свидетеля исторических событий Сталинградской битвы пока не удаётся. Странно порой мы относимся к памяти...

Считанные дни оставались до победного окончания Сталинградской битвы, пленения окружённой группировки врага во главе с фельдмаршалом Паулюсом. В этом событии именно командарм 64-й М. С. Шумилов сыграл свою историческую роль.

Вот рассказ из первых уст — воспоминания, хранящиеся ныне в Личном фонде М. С. Шумилова: «К концу января 1943 года армия вышла на реку Царицу, правым флангом упираясь непосредственно в Волгу, левый фланг располагался по железнодорожной ветке. По сведениям нашей разведки, штаб армии знал, что командующий немецко-фашистской группировки фельдмаршал Паулюс и его штаб находятся в подвалах центрального универмага.

Для захвата штаба немецко-фашистских войск была брошена ночью в обход бригада полковника Бурмакова, имеющая в составе 8 танков. В ночь с 30 на 31 января бригаде удалось захватить театр, здание обкома ВКП (б), дома, прилегающие к площади Павших Борцов, и блокировать здание универмага. На предложение командования армии сдать Паулюс ответил отказом, и тогда последовал приказ взять здание штурмом.

...В 6.00 31 января 1943 года мне на наблюдательный пункт, находившийся в Ельшанке, позвонил полковник Бурмаков и доложил, что универмаг окружён и что старший лейтенант Ильченко ведёт переговоры с адъютантом Паулюса полковником Адамом, который вышел из здания с белым флагом и просил выслать представителей штаба армии для переговоров.

Переговоры продолжались с 8.00 до 10.00, в это время огонь не вёлся. Старшим был назначен генерал-майор Ласкин, который в это время находился в штабе армии в Бекетовке.

...Со мной на наблюдательном пункте были начальник оперативного отдела полковник Лукин, начальник разведывательного отдела майор Рыжов, заместитель начальника штаба армии по политчасти подполковник Мутовин, которых я немедленно направил в штаб 6-й немецкой армии для переговоров до приезда начальника штаба армии.

По докладу наших офицеров, когда они вошли в штаб 6-й армии, там царил паника. Комната начальника штаба армии была освещена огарком свечи и тускло горевшей лампой. Накануне пленения по приказу Паулюса все рации и электростанция были уничтожены. В комнате было грязно. Начальник штаба 6-й армии генерал-лейтенант Шмидт встал и приветствовал нашу делегацию, представив тут же находившегося командира 71-й пехотной дивизии генерал-майора Роске.

Делегация предъявила требования о немедленном прекращении огня...

Генерал-лейтенант Шмидт от имени Паулюса заявил, что северной группировке войск он приказать не может, так как ею не командует, а южная группировка войск, которой командует генерал-майор Роске, принимает все условия капитуляции.

Переговоры закончились. Огонь на южном участке прекратился. Немецкие солдаты и офицеры складывали оружие. Северная же группировка немецких войск ещё два дня вела бои.

В сопровождении начальника штаба 64-й армии генерал-майора Ласкина командующий 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршал Паулюс, его начальник штаба генерал-лейтенант Шмидт и личный адъютант Паулюса полковник Адам были доставлены на командный пункт штаба 64-й армии в Бекетовку.

Около 12 часов 31 января 1943 года в мою комнату в Бекетовке ввели Паулюса, Шмидта и Адама. Меня охватило волнение. Я с интересом рассматривал Паулюса. Передо мной стоял первый генерал-фельдмаршал немецких войск, взятый в плен войсками Красной Армии, генерал немецких войск, который непосредственно разрабатывал план «Барбаросса», план коварной войны против нашей Родины. Кроме того, он же был и исполнителем этого плана, командуя 6-й армией, войска которой намеревались захватить Сталинград с ходу. А теперь он сам в плену.

Но что это? Все трое взметнули правую руку: «Хайль Гитлер!» Я сначала растерялся, потом стало смешно и горько: Гитлер угробил 6-ю армию, а они его славят.

Я резко сказал: «Здесь нет Гитлера, а перед вами командование 64-й армии, войска которой пленили вас, извольте приветствовать так, как положено». Все трое подчинились. Пригласил сесть.

На моё требование предъявить документы Паулюс подал мне солдатскую книжку. Говорю ему, что это лишь солдатская книжка, и она мне ни о чём не говорит. Паулюс заявил, что он солдат немецкой армии. На это я ему ответил, что я солдат Красной Армии и в её рядах занимаю определённую должность. После этого он предъявил удостоверение, что он командующий 6-й армией. Я сказал, что нам стало известно о присвоении ему звания генерал-фельдмаршала, так ли это? Шмидт вскочил: «По радио был получен приказ Гитлера о присвоении Паулюсу звания генерал-фельдмаршала». «Могу я доложить об этом своему Верховному командованию?» Последовал ответ обоих: «Да».

На моё требование отдать приказ северной группировке немецких войск прекратить огонь, чтобы не было лишних жертв, Паулюс снова заявил, что он не командует северной группировкой немецких войск и отдать приказ не может.

Далее был задан вопрос: «Каковы причины того, что Вы не приняли ультиматум командующего Донским фронтом генерал-полковника Рокоссовского о сложении оружия?» Паулюс ответил: «Русский генерал поступил бы так же, как и я. Я имел приказ драться и не имел права нарушить его».

...Были заданы ещё ряд вопросов, после чего пошли в столовую. По дороге Паулюс задаёт мне вопрос: «Скажите, генерал, чем можно объяснить, что ваш солдат наступают днём и ночью и при 35-градусном морозе лежит на снегу?» Поблизости стоял наш солдат, я подозвал его: «Посмотрите, как одет наш воин: валенки, ватные брюки, тёплое бельё, полушубок, шапка-ушанка, тёплые рукавицы. Вот как заботится наша Родина о своих защитниках».

Лицо фельдмаршала перекопилось — видимо, вспомнил, как по дороге в штаб 64-й армии он обгонял массу пленных немцев, которые плелись, согнувшись, их головы были обёрнуты чем попало: старым тряпьем, мешками, войлоком, на ногах — рваные сапоги, обвязанные соломой.

После обеда генерал-фельдмаршал был отправлен в штаб Донского фронта».

Каждый военнопленный в Сталинграде знал имя генерала Шумилова.

Н. Вирта в газету «Правда» по телефону передал: «Сталинград. 1 февраля. Итак, свершилось: над Сталинградом, над его центральной частью снова развевается красное знамя! Пусть вся страна запомнит эту дату — 31 января 1943 года».

Премьер-министр Великобритании У. Черчилль в послании И. В. Сталину 1 февраля 1943 года писал: «...Примите, пожалуйста, мои поздравления по случаю капитуляции фельдмаршала Паулюса и по случаю конца 6-й германской армии».

Каков же он, наш герой, полководец Великой Отечественной и просто настоящий русский человек Михаил Степанович Шумилов? Обратимся к воспоминаниям его сослуживцев, однополчан, прошедших с ним по долгим, нескончаемым дорогам войны. Заместитель начальника штаба 64-й армии подполковник Б. И. Мутовин рассказывает: «...Почти на всех армейских совещаниях командно-политического состава, где мне приходилось присутствовать, я не слышал от М. С. Шумилова ни единого грубого окрика, оскорбительного слова, неуважительного отношения к подчинённым. Был он всегда деловит, немногословен, строг, требователен и в то же время чуток к нуждам и запросам бойцов».

Была в 64-й армии своя красноармейская газета «За Родину». Корреспондент этой газеты Осип Чёрный написал о командарме книгу, страницы которой открывают нам немало интересного о личности М. С. Шумилова. Приведу строки из неё.

«План Гитлера выглядел так: в Борисоглебске немецкие войска должны быть 10 июля, в Сталинграде — 25 июля, в Саратове — 10 августа, в Куйбышеве — 15 августа, в Арзамасе — 10 сентября, в Баку — 25 сентября.

В этом расписании была учтена тупая немецкая воля, но не был предусмотрен героический наш отпор. Немецкую волю скрепляли широкие обещания Гитлера».

В главе «Генерал» говорится: «В армию прибыл хозяин — заботливый, рачительный и умелый. Он воевал с первых дней войны. Он был человеком армии до мозга костей и, странное дело, готовясь в юности стать учителем, стал, пройдя долгий жизненный путь, полководцем.

...Генерал М. С. Шумилов прошёл путь от командира роты до командира дивизии, корпуса, армии. В душе искушённого полководца не раз просыпался учитель. Руководя на войне людскими массами, он неустанно воспитывал людей.

...Он прибыл в армию затем, чтоб своим опытом, умом и чутьём участвовать в выполнении большого плана Сталинградской операции. Он был безукоризненным исполнителем замыслов фронта и Ставки, он был человеком инициативы и смелых решений. Генерал прибыл не затем, чтобы одерживать эффектные победы и наносить показательные удары врагу: предстояла битва жестокая, смертная, предстояли трудные дни; нужно было заставить Гитлера зарыть в сталинградскую землю все его планы, пролить кровь его армий и искромсать его технику.

Инициатива была у противника, и нужно было уметь её упреждать и встречать врага в тех местах, где всё было подготовлено для его уничтожения.

Генерал начал с наведения порядка: штаб работал нечётко — он заменил людей. Связь время от времени подводила — приказал обеспечить чёткую связь. Он приказывал без горячки, без выкриков и жестов. В нём продолжал жить учитель.

Не раз эти требования становилось выполнять до предела трудно: враг бомбил без конца, прорывался танками, рвал связь, коверкал землю и делал всё вокруг неразличимым от дыма и гари, от пыли, осколков и пуль. Генерал сохранял спокойствие. Он знал — ещё будут лучшие дни. Нужно суметь взять их у истории, дойти до них шагом неробким, устоять на пути к ним. Этим путём он повёл свою армию. Армия с ним срослась. Она привыкла считать себя верной исполнительницей его приказов; в этих приказах была частица той огромной стратегии, которая определила судьбу войны».

Армия генерала Шумилова не выбирала путей; она знала с предельной твёрдостью: если теперь сдать, не выдержать, враг войдёт в город с юга и упьётся победой. Он прокричит на весь мир: «Волга моя!»

Армия Чуйкова знала: южнее её верные руки бойцов Шумилова держат штык, приставленный к сердцу врага».

Многие знавшие командарма оставили свои воспоминания о нём. Полковник И. М. Рыжов рассказывал:

«...Умный командир ценил своих офицеров штаба и ни в коем случае никогда не сходил до унижения их достоинства, не перекладывал неудачи на офицеров и по заслугам ценил каждого. К таким командирам принадлежал командарм М. С. Шумилов. ...Как много зависит от одного человека, поставленного во главе!

Михаил Степанович Шумилов вступил в командование 64-й армией незаметно, по фронтовому. И знакомился он с нами — начальниками отделов и офицерами штаба, в рабочем порядке. Выше среднего роста, немного сутулый, ходил широким шагом, в шинели без пояса и в шапке-ушанке зимой и фуражке защитного цвета — летом.

Он редко сидел в штабе. Во время даже кратковременного затишья был в войсках, а во время боя — на НП, следя за ходом боевых действий. Посещая штаб дивизии, прежде всего, интересовался знанием обстановки. И начинал всегда с начальника разведки соединения. При этом командиру дивизии он говорил: «Вы, конечно, знаете обстановку. Но я хочу послушать и посоветоваться с разведчиками». И начинается беседа: как противника изучаем, как знаем его организацию и какой силой он действует против соединения, берём ли пленных? А что они показывают, а когда последний раз был взят пленный? А где резервы у противника и что они из себя представляют? Какова плотность огня? Сколько танков, артиллерии и миномётов у противника и где они расположены? Как и откуда ведётся наблюдение? Каково взаимодействие с артиллерийской и инженерной разведками? И, конечно, обращаясь к кому-либо, обязательно поинтересуется: откуда родом, пишут ли из дома, давно ли воюет и какое военное и общее образование имеет. И нередко сам расскажет о том, каким образом организовывали разведку в предыдущей войне и каким способом брали «языка».

И ещё одна интересная черта. Когда он что-то советует, обязательно обратится за подтверждением к присутствующему офицеру штаба. И получалось, что в беседе участвуют все. Вот так — «урок» прошёл без навязывания».

После Сталинграда война повернула на Запад, и дальнейшие пути командарма Шумилова до самой победы были наполнены героическими свершениями. За успешное форсирование Днепра соединениями и частями 7-й гвардейской армии и умелое руководство боями по захвату плацдарма на его западном берегу, личное мужество в октябре 1943 года генералу Шумилову было присвоено звание Героя Советского Союза.

13 февраля 1945 года 7-я Гвардейская армия Шумилова вместе с другими войсками освободила Будапешт, 4 апреля — Братиславу, 17 февраля — город Цистердорф в Австрии. Ратный поход армии закончился в Праге.

На историческом параде в Москве гордо шагал и генерал Шумилов. За отличные боевые действия войска его армии 16 раз отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего.

В Музее-панораме «Сталинградская битва» хранится удостоверение М. С. Шумилова к медали «За оборону Сталинграда», и что интересно — это удостоверение за номером 1.

Дзя ВРАЗОВА

Родина, большая и малая в стихах
Виталия СЕРКОВА неотделимы друг от друга, и
любит он их одной любовью — сыновьей.
С такой же любовью он пишет и о людях —
тепло и солнечно. Член Союза писателей
России. Живет в Сочи.



ГОЛОСА РОССИИ

Виталий СЕРКОВ

«О чём вовеки забывать не надо...»

О поэзии светлой, о чести скорбя,
Я опять вызываю огонь на себя
Всей нечистой, неистойвой, дьявольской силы,
Что годами над нами кружит на метле,
Всё святое загадив на русской земле, —
Даже дедов и прадедов наших могилы.

«Дым Отечества нынче особо горчит!» —
Вор «в законе», хватаясь за шапку, кричит,
Понимая, что шапка и уши пылают.
Матерятся на Родину хлюпик и хлыщ —
Им ли нынче до наших седых пепелищ?
Словно моськи, сорвавшие привязи, лают.

С омерзеньем на шабаш их наглый смотрю.
«Бог не выдаст, — с презрением я говорю, —
И Россия, как Феникс, восстанет из пепла,
И, от смрада тяжёлого еле дыша,
Мы проветрим её, чтобы снова душа
От простора и воли рыдала и пела».

* * *

*Я клянусь: душа моя чиста.
Н. Рубцов*

Я такое сказать о себе и в бреде не смогу...
Отогревшись душой под багровыми зорями, каюсь
И за мелкую месть, и за долгую смуту в мозгу,
И неправедным быть до последней черты зарекаюсь.

Ах, как хочется мне отбелить бытия черновик,
Да не зря говорят, что из песни не выкинешь слова!
И несдержан я был оттого, что юлить не привык,
И глаза отводить не пытался от взгляда косого.

Хоть обиды простил я давно и друзьям, и врагам,
И грядущие дни пустотою уже не пугают,
Но бывшие грехи, словно гири, прилипли к ногам
И в небесную рать записаться меня не пускают.

То ли лодку Харон до сих пор не успел осмолить,
То ли, хуже того, и его обуяла усталость...
Значит, можно грехи, суету одолев, отмолить,
И не важно уже: сколько дней мне на это осталось...

* * *

Я, как журавль, покинувший гнездо,
Лишь стает снег — тянусь в родные дали.
Там старый дом под северной звездой
Всё ждет меня в тревоге и печали.

Склонился он оконцами к реке.
Крыльца ступени опустились ниже;
Чтоб стать ко мне хоть капельку поближе,
Перила тянутся к моей руке.

Забуду всё, но этот ветхий дом
С берёзами по краю палисада
Напомнит мне, заблудшему, о том,
О чем вовеки забывать не надо.

* * *

И молодость давно отликвала,
И скрыл туман забытые мечты,
Но глянешь из окошка: подковала
Луна Стрельца — и радуешься ты.

И вроде всё уж намертво забыто.
«Да всё ли было?» — думается вскользь.
Одно крыло любовью перебито,
Другим крылом взмахнуть не довелось.

Печали нет. Растерянность едва ли
Врасплох застанет на исходе дня.
И в тишине покажется: позвали...
Подумаю: «Наверно, не меня...»

* * *

Шорох ветра, веток шорох.
Тень качается на шторах,
Тихо падая с ветлы.
И от мыслей нет заслона,

«О ЧЁМ ВОВЕКИ ЗАБЫВАТЬ НЕ НАДО...»

Если смотрят с небосклона
Звёзды, трепетно светлы.

Если резко обозначен,
Словно обручем охвачен,
Диск серебряный скользит.
Но, раздвинув мыслью полог,
Вдруг догадки тайный всполох
Мне сознание пронзит:

«Жизнь моя, как дождик звёздный,
Промелькнёт сквозь путь морозный,
Никого не обогрев.
Наиграется и сгубит.
Только смерть грехи искупит...»
...Да об этом думать — грех.

* * *

Бывали биты мы и рваны,
Когда брели по льду реки,
А нам кричали: «Эй, Иваны,
Куда вы прётесь, дураки?!»

В ответ неслось с весёлой грустью:
«Туда бредем, где вас нема,
Где русский дух и пахнет Русью —
Претит нам всякая тюрьма...»

Прошли по Волге и по Каме,
Хоть знали: правды нет в ногах...
...И назывались дураками,
Да и остались в дураках!

* * *

Возгласы дневные улеглись.
Шорохи ночные покачнулись.
Ах, зачем мы жизнью увлеклись?
Ах, зачем не вовремя очнулись?

Долгие недели и года
Разные нас ждут с тобой пороги,
И ведёт дорога в никуда,
А оттуда нет уже дороги.

Вздоргну и от мыслей ужаснусь.
Все идёт не кубарем, а прахом.
И уже к любимой прикоснусь
С юношеским трепетом и страхом...

28 ноября нынешнего года исполнилось 100 лет со дня рождения Константина Михайловича СИМОНОВА (1915 — 1979) — автора первой в советской литературе художественной повести о Сталинградской битве «Дни и ночи» (1943 — 1944), известной трилогии «Живые и мертвые», классика военной поэзии, выдающегося документалиста и публициста. О творчестве Константина Симонова, его участии как военного журналиста в Сталинградской битве размышляет волжский писатель и краевед Александр Рогозин.



ЮБИЛЕИ

«Война такой вдавила след...»

Имя Константина Симонова сопровождает меня с тех пор, как я начал понимать, что была война, что там воевал и был ранен мой дедушка, который, покачивая меня на ноге, читал:

Держись, мой мальчик, на свете
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не сможет
Вышибить из седла...

Прозу Симонова в школе мы серьезно не проходили. Зато стихотворение «Жди меня» в старших классах воспринималось нами как одна из вершин лирической поэзии. Что справедливо и сегодня. С тех школьных лет запомнилось и «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» (которое, кстати, великолепно читал Олег Табаков на торжестве во МХАТе имени Чехова, посвященном открытию нынешнего Года литературы в России). Не проза военной тематики, лучшие образцы которой мы к тому времени еще и не прочитали, не учебник истории, а именно такие стихи впечатляюще и честно говорили нам, что война — не только отступление-наступление, не только геройский смертельный бросок на амбразуру, а еще и то, что нашим юношеским разумом можно было понять и ощутить лишь в малой степени...

В шестидесятых—восьмидесятых годах книги Симонова печатались миллионными тиражами. Вышли шести- и десятитомное собрания его сочинений. Не иметь в домашней библиотеке Симонова означало не иметь ее вообще. По знаменитой трилогии «Живые и мертвые» ставились фильмы и спектакли, защищались диссертации. Главный герой романов «Товарищи по оружию», «Солдатами не рождаются» и «Живые и мертвые» генерал Серпилин был явлен читателю как образец не только ратного таланта и личного мужества, но и порядочности и человечности полководца и в сложнейший для армии предвоенный период, и в годы Великой Отечественной. А сам Константин Михайлович любил повторять, что он, прежде всего, — военный журналист, и до конца



Военкор Константин Симонов. 1942 г.

жизни записывал на магнитофонную пленку воспоминания фронтовиков. После смерти писателя был издан двухтомник его фронтовых дневников.

Ныне время ведет свой отбор, весьма строгий. Опубликованы уже десятки тысяч произведений о войне, слова «правда войны» стали расхожими у публицистов и историков самого разного толка. Они звучат из уст тех, кто говорит о героизме и самопожертвовании. Их повторяют те, кто видит в войне лишь смертельную схватку тиранов Сталина и Гитлера, а в миллионах человеческих жизней — только материал для этой схватки. Регулярно появляются, постоянно транслируются через СМИ другие домыслы, а то и прямые фальсификации расплодившихся профессиональных «правдолюбков»...

Но почему-то никто из этих новоиспеченных теоретиков не использует на практике (как доказательство своей правоты или даже как вынужденное опровержение собственных утверждений) произведения Константина Симонова. Прежде всего, его обширные дневники «Разные дни войны» и публицистическую книгу-размышление «Глазами человека моего поколения» — честный и взвешенный разговор о И. В. Сталине, его роли в отечественной истории, в частности, как Верховного Главнокомандующего и председателя Государственного Комитета Обороны в годы войны. Эти уже поздние работы писателя тоже успели выйти миллионными тиражами, с лихвой убедив читателей, литературоведов и военных историков в том, что Симонова никак не определить в ряды бодрых воспевателей военного героизма. И тем более — он совершенно не вписывается в кучку мизантропов, представляющих предвоенные советские годы и саму войну лишь чередой бессмысленных массовых убийств, недалекости или вовсе бездарности руководства армии и государства, преступных жестокостей, предательств, страха и трусости.

Размышляя о собственном поэтическом творчестве, Симонов писал: «...Мне, кажется, удалось написать ряд стихотворений, которые читают сейчас и будут еще читать некоторое время. Но я не считаю, что существует какая-то особая поэзия Симонова, как,

например, поэзия Блока или Есенина». И здесь он прав, пусть и отчасти. Стихов и поэм им было написано действительно немало, но нынешние любители поэзии их почти не знают, хотя старшее поколение, конечно, помнит и любит. Военная симоновская лирика, несомненно, вошла в золотой фонд нашей литературы.

Известно, что Симонов, приезжая в Волгоград, всегда охотно посещал и Волжский. В частности, бывал здесь в год 20-летия Сталинградской победы, выступал со сцены Дворца культуры Волгоградгидростроя, гостил у писателя Рафаила Михайловича Дорогова. Но наверняка многие не знают, что военкор «Красной звезды» старший батальонный комиссар Симонов был в свинцово-пыльном и выжженном Заволжье во время Сталинградской битвы. И даже в селе Безродном, от которого впоследствии «пошел» Волжский...

В начале сентября 1942 года самолет из Москвы приземлился в районе озера Эльтон, на небольшом аэродроме, неподалеку от которого на путях станции стоял пропыленный вагон редакции газеты Юго-Западного фронта, оборонявшего Сталинград. Симонов в этих местах оказался впервые.

До Сталинграда — больше ста километров. Но и здесь, в глухой голой степи, на полустанке, который пока еще не бомбили, писатель сердцем, а не умом почувствовал всю глубину трагедии своей страны. Он пишет, что больше всего ему запомнилось то «отчаянное ощущение загнанности на край света и громадности пройденных немцами расстояний», которое не возникало ни в одном другом месте.

На станции Эльтон Симонов написал свой первый очерк из сталинградского цикла — пронзительно щемящий и злой одновременно. Отступление... Сколько же можно?!..

«Почему нас немцы бьют? — размышляет бывалый боец, один из героев очерка. — Там бьют, где трусость. Где не трусишь — победа. Как найдется два-три таких человека и больше — так и пойдет! Иной в окружении оружие не ценит, бросает. А я лучше хлеб выну, а сумку патронами набью... Немец, когда чувствует, что на него идет человек, который не боится, он сам его боится. А если от него тикают, ясно, он бьет! Кто-то кого-то должен бояться».

«Ты помнишь, Алеша...» написано в сорок первом. Летом сорок второго, когда фронт стремительно покатился на Восток, в стихах Симонова совсем другая интонация:

...Глухими ночами,
Когда мы отходим назад,
Восставши из праха, за нами
Покойники наши следят.
Солдаты далеких походов,
Умершие грудью вперед,
Со срамом и яростью слышат
Полночные скрипы подвод.
И вынести срама не в силах,
Мне чудится в страшной ночи
Встают мертвецы всей России,
Поют мертвецам трубачи.

Поразительные строки!

Мы часто говорим, что под Сталинградом произошел перелом в Великой Отечественной. Говорим о мужестве и стойкости. О том же, как происходил перелом в душах, в сознании бойцов, как отступающие, нередко деморализованные люди становились теми самыми стойкими и мужественными солдатами, мы подчас не задумываемся. Но без этого внутреннего перелома не было бы Победы. Симонов по заволжским степям

ехал к Волге, в Сталинград, а навстречу двигались беженцы. Потоки беженцев. И рождались жестокие строки, обращенные к солдатам, которые той же степью шли на передовую, большинство — на смерть:

Не плачь! Покуда мимо нас
Они идут из Сталинграда,
Идут, не поднимая глаз, —
От этих глаз не жди пощады.
Иди, сочувствием своим
У них не вымогая взгляда.
Иди туда, навстречу им —
Вот все, что от тебя им надо.

Трудно ныне судить, все ли тогда осознавали значимость сталинградского рубежа. Солдату на марше порою гвоздь в сапоге не давал думать ни о чем другом. Какое уж тут величие подвига! Но писатель в высшем эмоциональном и творческом напряжении выражал соборный дух армии и сам подпитывал его личной духовной силой.

До большого наступления было еще далеко. Гвардейцы Родимцева только готовились к броску на правый берег. А Симонов чувствовал, чем станет Сталинград для нас и для врага, чем он должен стать: «Здесь предстоит выстоять ценой жизни, ценой смерти, ценой чего угодно».

Переправившись на правый берег в районе тракторного завода, Симонов по собственной инициативе пробрался в траншею первого ряда... «Реже рискуешь — меньше видишь, хуже пишешь», — не раз говорил он.

Это творческое кредо писатель сполна подтвердил, побывав в знаменитой 124-й отдельной стрелковой бригаде полковника С. Ф. Горохова, мужественно обонявшей северную окраину города — Спартановку и Рынок. Четыре дня пробыл Симонов на переднем крае, являвшемся тогда самым оголенным флангом Сталинградского фронта, а внутри фронта — 62-й армии В. И. Чуйкова.

Комиссар бригады гороховцев (будущий генерал-полковник) В. А. Греков вспоминал: «Тогда, в сентябре 1942-го, Симонов показал себя молодцом. Мы запомнили его уравновешенным, рассудительным и смелым офицером. В Сталинграде он пять раз переправлялся через Волгу. Его привычку рисковать заметили сразу. Как бы там ни гудело в небе и на земле, он изловчался вести довольно обстоятельные беседы с обитателями окопов и землянок на переднем крае. Случалось, пулеметным и минометным огнем противника и его не раз укладывало плашмя под защиту каменных стенок, на счастье во множественном числе возведенных на границах подворий в поселке...»

Командование вскоре вызвало его. Симонов получил устный выговор «за неподчинение приказу». В оправдание писатель показал блокнот, весь заполненный записями. Буквально через несколько дней, 18 сентября, в главной военной газете страны «Красная звезда» появился очерк «Бой на окраине»...

В Сталинграде Симонов встречался в те дни с тракторостроителями, ремонтниками, ополченцами, побывал на канонерской лодке «Усыскин», где московских военных журналистов прихватил плотный артобстрел, но они не приняли предложение укрыться в щели на берегу.

С правого берега Симонова вместе с другими журналистами на корабле переправили в Ахтубу. Здесь, у Безродного, базировался северный отряд Волжской военной флотилии. «Ночуем в деревне, в районе Ахтубы. Проводим там сутки и, помнится, именно там делаем для газеты материал о митинге гвардейцев, вышедших сюда из боев на пополнение 33-й гвардейской дивизии», — писал он о пребывании на территории, где через десять лет начнется город Волжский...

У страны нет сейчас ясно выраженной идеи. Что-то никак не зажигаются маяки, зовущие нас в будущее. А если и вспыхивают порой, то светят недолго... Но есть путь, пройденный отцами, дедами, прадедами. Оглядываясь, мы черпаем силы оттуда, чтобы достойно и созидательно жить ныне, торить свою дорогу.

Константин Михайлович Симонов не забежал вперед, не звал к новым победам. Он честно и последовательно освещал высокий и трагический час истории своего и нашего Отечества. Этот факел и одновременно крест он нес до конца, хотя ноша с годами легче не становилась. Потому что осмыслить то, что происходило со страной в сороковых, в великую войну, один человек не в силах. Симонов это понимал. И в семидесятых, уже предчувствуя свой скорый уход и называя войну общей бедой, сказал:

Она такой вдавила след
И столько наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет...
И ставит, ставит обелиски.

...В написанном Симоновым в том же горящем сентябре 1942-го очерке «Дни и ночи», позже выросшем в одноименную художественную повесть, есть такие строки: «Когда через много лет мы начнем вспоминать и наши уста произнесут слово «война», то перед глазами встанет Сталинград...»

Немного перефразируя это выражение, можно с полным правом сказать, что когда сегодня мы произносим слова «отечественная военная литература», то перед глазами в ряду несомненно значимых произведений встают и книги Константина Михайловича Симонова.

Александр РОГОЗИН



ПРОЗА

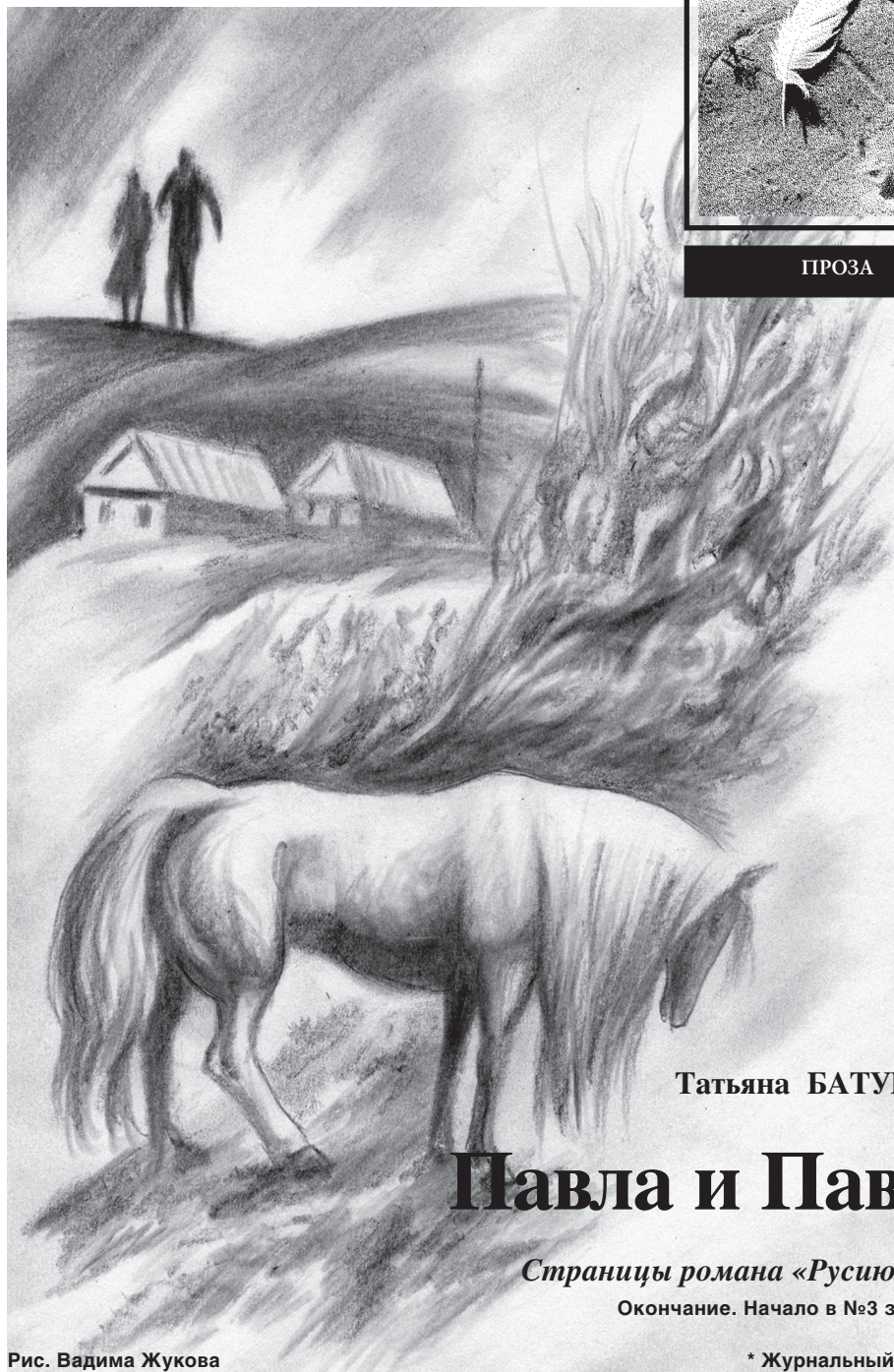


Рис. Вадима Жукова

Татьяна БАТУРИНА

Павла и Павел

*Страницы романа «Русиюния»**

Окончание. Начало в №3 за 2015 г.

* Журнальный вариант

— Я сегодня почти не спал, прозревал, так сказать, мотивы главного движителя и варианты последующих событий.

Борис Григорьевич, как бы недоумевая, спросил:

— Ты думаешь, что...

— Уверен, — возгласил Григорий Матвеевич, — уверен. Без Сталина такое было бы просто невозможно. Впрочем, мы это обсуждали год назад, когда сочиняли ему письмо, разве забыл?

— Да-да... Но ведь ни слухом ни духом никто рядом не проявился, ни намёком, ни голоском...

— Попомни моё слово: письмо наше не было единственным, и почти наверняка проводилась незаметная проверка: не сажать же людей напрасно. Время другое, сын, война внесла в мир должные коррективы. Уже одно то, что объявлена свободная дискуссия... — дед не договорил, и Степан не понял, хорошо это или плохо — свободная дискуссия. Впросительно взглянул на отца, тот понимающе кивнул:

— Всё нормально, сын, всё правильно.

Григорий Матвеевич меж тем продолжал:

— Любопытно, что первой опубликована статья Чикобава... Я с Арнольдом Степановичем встречался в 48-м году после осенней сессии сельхозакадемии, помнишь мою таинственную вылазку в Москву? Чикобава приехал из Тбилиси чуть ли не инкогнито, мы ночь у Барсуковых на квартире просидели над дикой директивной сессии о разоблачении морганистов-вейсманистов и прочих реакционеров в любой области науки. Заметь: в любой! Странно, что факт падения яблока на голову Ньютона наши управленцы ещё не осудили...

Старшие Панчашины невесело рассмеялись, а Степан удивился: а что, могут? Спросил, кто такие морганисты-вейсманисты, и получил дружный отпор: в двух-трёх словах не охватить их роли в генетике, читай труды, Стёпа, дыши воздухом мировой гениальности, но на вопрос, где взять книги, Григорий Матвеевич развёл руками: мол, надо сильно захотеть — и они сами появятся, вселенная пришлёт. Из-за границы или из библиотеки Панчашиных.

Потом дед сделал специальное сообщение, только для внука:

— Запомни русское имя: Николай Иванович Вавилов, великий генетик. Не пропусти. — И, уже обращаясь к сыну, сокрушённо воскликнул: — И силён же оказался Трофим! Лысенковщина не одного Вавилова стубила, пока любимый народный агроном Лысенко по всей стране свою рать собирал, да и продолжает этим заниматься, судя по новым проработкам и чисткам.

Борис Григорьевич откликнулся нервно, почти зло:

— Они везде, проработчики! Отец, а ты не находишь сходства биолога Лысенко с языковедом Марром? Оба примазались к марксизму, захватили научную власть. Позорище... Под антибуржуазный шумок свершился разгром научных школ, началась деградация образования... А чего стоят ошельмованные репутации, аресты, ссылки людей выдающихся! Ты вспомнил Вавилова, но не назвал Поливанова, а ведь гения уморили и даже не заметили этого.

— Про марровский бутафорский марксизм я вот что думаю: власть намеренно и неумеренно поддерживала Марра именно за то, что он усиленно сближал несовместимое — свою надуманную теорию с коммунистическим учением, и это — царский академик! Он даже в компартию был принят. Причём без кандидатского стажа, — и Григорий Матвеевич развёл руками. — Впрочем, страшен был не сам Марр... Поговаривали, что он душевно расстроен, чем и объяснялись невротические странности его характера и, разумеется, некорректность научных взглядов. Но были и добрые дела, напри-

мер, основание Марром Академии истории материальной культуры, нескольких языковедческих институтов. Рассказывали даже, что Николай Яковлевич не раз спасал учёных от ареста и ссылки, не отказывал многим в материальной помощи. Кстати, он тоже боялся, ему был известен, между прочим, факт получения на него компромата от кого-то из приближённых...

— Отец, что значит твоя фраза: «Страшен был не сам Марр»? Ты имеешь в виду его прихлебателей?

— Именно их, Борис, именно «замарранных» имею в виду. Ну представь себе неких учёных, взявших за основу труды академика и сделавших на их разработке научную карьеру. Своего-то за душой маловато... И вся эта околону научная стая даже после смерти вожака не без успеха пользовалась его именем и творческим багажом. Да что там «пользовалась»! И сейчас пропагандируется «подлинно марксистское» языкознание и провоцируются чистки, проработки, репрессии... Впрочем, тебе сие известно, именно об этом мы писали Сталину. Любопытно, как разовьётся дискуссия в «Правде»? Неужели снова необязательная для пользы дела говорильня?

Григорий Матвеевич подошёл к окну, распахнул широкие створы, и в комнату влетел майски-праздничный шум северной столицы. Степан тут же улёгся грудью на подоконник, смотрел на город, украшенный красными стягами и парадными маршами, и думал, успеет ли он вырасти, когда опять начнётся война...

Между тем разговор в кабинете снова налаживался, юноша вслушался: «...главный научный выпад... искажение правильного понимания национального... яфетический миф...» Скучно. Внезапно вспомнил про письмо: «Самому Сталину дед написал, не забоялся...»

— Дед, а здорово, что ты Сталину письмо послал!

Отец неодобрительно глянул в сторону сына, но Григорий Матвеевич добродушно рассмеялся:

— Писал не один я, других сочинителей послания ты видишь у нас почти каждый день, это первое. А второе заключается в том, что мы справедливо просили вождя защитить языковедение и языковедов от так называемого нового, а на самом деле полного нелепых крайностей учения о языке академика Николая Яковлевича Марра. А ведь когда-то молодой Марр добивался, и вполне убедительно, расположения самого Алексея Александровича Шахматова. Мы с другом Веселовским диву давались, наблюдая за маниакально работоспособным господином, не прслушавшим ни одного теоретического курса по языкознанию, но тем не менее претендовавшим на первенство в науке. Ну, а Шахматов... Поначалу Алексей Александрович интересовался Марром, особенно после издания тем грамматики древнеармянского языка. А вот когда начались Марровы фантазии относительно четырёх элементов, от которых якобы произошли все языки, Шахматов отказал ниспровергателью научных основ в общении. По-настоящему Марр развернулся позже, уже после смерти Алексея Александровича.

Григорий Матвеевич спохватился:

— О чём это я? Ведь начал о Чикобаве рассказывать... Ах да! Встретился с ним в Москве после сессии сельхозакадемии в 48-м году, как раз накануне чисток в научной сфере. Мы об этом ещё не знали, но предчувствовали, полагая, что чаша сия не минует и лингвистов. Именно тогда Арнольд Степанович высказал мысль об обращении к Сталину. Помню образное высказывание моего друга о том, что в сумерках доистории легче утверждать о вещах, которым вряд ли кто поверит при дневном свете истории. А Марр был именно специалистом по блужданию в доисторических потёмках. Писать вождю казалось нам жизненно необходимым. Помнится, я другу позавидовал:

ему покровительствовал первый секретарь компартии Грузии Чарквиани, он и передал письмо Чикобава в Кремль в 49-м году. Ну, а мы своё послание простой почтой отправили.

Тут Григорий Матвеевич остановился, с любопытством взгляделся в утомлённое лицо внука.

— Надо ли тебе знать обо всём этом? Да и праздник сегодня великий, гости вот-вот явятся, а кто гостей пустым столом встречает, а?

Александр помедлил, отходя от воспоминаний, и обратился к Паве, повторяя давний вопрос своего учёного деда:

— Надо ли вам знать об этом?

Девушка осторожно ответила:

— Зачем-то ведь рассказываете... Наверное, надо.

В Панчашин подвода въехала к вечеру, не на шутку грозная Ольгунька встретила путешественников у ворот, подкатилась к степенно восседающему на козлах супругу.

— Знала ведь, знала, што дитё тебе доверить нельзя, бардажал адатный! Небось, балиндрысов чужих наслукался за ночь, вон какой довольный сидит, измучил девку вконец, аж с лица спала! Али голодовали? — Тут бабушка увидела инока, застыдилась, подобралась круглой своей статью. — Ай, отец святой, как же я перед тобой опростоволосилась, прости! — И поспешила смиренно под благословляющую руку чернеца.

Александр сам был смущён шумливым приёмом, но голоса не терял.

— В гости к вам напросился, не прогоните?

Тут дед взял законное хозяйское слово, опепеляя супружницу гневливым взором:

— Я ей прогону! Вот таранта неужённая, што в ум взбрёт, с энтим на людей и кидается! В дом ступайте, — обратился к гостю и внучке. — Я на конюшню, лошади землю копытят, скучились по своим. — И телега резво погрохотала прочь.

Пава, прижимая к груди дарёного котёнка, впрорхнула в калитку, не дожидаясь чинного вступления во двор гостя под водительством старой хозяйки, прошла в дом. Чистая прохлада словно только её и ждала: мягонько обняла усталое тело, пухово обмахнула лицо сухим настоем развешанных по стенам, ещё с Троицы, травных букетиков. Девушка глянула в зеркало: и вправду похудела, всего за какие-то сутки растрясла нагостёванные за лето жиры и углеводы. Подошла к окошку: вернулся Никанор Иванович, повёл Александра показывать хозяйство. Ольга Тимофеевна вынесла из летней кухни глиняную миску, поставила у завалинки — для котёнка. А где он? Пушок уже спал на подушке, жалко было будить. Хотелось в баню, но до Тониной усадьбы идти далеко...

Проснулась от тёплого мяуканья: котёнок тыкался мордочкой в шею, просил молока. Из горницы, зевая и крестя рот, показалась Ольгунька.

— Рано, внуча, у тебя день начинается, иди корми кошонка да в дом не пускай, нехай ко двору приживается, пока лето... Али в город заберёшь?

— Не знаю, баб... У нас дома Бантик живёт, примет ли Пушка? Пушочек, погоди, сейчас мы с тобой молочка найдём! А где дедушка с Александром, баб?

В доме было тихо, потому Пава и спросила, всё же с оглядкой стягивая с себя вчерашнюю одежду, в которой нечаянно уснула, и облачаясь в домашний халат.

— Ушли затемно на Гусинку, захотелось сроднику на нашу речку, душа, гуторил, по природному затомилась. Рыбалият теперя... А и сказливый он, Александр-то! Я давеча аж умаялась слушать, ушла.

Пава расстроено спросила:

— А я как же? Ничего теперь не узнаю...

Бабушка махнула рукой:

— И-и, внуча, ишо наберёшься ума, не нынче он ехать собирается! Я ему дедову одёжку дала, не в сановном же проворить на речке... А тут надоумились костёр на низах жечь, картохи печёной пожелал монашек наш, куда же в рясе-то? Ой, так жалко мне его! И дед наказал: мол, порадеть надо сироте черничному, пораить за долю постную, он ведь молится за грешников без продыху, добровольно недоёдывает. Смотри-ка, Павушка, как дед твой воспитался, навпоследок умиляется прямо...

— Почему «навпоследок», баб? Опять ты про смерть? Хватит уже, живите, ради Бога!

Ольгунька поджала губы.

— Не про тебя говорю, не лови на свой слух.

Вечером действительно пекли в золе картошку с карасями, толсто обёрнутыми в тесто, а когда развалили невозможно жаркое закопчённое печиво, таким духом вкусным пахнуло — чистым, илистым, речным! Пока Пава, обжигаясь, накладывала еду на разложенные на траве вместо мисок лопуховые листья, Александр уже разламывал самую крупную картошину, дул на парное белое тело, а дед, улыбаясь, подбадривал:

— Соличкой, соличкой её, да и в рот!

Потом, хитро покашливая, воззрился на супружницу, и та, не канителась, принесла огородным сидельцам кувшин долгого вина. Так и сказала: долгое, мол, вино. Никанор Иванович тут же просветил состольников:

— Сорт виноградный ростим старинный, завозной, долгим называется. Из него, значит, вино выходит долгое, выдержанное. Ну как, забирает?

Александр кивнул: доброе вино, крепкое.

Никанор Иванович раздухарился:

— Ты яблоч наших не едал! Мать, принеси!

Но Пава запротестовала:

— Я сбёгаю, деда, — и помчалась во двор, в сараюшку возле летней кухни, где на деревянных полках вдоль стен стояли корзины с яблоками и помидорами, а глиняный пол был тонко устлан картошкой вперемешку с золотистыми головками лука. Время закладки припасов на зиму ещё не наступило, скорые садово-огородные урожаи шли с веток и грядок сразу на стол или сюда, в сараюшку, на временное хранение. Яблоки, которыми хвалился дед, были яркими, краснобокими, пряно-ароматными, ладони после них пахли сладко...

Пава поискала какую-нибудь сумку ли, сетку, но увидела лишь старую бабушкину шалюшку, навязала с десятков плодов в узелок, ещё и в карманы халата уместила несколько штук. Не утерпела, надкусила самое маленькое за румяный бочок и, возвращаясь к кострищу, пожалела, что нет рядом отца с матерью. А как было бы хорошо всем вместе побыть в Панчашине хоть неделечку!

И почувствовала, впервые за много дней, что соскучилась по Нижнереченску, по своей комнате с маленьким зеркальным шкафом и радиолой на тумбочке возле дивана, по маминым пластинкам, владелицей которых Пава стала совсем недавно, в день своего совершеннолетия.

Ольгунька поднималась с низов навстречу, приостановилась, погладила внучку по плечу.

— Долго не сиди на траве-то, застудишься. Там одеяло старое есть у стожка, на нём приспособься.

— Да ведь лето!

— Август... Днём солнце греет, ночью земля холодит. — И повторила: — Долго не сиди, внуча, дед с Александром способные и ночь прогуторить, а тебе сон надобен.

Оживили костерок для приятной беседы, тут и повод к ней подоспел — яблоки. Никанор Иванович резво выхватил из узелка одно, поднёс ближе к огню.

— Гляди, родня, какое яблочко круглое, будто вытачивали его по чертежу! Макушка не острая, седловина не долгая, боковина не кривая. Как, думаете, называется?

Поскольку родня знать ответа не могла, азартно воскликнул:

— Нашенское оно, панчашинское, так и зовётся: паньша! Правда, казаки из хутора Паньшина, из Иловлинского района, поперёк стоят: яблоко, мол, только паньшинское. А, к примеру, плотник наш Яков Силыч другое рассказывает: паньша из Ростовской области, из хутора Тубянского, откуда он жену себе привёз, там энтю яблочко уродилось ишо в стародавние времена и по свету белому покатилося.

— А ты его панчашинским зовёшь. Почему?

— А хочу и зову, и хватит об энтю.

Старик явно что-то недоговаривал, Пава-то своего деда хорошо понимать научилась.

— Деда, скажи как есть, не бунти! Или это тайна военная?

— Ишь ты, «военная», — вскинулся Никанор Иванович, — а то как же... А только паньша к нам в хутор, считай, с войны явилась, энтю да... Эх, не хотел говорить, но просвернь теперича не отстанет!

— Не отстану, не отстану, — довольно подтвердила «просвернь».

— Я привёз яблоньку, я, и именно из Паньшина, не откуда-нибудь. Я ведь в битву Сталинградскую угодил, а в ней, в битве той, мало хто от пули или осколка уклонился... И меня пропечатало, ну, в госпиталь в Паньшин доставили с плечом развороченным... А когда малость я оклемался да стал ковылять по палате, потом и по двору, среди лета бабьего углядел сады хуторские красные — всем садам сады! Тогда паньша меня и пленила, а местные люди присоветовали: набери, мол, отводков да вези домой, опосля госпиталя-то побывку вдруг дадут, если, конечно, попросишь хорошень... Да какая побывка... Война кругом. Одно толково, што про паньшу я не забыл. Как с фронта возвернулся, съездил в Паньшин за саженцами, привёз домой. Переживал, конечно, приживутся ли? Но сорт донской, потому и наша земелька панчашинская паньше родной оказалась. Через три года одна яблонька оплодилась, потом и другие в силу вошли. А кабы не углядел я красоту этакую среди войны, появилась бы паньша в Панчашине? То-то, что нет. А теперь в любой двор входи — она везде! Ну как, уладил я вам с яблочком-то? Натё, похрустите, усочитесь, угодите старику...

— Я-то сполна усочилась, деда, пусть отец Александр похрустит, — Пава для удостоверения сказанного показала недоеденное яблоко. — И это съём прямо с зёрнышками.

Дед довольно покашлял, готовя голос к продолжению рассказа:

— Оно, яблоко энтю, далеко пошло, по всему, считай, Дону, везде рóстят его. — И засмеялся: — Вино из долгого винограда долгое, а яблочная наливка, выходит, круглая! Из круглого яблочка-то... В другой раз спробуете, а как же! Своя, не фабричная наливочка...

Александр спрятал яблочный огрызок в карман широких дедовых штанов, которые делали инока похожим на всякого крестьянина.

— В монастырскую тепличку отвезу, может, прорастёт хоть единое семечко.

— Да энтю сколько ж годов его рóстить-то! Ты вот что, Стёпа: за саженцами приедь по весне, паньша корнем за землю зацепиться любит. А то — семечко, придумал...

Помолчали, заедавая беседу подостывшим печивом и запивая долгим вином, потом Пава вспомнила:

— А у тёти Тони другие яблоки растут, китайские, мелкие-мелкие, а тоже сладкие. А варенье из них!.. — И причмокнула губами при вкусном воспоминании.

— Энто да, — поддержал дед внучку, — энто да... А знаешь, Павка, как чуть не сгубла Тонина яблоня? Нет? Расскажу. Тут у нас, — поворотился старик к Александру, — ведьма есть, не старая ишо, в самом соку, дебелая, розовая — самая бабья статья! А ведьма, все про то знают. К кому ни придёт, чего-нибудь да спортит, змеюка. А туда же: куличики-печеники на Пасху наяривает, яички красит, да напогляд, во дворе! Верно говорят люди: ни Богу свечка, ни чёрту печка. А раньше Тонина изба от кубла Варьки садом только и огорожена была, вот и углядела недольная баба в дочкином садовище китайку ту. Верите: листвы не было видать из-за яблочек красных, вся, как в платке из красных роз, яблонька стояла, раскрасавица. Ну, ладно... В один из годов Тонька, как у нас водится, половину урожая раздала, мыслимое ли дело — одной всё переработать, куда столько? И Варьке по-соседски ведро насыпала. А на другое лето яблоня не родила, так и простояла праздной пять годочков. Чего только дочка не делала: и плакала, и молилась, и подавала, и святой водой дерево поливала — ни в какую! Пока не подумали мы на Варьку завидушную: она навела порчу, не иначе. Сколотил я забор, огородил дочку, а Тоня крест на заборе нарисовала и каждый Божий день у яблоньки молилась за Варькину душу. Ну, Господь не оставил энто без внимания, на следующий годок зацвела китайка, а урожай пуше прежнего был, весь хутор опять подкормился. Выжила китайка, стало быть. Вот што иноди происходит...

Пава вся искрутилась, дожидаясь завершения дедовой легенды: не даёт ведь монаху и слова вымолвить, так и ночь пройдёт. И только дед приумолк, приспела с вопросом:

— Отец Александр, вы так и не рассказали, почему в монастырь ушли. Историк — и вдруг монастырь...

— Точнее, историк языка. Это поинтересней, чем просто историк. Язык есть память, и память крепкая, сколько эпох в себе содержит! Но это мне, подростку, было неведомо, я мечтал изучать древние государства, и если бы не оказалось среди дедовых гениев Викентия Александровича Веселовского, может быть, стал бы я учителем истории или, на худой конец, историком-борзописцем, пересказчиком известных баек.

Александр потревожил веткой затухающие угольки костра, и они снова налились прозрачным тонким жаром, зазелели, оттеняя густую синь молодой ночи.

— Так вот, Викентий Александрович. Он тоже, как мой дед, был осуждён в тридцатые годы за неправильные научные взгляды, вернее, за традиционную научность, которая была объявлена отсталой, не соответствующей новой действительности. Сложное было время... Некоторые учёные, не только языковеды, погибли, другие ушли из науки, а иные сделались прихлебателями научных воротил. Впрочем, девушка, повторюсь: вас это вряд ли может заинтересовать.

Пава, однако, с достоинством возразила:

— Зачем тогда об этом со мной говорить?

— И што ты ей всё выкаешь, Степан? Она же твоя родня, хочь и седьмого киселя, — вмешался Никанор Иванович, — Ближе роднись, не забижай Павку, небось, тоже книжки читает!

Пава пожалела смутившегося монаха:

— Я не обижаюсь, совсем не обижаюсь!

— Ну, прости по-родственному, Пава, а коли тебе и вправду интересно, то завтра, до моего отъезда, почитай воспоминания Григория Матвеевича Панчашина. Он обдумывал их, пока находился в заключении, а записал после войны в Ленинграде, в нашей квартире на Васильевском острове. Я не говорил ещё, что дедушка почти не видел? Мало помогали даже сильные очки, поэтому он диктовал, а я писал. Не каждый день, конечно, иногда Григорий Матвеевич не мог подняться, мама вызывала врача, и гении заглядывали к нему только «на минуточку». А в хорошие дни он полулежал на диване, я сидел за письменным столом — идиллия! Успели заполнить только одну, но весьма объёмистую тетрадь для конспектов, дедушка умер... Но и одной тетради достаточно для понимания того, что происходило с ним и наукой.

— А вы разве уже завтра уезжаете? — Пава и не заметила, как быстро дни пролетели, ей казалось, что только-только они с дедом вернулись из путешествия в Белотарасинск.

— Никанор Иванович подыскал оказию: кто-то в райцентр собрался, меня захватит. Ехать надо, на неделе праздник Преображения.

— Тогда сегодня буду читать, ночью, немножко ещё посижу с вами и пойду, хорошо?

— Да сиди, — разрешил внучке дед и обратился к Александру: — Энто, мил человек, ладно и с праздником, и с записками, да в них, в записках тех, про тебя и про монастырь, поди, нету, а? А мы с внучкой антиресуемся. Да и про мужика учёного недосказал, про Викентича того...

— Про Викентия Александровича Веселовского, — вздохнул Александр. — Долгоньякая история, но раз начал...

С того дня, как Григорий Матвеевич Панчашин представил своим гостям внука, жизнь мальчика переменилась. Из неё не исчезли, конечно, ни школа, ни исторический кружок, ни шахматная секция, но посиделки с гениями казались важнее. Стёпа заходил в кабинет деда без прежней робости, грыз мамины крендельки и слушал про войну и ссылки, про умерших и живых, про конференции и диссертации, про утеранные во время ленинградской блокады и найденные невесты где университетские архивы, и теперь их надо приводить в должный порядок, а кому этим заниматься? Иных уж нет, а те далече...

— Но, — Григорий Матвеевич, промолвив однажды пушкинскую фразу, поднял вверх указательный палец, — третьи неуклонно растут. Помнишь, Викентий, — обратился он к Веселовскому, и тот улыбочиво встрепенулся, внимая товарищу. — Помнишь, как Алексей Александрович учил не только в глаза молодым глядеть, но и под подмётки заглядывать? Мол, ленивым чистюлям в науке делать нечего.

— Помню, Гриша, как же... Наши с тобой подмётки Шахматов незабвенный своим умным глазом в один миг срисовал... В силу своей гениальности, это несомненно.

Фамилия Шахматова в разговорах учёных людей звучала не в пример другим чаще, и юному Панчашину стало казаться, что говорили гении не об обычном человеке, а о былинном герое, вроде Ильи Муромца, охранявшего Русь от несметных вражеских полчищ. Но Шахматов жил не в былине, а в Петербурге, и ни в каких сражениях не участвовал.

Никоим образом не смея вторгаться в стариковское общение, Степан однажды приступил с расспросами к отцу и матери: кто такой этот Шахматов, почему его называют великим, выдающимся, а ещё основоположником? Привык, что родители знают обо всём на свете.

Отец сразу предупредил:

— Сам всё поймёшь, Степан, если и вправду займёшься наукой. Не знать об Алексее Александровиче нельзя — он соприядил русский язык с русской

историей. Как ни гляди, сын, на Русь, а без знания языка и малой доли истины не выглядишь. А ты ведь спишь и видишь древность, значит, вникай в слово.

Мама сказала по-простому:

— Стёпушка, Шахматов был бы в нашем доме самым главным гением. Но Алексей Александрович рано умер, и твой отец его не знал, зато дедушка у Шахматова учился, и Веселовский тоже, поговори с ними. А мне не так уж и много известно, однако знаю, в твоём возрасте Шахматов был необыкновенно начитанным мальчиком. Мечтал стать историком, даже сочинял в двенадцать лет исторические послания.

Отец усмехнулся, Степан почувствовал: над ним. И точно:

— А ты, сын, наверное, смотришь в умную книгу, а видишь круглую фигу? Ну-ну, не хмарься, всему свой срок. Хотя пора за ум братья, школьные пятёрки — не предел, целься в «яблочко»!

Отцовская наука пошла впрок: через несколько лет, получив аттестат зрелости, Степан «прицелился» серьёзным вопросом в гениев.

— Как стать учёным? — И смело ждал ответа, а может быть, и спора, в котором откроется истина.

Дед заметил юношескую решимость, угадал настроение:

— Полагаешь, надо всё бросить? Всё, кроме книг?

— А как же Шахматов? Мама говорила: с детства начитанный был, сам сочинял, а в семнадцать лет, ещё в гимназии, научную работу написал, и её напечатали в Берлине...

Ко времени этого разговора Степан знал о Шахматове много и без труда представлял себе самые интересные события из жизни учёного. И то, как одиннадцатилетний Алёша писал домой из Лейпцига про свою привязанность к истории и словесности. И как, будучи гимназистом, раскритиковал магистерскую диссертацию уже признанного в научной среде филолога Соболевского и этим обрёл неприятеля. И как обнаружил в академическом издании «Жития Феодосия» шестьсот ошибок, допущенных вследствие неправильно понятого издателями древнего текста. И именно он, Алексей Шахматов, первокурсник университета, нашёл в архиве Министерства иностранных дел двадцать старинных новгородских грамот и опубликовал их, да ещё с научным описанием.

Этим случаем Степан восторгался особенно, потому как Шахматов за находку и публикацию древностей получил от университета премию в двести рублей и всю её — до копейки! — истратил на поездку в Олонецкую и Архангельскую губернии. Целое лето, все дни своих первых студенческих каникул, занимался в деревнях изучением северных диалектов. Он и потом, став академиком, много странствовал, слушал песни и сказы, собирал говоры для самого большого словаря русского языка.

Степан долго ещё мог бы рассказывать добродушно внимающим ему гениям о великом Шахматове, но дед остановил внука мягким движением руки: утомись, мол, отдохни. А вслух произнёс:

— Что ж, много книжек прочитал и нас, стариков, добре наслушался.

И мы слушали учителей, а учителя наши — своих наставников. Таким образом, усвой: есть мудрость книжная, а есть живое знание, в их совокупности и обретается учёность. Но без этого, — Григорий Матвеевич взял со своего письменного стола большую книгу в тёмной матерчатой обложке, — всякое знание, всякая книжность тщетны. Здесь — премудрость Творца.

Степан прочёл: «Библия», изумлённо воззрился на деда.

— Это же церковная!

— Это Книга Творения Бытия, Книга Родства, Книга Возрождения человечества посредством Иисуса Христа. Послушай, — дед полистал Библию, —

как начинается одиннадцатая глава Бытия: «**На вся земле бѣ един языкъ и едино нарѣчїе...**» Знаешь, о чём это?

Степан недоумевал: ну и что, зато теперь языков много... Григорий Матвеевич терпеливо объяснил:

— Господь дал первым людям способность говорить как великий дар и этим одухотворил род человеческий, ибо язык созидает полноту бытия. Тебе это кажется невероятным?

Гении с интересом смотрели на юношу: понимает ли? А Григорий Матвеевич, видя растерянность внука, добавил:

— Разумеется, полнота бытия изначально освящена Божией благодатью. Творец — Зиждитель, люди — только созиждители, созидатели.

Тут Викентий Александрович решил внести свою лепту в дедово наставление:

— Язык, юноша, не просто речь, это Божественная энергия, познаваемая нами и до конца не познанная. Григорий, позволь, — взял из рук деда Библию, нашёл нужную страницу, протянул книгу Степану. — Удостоверьтесь, что об этом написал в Новом Завете Иоанн Богослов, вот здесь...

Степан послушно прильнул глазами к густому набору строк и окончательно смутился:

— Язык русский, но древний...

— Церковнославянский, в совокупности с древнерусским — живая нива нашей изящной словесности. Вы всё-таки попробуйте прочесть, уверяю вас: сможете, ибо всякий русский в родном языке генетически верен и грамотен.

И Степан прочёл, медленно вовлекаясь в смысл сквозь покров непривычных очертаний и звуков: «**Въ начале бѣ Слово, и Слово бѣ къ Бг҃у, и Бг҃ъ бѣ Слово. Сеи бѣ искони къ Бг҃у...**»

Остановился для переводу духа, удивляясь себе: текст был понятным, даже казался знакомым, как будто когда-то давно он, Степан, знал эти строки, да малость подзабыл. И вот они вернулись — просто и ясно, и теперь будут рядом всегда. Читать ли дальше?

Он вопросительно взглянул на деда, но снова заговорил Веселовский:

— А не прогуляться ли нам с вами, молодой человек, по набережной? Конечно, на миру и смерть красна, — и учёный обвёл деликатным взглядом кружок сотоварищей, — но вы, юноша, умирать, полагаю, не собираетесь, причём никогда, верно? Прийдёмся, договорим на свободе!

Так в судьбе Степана появился учитель, последующие годы пастырски водивший юношу по историческим и словесным далям. Главным, конечно, был дед, под диктовку которого внук записывал воспоминания. Веселовский же пестовал в юном Панчашине первооткрывателя явлений жизни, на первый взгляд далёких от языка, а на второй — наиважный! — удостоверяющих языковое главенство.

Поначалу Викентий Александрович вернулся к библейской фразе о едином первобытном языке:

— Предлагаю вам, юноша, прослушать небольшую лекцию. Итак, Божиим промыслом люди стали говорить. Спрашивается: как, при довольно широком географическом расселении древнего человечества, мог сохраняться единый язык? Бытописатель объясняет причину образно и научно: у всех людей наличествовали одни уста как орган членораздельной речи и одно наречие. Иными словами, в Бытии указывается на изначальную сообразность материи и формы. Факт первоединства человеческого языка — основа лингвистики. Общность вербальных субстратов во многих ветвях человеческой расы не оставляет сомнения в том, что все языки вышли из одного первоисточника. А вот каков он был, первобытный язык? Используя выражение

апостола, следует сказать так: об этом мы судим лишь га-да-те-ль-но. Вот она, краеугольная тайна человечества — тайна праязыка, разгадки коей вождедели и вождедеют выдающиеся лингвисты. Но я спрашиваю себя, а теперь и вас, молодой человек: нужно ли её искать, разгадку? К чему она приведёт? К несомненному господству какого-то одного народа над всем человечеством? Или к торжеству розни всех со всеми, то есть к гибели цивилизации?

Степан, не понявший и половины из сказанного, уловил главное: первые люди говорили на языке, который им дал Бог.

Так и ответил Веселовскому:

— Первобытный язык принадлежал Богу. Это Богов язык, а не человеческий...

— А знаете, молодой человек, вы высказали вполне разумную мысль, впрочем, не оригинальную. Я уже слышал подобные рассуждения от своего батюшки Александра Николаевича. Будучи историком литературы, он имел немалые познания и в сравнительном языкознании. Несомненно поэтому его исследовательские высказывания обладают научной полнотой. Я считаю некоторые изыскания отца гениальными, ибо в них главенствует идея о промыслительном характере не только языка, но и литературы.

— Как это? — несмело подал голос будущий то ли историк, то ли словесник.

— Вы сами только что говорили: Богов язык. Отсюда разве не следует, что изящная словесность есть его прямая производная? Иными словами, писатель переносит на бумагу то, что изначально существует в мироздании. Вам знакомо выражение: идеи носятся в воздухе? Великий Вернадский определял этот воздух ноосферой, информационным пространством. А я, вслед за великим Шахматовым, называю промыслом Божиим...

Как рассказать Никанору Ивановичу и Паве о том, что в какие-то секунды развернулось в памяти и осыпалось житейской листвой перед тонкими очами Степана-Александра? Дед и внучка Панчашины выжидательно смотрели на него, и стало понятно, что долгую историю, обещанную им, он мысленно рассказывал себе самому, но пока ещё не добрался до ответа на вопрос, почему стал монахом.

— Да-а, — протянул Никанор Иванович, — видать, и вправду долгонькая твоя история, сколько уж времени сидишь перед нами, а всё никак к ней не подберёшься, ни с какого боку. А ты давай не по-долгому гутерь, а по-короткому, оно способней...

Александр согласился:

— Вы, как всегда, правы, Никанор Иванович. Если по-короткому, то так: отучился я в университете, потом в аспирантуре, стал историком языка. Научным руководителем был, разумеется, Викентий Александрович. Дедушка умер в пятьдесят втором, Веселовский пережил его на семь лет. Он одним из первых в науке стал развивать идеи структурализма, выходящие за привычные рамки советского языкознания, и тем самым создавал условия для сближения отечественной и мировой лингвистики. Вслед за учителем я активно насыщал свои языковые исследования формалистским анализом текстов. Оппоненты признавали несомненную новизну моих работ, но я-то всегда мечтал о другом: о научных странствиях, о языковом собирательстве. Родители, конечно, про эту мою алчбу знали и, поскольку были уже немолоды, виноватили себя за стариковскую преткновенность моим творческим амбициям и этой виноватостью ещё сильнее привязывали к дому, но более всего жалостью, что личная жизнь моя не складывается.

— Энто почему так? — Никанор Иванович, сам того не желая, отводил разговор от главного, и Пава вмешалась нетерпеливо, с пылом всезнайки:

— Деда, ну опять ты... Настоящий учёный должен быть одиноким, иначе никаких открытий ему не видать. И не приставай со своими вопросами, не сбивай!

Дед досадливо и одновременно смущённо отмахнулся от слов внучки, но Александр подтвердил:

— Я полагал, что правильно понимаю смысл библейского стиха о домашних как о врагах. Каюсь, был молод и глуп, ведь домашние враги человека — это его грехи... Потом последовали недолгий брак, скучное продвижение по службе, пока не понял, что более не могу прозябать в комфортной должности университетского доцента. И уехал в Олонец, на родину деда, о ней я хорошо знал по его воспоминаниям, сам ведь их записывал. Выбор мой не мог быть иным: перед кончиной Григорий Матвеевич взял с меня обещание исполнить последнюю волю — отыскать в Олонце некие научные раритеты, спрятанные им в подвале родительского дома. Именно они и стали причиной дедова ареста и ссылки. Впрочем, нужны подробности... Ты хотела ночью читать записки Григория Матвеевича, — обратился он к Паве, — но я еду рано утром, а ночи осталось всего ничего... Сделаем так: тушим костёр и идём в дом, я по чемоданчику своему соскучился, пора его проведать.

И уже серьёзно оповестил ночных собеседников:

— Владею самыми настоящими сокровищами, хочу их вам показать, да и отдать, наверное... Бог укажет, как следует поступить.

Пава словно на качелях взлетела: ах! И назад, замирая от плавного падения, вернулась, на еле видимую в ночной темноте узкую дорожку среди капустных и помидорных рядов, по которой она следом за дедом и Александром поднималась вроде бы к старому панчашинскому дому, а на самом деле приближалась к необыкновенному приключению...

Ольгунька не спала, встретила полуночников в большом зале, зажгла верхний свет.

— Не могу уснуть, перебулгачили вы меня. Давайте пить чай, чего уж, теперя глаз не сомкнуть.

Но вместо любимого дедова самовара на стол немедленно был водружён кожаный чемоданчик Александра, из которого один за другим монах вынимал белые холщовые мешочки — большие и поменьше, при этом приговаривал:

— Так, Тарасиевы писания... записки Григория Матвеевича... тексты... древние камни, все три... Ну вот, смотрите!

Призыв был излишним: панчашинское семейство, не исключая пристроившегося на Павиных коленях котёнка, зачарованно наблюдало явление сокровищ, о ценности которых ведал пока один Александр, а тот уже объяснял:

— Это, — положил руку на толстые потрёпанные листы, — повествование того самого важного попа, который построил в Белотарасинске Свято-Георгиевский монастырь. Звали священника Тарасий Никитич Панчашин.

Дед изумлённо подался вперёд, не отводя глаз от груды древних бумаг, Пава ойкнула, а Ольга Тимофеевна перекрестилась со словами:

— Слава Тебе, Господи, порадел о нас, грешных, утешил на старости лет! Александр меж тем продолжал:

— О Тарасии Панчашине ещё поговорим, сначала надо про записки Григория Матвеевича рассказать, вот они, — и рука монаха легла поверх толстой тетради, перевернула зеленоватый лист верхней обложки, пролиставла несколько страниц, густо исписанных аккуратным почерком, — не всё нынче успею показать, один лишь отрывочек заветный, сейчас, здесь о великом Шахматове...

Нашёл нужное место, прокашлялся, скрывая волнение, стал читать: «Сегодня после лекции Алексей Александрович оставил меня в аудитории, спросил, по своему обыкновению глядя прямо в глаза:

— Вы ведь родом из Олонца?

— Да, Алексей Александрович, и собираюсь туда вернуться, папаше обещал.

— И чем же заниматься намереваетесь там с университетским своим образованием? Насколько я знаю, городок малопримечательный, если, конечно, не принимать во внимание память о верфи, заложенной на реке Олонка самим Петром Великим. А в вас, юноша, замечаются задатки не кораблестроителя, а лингвиста.

Просмотрел на днях реферат о призвании варягов на Русь, весьма интересно высказываетесь о варяжском племени, основавшем новое государство на древней русской территории. Однако кто были варяги, как не северорусы? Именно поэтому чрезвычайно быстро состоялась их ассимиляция в восточнославянской этнографической среде.

Я слушал с волнением: к моей студенческой работе благосклонно отнёсся сам Шахматов! Но потихоньку утратил свой восторженный пыл...

— Однако вынужден заметить следующее, — продолжал Алексей Александрович, — аналитический аспект работы весьма поверхностен. Я не имею в виду исторические доводы: высказывания летописца применены вами как нельзя более полно, но где же лингвистика, юноша? Где исследование северных наречий, которое может, например, подтвердить или опровергнуть некоторые выводы о том, что этимологию наименования Руси следует искать в языке осевших на исконных русских землях северорусов-скандинавов?

— А как же Нестор? — вскричал я и, позабыв о пиетете, выхватил из рук Шахматова свой реферат. — Вот, послушайте: «Реша Русь, Чюдь, Словени и Кричиви и вси: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Да поидите княжите и володете нами». И избра три брата с роды своими, пояша по собе всю Русь». Всю Русь, Алексей Александрович! Русь называлась так ещё до прихода Рюрика! — Едва переведа дух, я пришёл в уныние от собственной дерзости: кому посмел возразить, кому? Самому Шахматову...

И был поражён удовлетворением в голосе учёного, прозвучавшим в ответ на мой дикий выкрик:

— Итак, русы призвали русов, и не в дикую землю, а в Гардарику, страну древних русских городов. И «язык един бо у Руси и Словен...» А что немецкие умы нам до сей поры диктуют? Дескать, разумные немцы-шведы явились к неразумным словенам, живущим звериным образом, и правили Русью до Смутного времени, чуть ли не до явления на исторической сцене династии Романовых. А нам с вами, милейший Григорий Матвеевич, известно, что истари западные и восточные историографы выводили русских от Иафета и от внука Ноя Скифа, и от Руса Древнего, считали Русь древнейшим народом, ведь так?

— Так, — промямлил я, с радостным облегчением переводя дух.

— Но господам Байеру, Миллеру, Шлёцеру да и некоторым нашим норманнолюбам до признания исторического факта, что Русью всегда правила Русь, и дела нет. Таким образом, поле ваших изысканий выглядит намного обширней, чем вам казалось поначалу, не так ли?

Возразить было нечего. И тут Алексей Александрович сказал то, из-за чего, видимо, и затеял столь взволновавший меня разговор:

— Хотелось бы обратить ваше внимание, юноша, на огромную неизученность письменных памятников, причём самых разных. Вот, извольте взглянуть, — и он достал из своего видавшего виды портфеля нечто неожиданное: два небольших, грубо округлённых камня, серая поверхность которых была испещрена чёрными, потёртыми временем знаками, по всей видимости, пиктографами. Я взгляделся: так и есть, древнее рисуночное письмо.

Шахматов, помедлив, снова завладел моим вниманием:

— В молодости я предпринял экспедицию в Олонецкую губернию для сбора диалектологического материала. Пожалуй, вас ещё на белом свете не было, иначе наука непременно свела бы нас ещё тогда, — и он добродушно рассмеялся. — И вот, представьте себе, в один из дней в маленькой деревушке произошла у меня совершенно уникальная встреча со странствующим иноком. Деревушка, по-моему, называлась Оньковка, я заночевал у местного старосты, для которого странники, похоже, были не в диковинку, он так и сказал:

— Мы-то, когда у нас гости, на подловке спим, а ты ночуй, барин, мостись на лавке рядом с чернецом, не то, ежели гребуешь, на полу спи, на рядне, ничо, не захолонешь.

Я вошёл в избу и с порога увидел, как мне показалось, ребёнка — таким маленьким и тшедушным выглядел сидевший на лавке под образами человек. И если бы не тонко-белесая струйка бороды, сбегаящая с младенчески-безмятежного личика на деревянный наперсный крест, никогда бы не подумал, что вижу перед собой старика-монаха, которого староста называл пёрышком Архангельским: мол, когда молится, в воздух поднимается, святая душа...

Старец встал мне навстречу, поклонился и вдруг по имени назвал, а потом совсем уже чудесную фразу произнёс:

— Алексей, человек Божий, воин Христов, храни речь русскую от львов рыкающих, исхитить готовых у тебя благодать Господню!

И пока я приходил в себя от изумления, досказал:

— Ступай на остров Онежский в монастырь Палеостровский, возьми то, что не твоё, передай тому, кого не знаешь.

Прямо сказка: поди туда, не зная куда, возьми то, не зная что... Старик будто читал мои мысли: подошёл близко и тихонько, я еле разобрал слова, проговорил:

— Или не знаешь, что всё тайное когда-нибудь становится явным?

Вышел в дверь, как его и не было, а я остался в избе — хоть на полу ночуй, хоть на лавке.

И представьте себе: утром отправился на остров Онежский в монастырь Палеостровский. Давно, впрочем, желал поклониться мощам святого Корнилия Олонецкого.

Долго ли, коротко добирался до места — не помню. Пешком, на лошади? Не ведаю. Один или со спутниками? Не заметил. Словно во сне плыл по Онеге и очнулся перед монастырскими воротами, которые сами передо мной растворились. Оглянулся — я на острове, вокруг воды, на берегу лодка — моя перевозчица. «Ну и ну, — подумал, — с кем чуда не случилось...»

Про приключение сие, юноша, я никому не рассказывал — зачем? Кто в сказке не бывал, тот... — и Алексей Александрович рукой махнул, а я промолчал, но удивился: я вот в сказке не бывал, а он мне рассказывает. Видно, лицо моё очень уж красноречиво выглядело, потому что Шахматов, оставив фантазийный тон, заговорил строго и сжато:

— Там, в Палеостровском Богородичном монастыре, и обрёл я эти камни, — учёный задумчиво провёл ладонью по рисунчатой поверхности. — Была мне также рассказана игуменом Ферапонтом история их происхождения: на Палеостров принёс эти несомненные древности монах из Новгородской Юрьевой лавры от архимандрита Макария, будущего митрополита Московского. А к Макарию камни пришли из лесной пустыни, куда их, в свою очередь, доставил с греческого Афона инок Илия для прочтения каменного письма русскими людьми, ибо в заморье неведомую грамоту осилить не сумели. И мне, голубчик, сие не дано, ведь я получил то, что не моё, для передачи тому, кого не знаю...

Наконец, сказал важное:

— Решил отдать камни вам, Григорий, и не вздумайте перечить: лета мои не юношеские, дождусь ли того, кого не знаю? Вам, может статься, повезёт встретить некоего человека, который сорвёт с каменной тайны печати. Уж помилуйте старика, примите во временное владение из рук в руки... Премного благодарен! А теперь можно и о пиктографии поговорить, вы не находите?

Шахматов был совсем не старик: в 1902 году, когда происходила столь важная для меня беседа, ему не исполнилось и сорока, а какая величина! Самый молодой в России академик, основоположник исторического изучения русского языка, текстологии, истории древнерусского летописания и литературы. Непревзойдённый исследователь в области славистики, русского и славянского этногенеза, прародине и праязыка... Сколько открытий! И вот теперь он сидит напротив меня и разговаривает, как с равным.

— Ну-с, что мы знаем о пиктографах? — прервал мои размышления Алексей Александрович. — Прежде всего дадим определение: пиктографы есть рисуночное письмо, отображение какого-то сообщения в рисунках-символах — одном, нескольких, большей последовательности. На ваших камешках (я подозревал, что он специально нажимал на «ваших») знаки идут по восходящей спирали к центру, или, наоборот, из центра стремятся к периферии, но — по спирали! Что это, как не древнейшее солярное изображение? В пользу такого предположения свидетельствует знак солнца в центре обеих камней. Дайте-ка подумать... Вообще удивительно: пиктографы известны со времён неолита, и мы привычно относим их к простейшему средству фиксации, а не к собственно письму. Но в данном случае я интуитивно чувствую именно письмо, связанный текст... Смутное сходство с чем-то весьма знакомым... И вот что ещё, голубчик: не напоминают ли эти плоские каменные диски амулеты-обереги, известные у всех народов? Если действительно соотнести диски с оберегами, принять как данность, то неизбежен вывод: рисуночные спирали, то есть солярнозначимые письмена, есть обереги первобытного земного мира. Да-да, батенька, я говорю о Солнечной системе... Вот вам и неолит! Тысячи лет до новой эры, а каков размах мысли и языка — поистине вселенский!

Я слушал академика, и душа моя сладко ныла от восторга и предчувствия некоего замечательного главного делания там, за тьмою будущих времён. Камни, отправленные древними в неизвестную вечность, хранят их зов, их клич, их крик, но откуда я это знаю? Зачем это мне, что мне с этим знанием делать?

А Шахматов, сказочник-мечтатель непревзойдённый, приговаривал, словно сам себе не веря:

— Каково, а? Нет, каково? В себя прийти не могу...

Вот хитрец! Всё ведь продумал заранее... Я теперь ясно видел, как ночи напролёт просиживал Алексей Александрович над камнями, от созерцания рисуночных писем покалывало в глазах, от прикосновения к ним поламывали пальцы...

— Впрочем, — заключил академик, оценив произведённое на очарованного им студента впечатление, — отныне это дело не моего ума, а вашего. Или того гения, который придёт сию тайну древнюю у времени «воровати»... Только, голубчик, будьте осторожны, не доверяйтесь первому встречному, да и среди знакомцев может обнаружиться неверность. Вспоминайте старика-монаха, не меня одного предупредил он о льве рыкающем...»

Паву после слышанного потрясывало, словно обитую ветром от верхушек до корней вишню. Она только и смогла вымолвить, убирая с коленей встревоженного её волнением Пушкика:

— А камней-то не два, отец Александр, а три... Откуда третий? — Но чувствовала, что более не сможет её душа вместить никакой новости, никакого впечатления — полна до краёв.

А дед — ничего, бодренько глядел, хотя и подёргивал себя взволнованно за ус, постукивал ногой по полу. Да и баба Ольгунька, про чай позабыв, переживала изрядно, без особой надобности то и дело упрятывая в тонизну простоватого домашнего платка старушечьи пуховые кудельки.

Видя нетерпение стариков, Александр их успокоил:

— Пава верно подметила, чутьё у неё прямо-таки историко-родственное, необманное: третьим камнем действительно владел Тарасий Никитич Панчашин, да и первые два в его руках побывали. История тоже долгоньякая, но всё-таки, может, я доскажу ту, с которой начал? То есть с какого бока-припёка я оказался там, где оказался?

Но Никанор Иванович не согласился:

— Не, Стёпа, попервам давай про Тарасия, но по-короткому. По-длинному мы сами придумаем.

Пава же, не выдерживая томления, в котором пребывала после слушания удивительных записок Григория Матвеевича, протянула:

— Деда, ну ты чего? Непонятно же будет, если не по порядку. И так все устали, а ты бунтишь...

— Тогда, мать, неси агрегат, — распорядился хозяин, — чабора али душицы не забудь в заварку бросить, не то Павка уснёт и при своих антиресах останется, а мы потим отвечай.

— Откипятился дедушка старенький, одни бурки остались... — с этими речами Ольгунька водрузила на стол старинный медный «агрегат» с трубой и жаровней внутри, и самовар, благоухая мятой, запановал посреди ночного панчашинского собрания. Дед прислонил ладонь к пузатому чреву: нет, не остыл. Ещё и самоварный верток повернул, попробовал на горячесть первую струйку: добре.

— Ну, а споживанье иде?

Ольгунька растерянно смотрела на супруга.

— Посерёд ночи хто же, окромя тебя, ёдовать горазд! А ежели пупок развяжется?

Однако принесла из сенцов миску со вчерашними варениками с творогом, да и пряничков магазинных подать к столу не посчитала зазорным — медовые как-никак.

Освежала мята или убаюкивала, а может, и то и другое? После первой же чашки Пава почувствовала себя умиротворённой и в других заметила ту же тишину. Глянула на ходики — три часа ночи. Или утра? Бабушка как-то говорила: «Богородичное время. Небесной Госпоже молиться надо». Совсем скоро иннок отправится в монастырь, надо проводить его по-родному, до околицы. А ведь ещё не наговорились...

Какая хорошая, какая высокая ночь! Кажется, только им, Панчашиным, принадлежит. А если и вправду одни они не спят во всём хуторе? И этот старый круглый стол, словно большая чайная чаша — одна на всех обитателей панчашинского дома, — парит над землёй в оборках из вышитой бабушкиной скатерти, а никто этого и не видит...

Меж тем разговор за столом тянулся потихоньку, в малозначащих фразах, пока Никанор Иванович, перевернув чашку вверх дном, не возвестил:

— Ну, будя. Раз серёdochка полна, то и краешки играют! Давай, Стёпа, гуторь.

— Ну что ж, постараюсь по-короткому... Камни, что Шахматов отдал моему деду, находились у него все университетские годы. И не то чтобы дня

не проходило без попыток прочесть письма... Неглавым это казалось, необязательным, неактуальным, да и ему ли, думал дед, заниматься дешифровкой древнего текста? Меж тем надо было решать, в науке оставаться или ехать домой преподавать в Олонецкой гимназии, обещал ведь отцу... Решил ехать, но Шахматов не отпускал. Тогда явился в Петербург старший Панчашин, Матвей Семёнович. С боем душевным приступил к академику: пошто, мол, сына удерживаешь, добытчика и наследника фамильного? Алексей Александрович не дрогнул, звал олонцкого заезжанина к себе на квартиру, а перед его сыном и своим аспирантом Григорием двери затворил: сам, мол, справлюсь, не зря два года служил земским начальником в Вязовской волости. Наутро присмирённый отец благословил своего дитя «на науку» да и укал восвоеси, наказав крепко держаться за учёного «волителя».

Дед и держался, и не в одиночку, а вместе с Викентием Академичем, как в шутку называл он сына академика Александра Николаевича Веселовского. Конечно, учёная стезя стелилась перед Викентием сызмала, а Григорий был всего-то купецким сыном, но товарищами оба оказались по-русски природными. К тому же Шахматов, за годы досконально изучивший трудолюбивые подмётки своих учеников, поровну похваливал обоих за учёную небеспольность. И даже, к удивлению университетских, пригласил Панчашина и Веселовского в академическую библиотеку надзирать за древними рукописями. Именно тогда Григорий и открылся Викентию, рассказав о каменных письменах и тем самым разделив тяжесть «каменной ноши», как не однажды друзья, пошучивая, называли неразгаданность пиктографического текста. Понимая, что разгадка не явится в ближайшие годы, они изготовили рукописную копию и с подробным комментарием прикровенно разместили её в библиотечном фонде среди письменных памятников.

К тому времени оба много путешествовали по губерниям, помогая Шахматову в сборе диалектологических образцов для словаря русского языка. Однажды приехали в Олонец, и Григорий Матвеевич, не один год мучимый нервической боязнью утраты камней и поэтому никогда с ними не расстававшийся, доверился престарелому родителю: что, мол, делать, где скрыть древности?

— А чего ты боишься? Скрадут, что ли? — спросил Матвей Семёнович, нечаянно угадав правду.

Действительно, незадолго до этого рукописный экземпляр каменного письма загадочно исчез из библиотеки, и Панчашин с Веселовским, вспомнив предостережения Шахматова, поняли: рядом появился учёный соглядатай и вор, следующим его шагом может быть кража камней.

— И ведь сами виноваты со своими чуть ли не адресными описаниями, — сокрушались друзья, начисто отказываясь признавать в письмокраде того, кто должен был явиться для дешифровки древнего текста: настоящий учёный по обыкновению прям и простодушен и тем более далёк от татбы, обязательно бы открыто попросился в научные соразработники...

Матвей Семёнович, качнув аршинной бородой, вздохнул:

— Без бороньбы жизнь не осилить, как же вы, ученцы́, без опаски обретаетесь в городу-то? Однако в толк не возьму: что за камни такие? Не самоцветы ведь, чтоб их доискиваться?

— Нет, отец, не самоцветы и не золото, бери дороже. Смотри: текст древний, а насколько древний и о чём? Разве не интересно знать? Вот хотя бы тебе? Может, это твой предок прорубил каменные спиральки...

Матвей Семёнович, вволю над словами сына отсмеявшись, велел «ученцам» идти за ним во двор, к погребцу, полез первым, помавая керосиновой лампой, в холодное земляное скривище, указал на большие обручные кади:

— Тут квашеное и солёное держу, в каждой кадине по четыре пуда. Втроём приподыдем, и подкопать малость придётся...

Друзья, разгадав замысел старика, без лишних слов принялись за дело, вскоре его и закончив: камни в рогожной обёртке были надёжно запрятаны в земле под днищем могучей бочки.

— Ну вот, — Матвей Семёнович был доволен, — справно подтрудились. Хотя... Кого надобе, найдут и в кáлдобе, так у нас говорят.

Григорий отмахнулся, спросил, показывая отцу бумажный свиток:

— Скажи лучше, это вот куда девать? Мы с Викентием ещё один список с камней сделали, на всякий случай. Мало ли что...

Пошли в пустынно-тихий, без материнского голоса, дом, и Матвей Семёнович, обмахнув себя крестным знамением, спрятал свиток в глубине божницы за образом Николая Угодника.

Пообещал сыну, заодно и предупредил:

— Сёстрам твоим обскажу, что и как, а ты не затевай разговору раньше времени, ни к чему.

Сходили на погост, помянули матушку Анну Алексеевну, простились.

А потом русская жизнь так круто завернула, что ни Григорию Матвеевичу, ни Викентию Александровичу не довелось более побывать в Олонце. Правда, в 17-м, после февральских событий, приезжала в Петербург Мария, старшая сестра Григория Матвеевича, с предсмертным прощением отца и горстью земли с его могилы.

— Не вернёшься? — спросила, сама не надеясь на возвращение брата. — Дело отцово купецкое давно захудало, мужики наши извозом занимаются либо по сторонам разошлись — кто куда, кто зачем.

— Нет, Маша, не вернусь, прости уж, тут, в Питере, все мои заботы. А что, дом отцовский цел?

Мария понимающе откликнулась:

— Теперь там живут племянницы троюродные Женя с Шурой, помнишь девчонок? Да не о них речь и не о доме — о камнях, поди?

Григорий Матвеевич помнил племянниц смутно, пожал плечами, а в тревоге о камнях сознался:

— Никому ведь не нужны, ни одному ни вору, ни разбойнику, только учёному народу... Пропадут если — мне каторга до конца дней. — И успокоил сестру, заметив промельк страха в её лице: — Муки сердца и совести имею в виду.

Она перекрестилась и сообщила:

— Никто кадь с места не сдвигал. Батюшка наш, как квашенину продал, набил бочку чем ни попадя: битым камнем, ржавым железом, мол, в своём хозяйстве всё сгодится, хоть драньё, хоть старьё. Знал, что на этакое добро и последний вор не позарится. Так что целы твои камни. Когда ж заберёшь? Хоть взгляну на них нечаянно...

— Заберу, Маша, придёт время — заберу, а нынче мне не до камней.

— Так и пролежали дедовы редкости под кадушкой до шестьдесят второго, то есть до моего приезда к родне в Олонец, — «короткому» рассказу Александра, похоже, было далеко до завершения, — бабушку Машу я не застал, она ещё раньше Григория Матвеевича умерла, встретили меня старенькие тётушки Женя и Шура, но с великим испугом: в дом пускать не хотели, не верили в нашу сродственность, пока про то да про сё из семейной жизни не повыпросили. Заодно выяснилось: утрастились моих очков, один очкарик уже приезжал — давно, ещё до войны, расспрашивал про камни, выведывал, где они, сулил большие деньги, переночевать даже просился, но получил отказ, с тем и увёялся восвосяи.

— Не отдали мы, по дедушкиному наказу, кладь тайную, и сами до сих пор не знаем, что там за камни... И Николай Угодничек не открыл чужому дядь-

ке спрятанную бумагу, но ты бери, раз надо, — и осторожные старушки, потревожив божницу, вручили мне писанный рукой Григория Матвеевича свиток.

Я впал в странное состояние отрешённости, как бы со стороны наблюдая за собой, разворачивающим старый список, вникающим в письменные знаки... Ну вот, просьба дедушки исполнена, осталось достать из погребка камни, что потом? И тут меня осенило: надо ехать на Онегу, в Палеостровский монастырь, камни ведь оттуда, монахи что-нибудь да скажут.

— Видать, хорошень с тобой озёрные-то погуптурили, коли сам в монахи по́тим пошёл, — Никанор Иванович дождался удобного момента прервать свою молчанку.

Ольгунька покачала головой.

— В монастырь Господь приводит, неуч ты неумейный, дай дослухать!

— Вы, безусловно, правы, Ольга Тимофеевна, монахов находит Господь, — согласился Александр. — Однако я нашёлся не сразу. И в монастырь Палеостровский тогда не попал, ибо властями он был закрыт, а угождая ещё в 1919 году поделены между сельхозартелями. Но случилось главное: я стал думать, как дальше жить, всё более склоняясь к решению найти живую обитель и закрыться в ней от мира. Для чего, насколько серьёзно моё стремление — эти вопросы не возникали, путь души был, как говорится, свободен.

— Да-а... — отозвался Никанор Иванович, — по этой свободе ты и полетел, Степан, прямо в Белотарасинск родной. Как догадался?

— И догадываться не надо было, отец ведь до войны тут бывал, рассказывал мне про родину предков своих. Стало быть, и моих. Знал я из печати и про монастырь: его среди многих восстановили во время войны по указу Сталина, в 43-м. Двинулся на Дон в надежде обрести и предков, и потомков, осесть на земле, языком заняться древним, камни-то при мне оставались, иной раз я даже чувствовал в них немых собеседников. Приехал в Белотарасинск и ахнул от сердечной радости у подножия Свято-Георгиевской обители, красы белокаменной! Благословился у игумена на трудничество, прошло некоторое время — стал послушником. А по́стриг монашеский принял совсем недавно. Тут и вы появились, не иначе, по Божиему изволению.

— Теперя тебе не до этих старых камней, другими камнями ворочаешь, книжно-премудрыми, молитвенными... — Пава не поняла, похвалил дед инока или пожалел, но разговорному повороту обрадовалась.

— Отец Александр, а где же вы третий камень нашли? Неужели здесь? — И повела рукой окрест себя, словно открывая мысленному взору монаха речку Гусинку с таловыми бережками и развалинным храмом на взгорке на самом выезде из Панчашина, и благоденствующие среди садов и огородов семейные хуторские дома, и печально-одинокие закольные усадебки, и дорогу, одну из множества дорог, соединяющихся где-то в невидимом степном и лесном далеке-высоке в едино-общую долготерпеливую русскую дорогу...

Александр, восприняв вместе с вопросом Павы её трепетную нежность к родному маленькому хутору, ответом порадовал:

— Здесь, а где же ещё? На белотарасинской земле, в Белых Тарасах, как раньше это место звалось.

А Никанор Иванович попенял внучке за недогадливость:

— Нешто забыла, как говорил Степан: мол, все три камня нашенький Тарасий в своих руках держал. Стало быть, хочь один камешек, а евоный. Али нет? — Дед обратился уже к Александру.

— Его, его... Мне немного осталось досказать, Никанор Иванович, и как раз про строителя Белотарасинского монастыря протоиерея Тарасия Никитича Панчашина. Вот здесь, — и Александр осторожно притронулся к плот-

ной груде бумажных листов с обтёрханными краями, — описание всего того, что было ему известно о панчашинской фамилии, мы как-нибудь поговорим об этом подробно. Про камни же древние Тарасий повествовал особо, подчёркивая их историческую важность, впрочем, никем не подтверждённую и по сю пору. Два камня — и он тому свидетель — были отправлены в Палеостровский монастырь. А третьим владельцем до самой смерти и был он, Тарасий, наш белотарасинский предок, а потом, после его кончины, и записки, и камень хранились в монастыре под спудом.

— Тебя, видать, ждали, сразу и объявились, а? — добродушно осведомился неужённый дед, за что тут же был награждён укоряющим взором Ольгуньки.

— Да, может, так оно и было, Никанор Иванович. Любой монастырь — кладёшь премудрости Божией и мудрости человеческой: входи, пользуйся, спасайся для вечности. Наш игумен Марк после вступления в своё пастырское служение стал наводить порядок в монастырских архивах, а они весьма объёмны. К тому времени, когда в монастыре появился я, едва ли третья часть старинных документов оказалась описанной и систематизированной, работа предстояла ещё большая. И мне как историку языка игумен вменил её в качестве послушания. Я, не скрою, был рад несказанно! Что последовало далее, догадаться нетрудно, не так ли, Никанор Иванович?

Дед важно кивнул:

— А што, энто ясно: ты нашёл в каком ни то укромном местечке и камешек Тарасийн, и писанину, так?

— Нашёл, а как же, нашёл! И камень третий, близнец известным двум... В изумлении пребывая, глазам не верил, пока не прочёл записки, о которых ничего иного по-короткому сказать не могу, кроме одного: дивное творение ума и сердца! Протоиерей занимался писательством по благословиению игумена монастыря Никона, к тому же своего первенца. А я взялся за переписку замечательного текста, перевёл его на русский современный язык — для себя, конечно, ибо монастырские архивы содержатся в неприкосновенности, а мне хотелось писание Тарасия всегда при себе иметь. Да, признаюсь, подумывал и о том, что найдутся у меня когда-либо родственники, в языке древнерусском несведущие. Так что, Пава, будешь читать о своём роде без всяких словесных преткновений. И оригинал можешь полистать, пока он здесь, со мной.

Пава, слушая Александра, то собирала камни в одну кучку, то передвигала так и сяк, пристраивая друг к другу похожими знаками или выискивая в нестройной следующих интервалах между предполагаемыми словами начало всему, чему надлежало быть и что, возможно, сбылось когда-то и где-то, то есть в кромешных далях пространства и времени. Ах, как хотелось узнать хоть что-нибудь! А вдруг в камнях спрятаны сведения о событиях, доселе неизвестных?

Александр меж тем продолжал, время от времени осторожно вороша листы сочинения старинного священника Тарасия:

— Здесь есть интереснейшие страницы и о хуторе вашем, Никанор Иванович: как начинался, в какие времена. И ещё о двух казачьих поселениях — Шабурнове и Скачкове, они, кажется, от вас неподалёку?

Никанор Иванович был заинтригован.

— Ишь ты! Ну, о нашенском, о Панчашине то есть, понятно: ежели не сам Тарасий, то сродник его из Панчашиных тут первый шалашик связал. А вот про хутора Шабурнов и Скачков почему Тарасий написал? Антиресно...

— Вот и почитаете без меня, оставлю вам его сочинение в моём пересказе. А древний текст ещё поизучаю, может быть, появится необходимость в каком-либо обобщении. На будущее знайте: все записки Панчашиных — и

протоиерея Тарасия, и языковеда Григория, и некоторые мои — в монастырской библиотеке будут находиться. И камни — тоже, я имею в виду те, что привезены из Олонца. А вот третий камешек отдаю тебе, Пава. Он три века дожидался выхода из затвора, и что-то мне подсказывает: именно тебе он нужнее, чем другим. Впрочем, могу и ошибаться.

Пава застеснялась, сама не зная почему...

Вдруг вспомнила:

— Деда, а я про Скачков хутор давно знаю, ещё с прошлого приезда. Ко мне в Шабурнове на танцах парень один лепился, но ребята панчашинские его пыл охладили. А когда ночью мы возвращались в Панчашин, этот казачок догнал нас на коне. Сначала я испугалась, думала, драка будет, а он хотел познакомиться. Запомнила: Ваня Скачков. Сначала, правда, плёткой махал, характер показывал да орденом хвалился, а потом по-мирному себя повёл, даже до хутора нас проводил.

Дед не пропустил самого важного из сообщения внуки:

— Энто ж каким орденом Ванька хвалился, уж не крестом ли Георгиевским?

— Точно, крестом, он ещё его Георгием называл! Говорил, на скачках выиграл.

— Вот бисов сын, вот стервец! Энто ведь прадеда его крест, Ивана Григорьевича Скачкова! Вся станица праздновала, когда в пятнадцатом Иван привёз крест с Империалистической. Покалеченный возвернулся, а то бы ишо с немцем повоевал. Крест Георгиевский — геройская награда, не всякому подъёмная. Я ишо про одного казака знаю, про Козьму Крючкова из станицы Усть-Хопёрской, Георгием награждённого. Так Козьма и вовсе знаменитый был: он свой крест получил первым из рядовых — уже в 14-м! А потим ещё три... Энто надо ж понимать. А Ванька, значит, перед девками на танцульках с крестом боевым гарцевал... Чего ж, Павка, раньше не сказала мне, а? Я бы с ним да с отцом его подрабозбался.

Александр не согласился:

— Не забавы ради, думаю, парень крест надел, а из гордости за предка. Не только ж в бабушкиных сундуках память русскую прятать...

Тут настала пора высказаться и Ольге Тимофеевне:

— Он, Ванятка Скачков, лучший наездник в районе, за ним и коняевским не угнаться, все скачки — за Скачковым, фамилию свою оправдывает. И неча воду в ступе толочь, а то: бисов сын, стервец... Укоротись, старый, всё едино молодые правей тебя.

...Окошки голубели и розовели, нараспашку открывались навстречу наступающему со всех небесных сторон свету, когда Панчашины вышли из колокольчиковой калитки и двинулись к окольной развилке. С другой стороны хутора туда же громко приближалась подвода, весело понукаемая плотником Яковом Силычем Парфёновым. Пава его знала, он нравился ей за простой нрав, она и сказала об этом спроста, а дед подтвердил:

— Лёгкий человек, обходливый, про всё говорит одинаково: отлично, мол... Жизнь долгая научила. Вот такая оказия приятная, Степан, нашлась тебе в дороге.

— Что ж, благодарю покорно, Никанор Иванович, — Александр поклонился деду, — и вам спасибо, Ольга Тимофеевна, и тебе, Пава. Хорошо погостил, милости прошу в монастырь, может, приедете на Преображение?

Ольгунька так и засветилась лицом навстречу речам инока, но дед чуток пригасил её радость:

— Мы на Спас к обедне всегда в Шабурнов ездим, не обессудь, всего-то пять километров до храма Воздвиженского, успеваем до обеда возвернуться,

а как же, дом без хозяев не может находиться долго. А скажи мне, сынок, навпоследок: почему твой отец знал про наши края, а мы и слыхом не слыхали, что Борис Григорьевич тут до войны был? Выходит, не встренул никого, окромя бобыля нелюдимого Сёмки? Но такое невозможно, Панчашины на виду!

Александр пожал плечами.

— Очевидно, отец знал о Белых Тарасах от деда, дед от прадеда... Во всяком случае, в нашей семье было известно про того старинного травника и знахаря из рода Панчашинных, который ушёл с Дона на Рязанскую землю, помните, я рассказывал? А вот почему батя своих тут не искал, не ведаю. Скорее всего, осторожничал, ведь дед находился в ссылке, мало ли что могло прийти в чью-то слишком бдительную голову. Времена-то какие были...

Подошёл Яков Силыч, улыбочиво поздоровался, спросил:

— Едем али как? Мне за день управиться надо, а в райцентре ещё наволокититься придётся, сам знаешь, Никанор Иванович.

— Погоди чуток, Яша, ведь сродника провожаем! — отозвался дед, попутно замечая: внучка порывается что-то сказать Александру.

У Павы действительно был важный вопрос.

— А кто же тот очкарик, который в Олонце приезжал за камнями?

— К сожалению, деда моего уже не было в живых, и посему личность очкарика осталась неизвестной, спросить-то мне было не у кого, — ответил монах. — Но предполагаю, что человек тот кружился около знаменитого учёного Марра, который в двадцатые и начале тридцатых в языкознании господствовал, хотя и выдвигал некие научно некорректные идеи.

— Энто как же? — Никанор Иванович недоумённо глядел на Александра. — Неправильные, что ли? Как же ему разрешали такое? И не перечил никто?

— Кто перечил, тех посадить могли запросто... Как моего деда, причём уже после смерти Марра. Вот я и думаю: а не был ли кто-то из последователей этого идола от науки заинтересован в устранении деда от дел? Например, тот, кто выкрал из академической библиотеки список пиктографического каменного текста и кому, видимо, позже потребовались сами камни как исходные образцы древнего письма. Но дедушка оказался дальновидным, камни спас, а заодно и возможную лингвистическую сенсацию в случае их дешифровки.

— А как же чужие узнали, что камни в Олонце спрятаны? — Пава диву давалась, слушая эту чуть ли не детективную историю.

— Тоже загадка, но не очень странная. Ибо известно, что любые стены имеют уши, а уж университетские...

Учёный инок достал из кожаного чемоданчика зелёную тетрадь с воспоминаниями своего деда, протянул Паве со словами:

— Знаешь что? Бери, читай. Здесь многое и о науке тогдашней, и о преследованиях, а главное — о дискуссии по языкознанию в главной газете страны, события невероятном.

Пава испугалась:

— А если я потеряю тетрадь? У вас ведь, наверное, нет копии?

— Действительно, нет... Вот ты её и сделаешь. Перепиши тетрадь, тебе пригодится... А я потом как-нибудь оригинал у Никанора Ивановича и Ольги Тимофеевны заберу, что, посторожите до моего появления? — Инок посмотрел на стариков, и они даже руками замахали: не сомневайся, мол, посторожим, не пропадёт тетрабочка твоя...

Она и не пропала, припрятанная Ольгунькой в известном только ей домашнем схроне. Может быть, в том самом сундуке, из которого однажды явился на белый свет платок с розами — для Павы. Но платок — не записки, их надо

было переписать, и бабушка на несколько дней выдала внучке рукопись Григория Матвеевича Панчашина «для перебелу». Пава купила в сельмаге несколько ученических тетрадей, сшила их в одну и старательно трудилась, перенося в неё воспоминания учёного родственника.

После рассказов инока Александра о своём деде давние события казались девушке близкими и понятными, будто она сама в них участвовала. Иной раз перо вдруг выводило фразу, которой не существовало на страницах описания, вроде: «Но разве можно было с этим соглашаться сгоряча?» Пава с недоумением зачёркивала написанное, ругая себя за нечаянную оплошку. А вот если бы нашёлся настоящий писатель, который мог бы о лингвисте Панчашине книгу сочинить...

Удивлялась, почему до сих пор этого не сделал Александр, ближайший родственник Григория Матвеевича: столько знает подробностей, со сколькими учёными знаком... И тут же одёргивала себя: он монах, всяких похотей избегающий. Недоумевала: «А как же протоиерей Тарасий Панчашин? Тоже лицо священное, а сочинял...»

Никанор Иванович рассуждений внучки не принял.

— Про себя гуторь и заботься, о других помалкивай. Кому што дадено, нехай то и делает. Нешто Тарасий сам придумал себе занятие письменное? Ты же знаешь, игумен его благословил, вдобавок рódный сын. Опять же, не затворником Тарасий был, в миру жил, с простыми людьми тужил. Не умничай, давай читай, што он про хутора нашеньские написал.

— А это когда читать будем? — Пава споро пролистнула тетрадь с воспоминаниями Григория Матвеевича.

— Энто потом...

Тарасий сообщал издалека: «В лето 1570-е от Рождества Христова вернулся из воинских странствий сын Алёша к нашей с Евлалией радости, однако, недолгой, ибо прибыл он для получения родительского благословения на самостоятельное жительство в ином местобытии.

Объяснил:

— Батюшка, матушка, не один я с войны приехал, а со товарищи Илькой Гнутым, Матёхой Ильцовым и Семёном Скачковым, да и с другими казаками нашими походными. Возвращаться в Белые Тарасы и Коняев не хотим, будем стоять по Дону сторожевыми заставами.

Евлалия умоляла сына не покидать родного дома, но Алёша был непреклонен. Тогда я, поняв невозможность иного исхода из сложившегося положения, благословил Алексея, но повелел хотя бы седмицу пожить в Тарасах, ибо наблюдал в сыновнем лице немолодую усталость, а на теле следы от ран. Полагал, что душе воина надо разрешиться от бремени дум о перенесённом в кровопролитных походах, а кто как не священник, да ещё и отец, сможет разделить сию ношу?

Семь лет сына не было рядом, но родительские сердца следовали за ним всякую минуту. Не однажды я поднимался к Евлалии в её горенку на чердаке, и мы молча сидели у смотрового оконца, за которым простирался безграничный мир без цвета и явных очертаний — мир, где странствовал наш Алёша. В такие мгновения не верилось, что в невидимом нами пространстве существует жизнь, что вдоль ночных степных перегонов горят дозорные огни, а по донским путям плывут боевые лодии. И всюду воинов русских подстерегает смерть от кривых татарских сабель и османских ятаганов или от жестоких пыток во вражьем плену. Но ни разу не усомнились мы с Евлалией в возвращении Алёши, ибо благосклонно смотрела на нас в молитвенные ночи Богородица Животодательница, и какими бы томительными ни

были стариковские бдения, святые силы укрепляли недугующую плоть для новых трудов и ожиданий.

Алёша воспоминал, как ликующая радость похода на Переволоку, в который белотарасинские добровольцы много лет назад ушли по благословению игумена Никона, день ото дня тускнела, сливаясь с тревожной повседневностью и обрастая смертельными приключениями. Крымский хан при поддержке турецкого паши распустил разбойную войну, татаро-турецкие рати растекались по Дикому Полю, ходили по Дону и Волге, и оборонительная страда русских войск против южной угрозы не прекращалась. Сын рассказывал, что сначала их маленький отряд стал под руку князя Михаила Ивановича Воротынского и долгое время держался в сторожевых и караульных службах, упреждавших вражьи прорывы в глубь Руси. Пограничное дело было настолько же опасным, насколько и спасительным для русской обороны. Между тем надвигалось османское нашествие.

Страшную весть принёс на Переволоку бежавший из Кафы с турецкой галерной каторги казак Василий Шевырёв, успевший, несмотря на раны, добраться до русской границы раньше грозных иноплеменников. От его рассказа веяло смертью, и не напрасно: слишком хорошо была известна пограничникам беспощадная османская жестокость.

Тут Алёша прервал свою повесть, а когда снова заговорил, лицо его, казалось, делалось темней и темней от всполохов воспоминаний о пережитых потрясениях и потерях.

— Атаман наш Пётр Шабурнов постановил выйти из дозорной службы и скакать на сечу, а мы только смертной драки и желали, — рука сына непроизвольно сжалась в кулак, и я осторожно накрыл его ладонью: успокойся, мол, ты дома. Алёша благодарно улыбнулся и продолжил:

— Шевырёв объяснил, что турецкий султан Сулейман, уже давненько объявивший поход против Руси, повелел своим прислужникам крымчакам идти на Переволоку и неподалёку от устья реки Иловля прорыть через Волго-Донской перешеек канал, по этому пути должны были переходить из Дона в Волгу корабли османского флота. Шевырёв сказал: на Астрахань и Каспий. А мы, белотарасинские казаки, дозорничали и близ Переволоки, и дальше, гоняли своими малыми силами и крымчаков, и отряды турок, и вдруг — османская армада совсем рядом!

Я слушал в сердечном томлении, ведь Алёша, избежав гибели от османов, снова приближался к ней, стремясь дозорствовать на родной земле. В то же время я понимал: без дальних и ближних застав Белым Тарасам не обойтись, и в опасном военном дозоре мой сын будет стоять теперь до скончания своего века...

— Отец, ты слушаешь? Не горься понапрасну, смерть моя не за плечами — за холмами, скоро сюда не допрыгнет.

Теперь уже Алёша старался меня подбодрить, и я кивнул: слышу, мол, рассказывай далее.

— По Божией милости строительство канала расстроилось, ибо султан Сулейман умер, однако позже турки на Русь всё равно пошли по велению наследника османского Селима. Вася Шевырёв своими глазами наблюдал в Кафе сотни военных кораблей и галер османского флота, готовых к походу, и когда они двинулись в сторону Керчи и Азова, бежал из плена на Русь.

Рассказал Алёша и о том, как встретили русские войска нашествеников, и моё воображение вслед его повествованию рисовало яркие картины подвига знаменитого Мещёрского полка под водительством князя Петра Семёновича Серебряного: именно в тот полк направился белотарасинский отряд Шабурнова вместе с Васей Шевырёвым. Сначала хотели идти на Москву, но

размыслили, что за дальностью пути не успеют упредить царя: турки захватят юг раньше, чем им воспрепятствуют в том царские рати.

Оставалось одно: достичь мордовских лесов, где на краю Дикого Поля стоял сторожевой полк Серебряного — самое близкое к южной границе расположение русских войск.

— Пока мы скакали, отец, лёгкие турецкие суда уже поднимались вверх по Дону к Переволоке, а от устья Иловли всего семь вёрст до волжской притоки Черепеха, и янычары посуху непременно к Волге должны выйти с кораблями своими и снаряжением, да ещё безо всяких преткновений, ибо никакие русские рати здесь в то время не стояли. Гневное наше нетерпение было велико, но на что годна горстка бойцов без доброго войска? Надеялись, что князь Серебряный примет к себе.

Так и случилось: прискакали, подвели к нему Шевырёва, да и попросились под знамя Мещёрского полка. Воевода согласился, но решил нас испытать: послал молодецки попрыгать через острия копий, воткнутых в землю, ещё и по шапкам пострелять — показать удаль и меткость. Сам же с другими воеводами сел думу думать о походе на Переволоку.

А задуматься было над чем, ибо о продвижении неприятеля Серебряный уже знал от царских гонцов, доставивших в полк повеление Иоанна Четвёртого Васильевича выступить на Дон и Каспий и остановить вражеское войско. Один полк против целой армады! Приказ царя был зело грозен, как и сам царь. Но ведь держава на его плечах — не шуба соболиная. Не быть царю грозным — не быть и державе, ибо на куски разорвут свои же тати, а чужие проглотят без остатка...

«Стало быть, напрасно мы скакали, раньше нас хорошо сработали в Крыму царские лазутчики...» Только я так подумал, отец, как позвали нас к князю, и было удивительно, до чего он переменялся: всего какой-то час назад мы наблюдали в нём озабоченность и растерянность, а теперь видели перед собой сильного воеводу, готового побеждать.

— Московский Посольский приказ сообщает, что идёт на нас сила столычаяная, — начал Серебряный. — Но, даст Бог, не с позором умрём, а то и не умрём, коли помогут нам астраханские стрельцы, да и ногаи не пойдут на сговор с турками. А ещё люди ссыльные за нас встанут, и чуваша окрестные, и мордва, и донские казаки, и татары поокские. Никому неохота брать на себя бесчестье и покоряться аспиду турецкому. — И возгласил напоследок: — Поход!

— Поход, поход! — разнеслось по войску: полковые ратники, вблизи и поодаль наблюдавшие за воеводским сидением, иного решения и не ждали. Таковы были мещёрские полчане со своей верной готовностью лучше положить души за други своя, но не покориться врагу, не отдать завоёванное в смертных сражениях на Диком Поле.

Я остановил Алёшу вопросом:

— Ты сказал, сынок, что шабурновцев воевода позвал к себе прежде объявления о походе. Видимо, имел для вас особое поручение?

— Твоя правда, отец. Мы как люди свойские-донские помчались на Переволоку впереди полка, скликаая местных казаков и разноплеменных жителей Дона с их лодками-коснушками и иным плавучим подспорьем на сечу, а как только достигла наша ватага камня переволочного, стала вязать в скрытой заводи гонки и плоты. Знал полковой воевода, что делал, ибо скоро наступил заветный час и погнались русские ратники турок посуху и по воде.

Прискакал Мещёрский полк к Переволоке тайно, напал на янычар пеших и конных врасплох, мало их в живых осталось, а тех, кто добежал до турецких кораблей и галер, до самого Азова преследовали казаки своим донским флотом, а потом и саму крепость добре повоевали.

Победа Серебряного явилась полной, но идти на Астрахань, которую обложили татаро-турецкие полчища, было преждевременно: предстояло хоронить своих убитых, лечить раненых, пополнять сотни новыми бойцами.

И решать, как до конца избавить земли между Переволокой и Астраханью от османов, против которых в Диком Поле доселе не мог устоять никто.

«Так вот где ты был так долго, Алёша», — думал я, вглядываясь в помужевшее лицо сына и вслушиваясь в его рассудительные речи. Слава о победе русских ратей на Переволоке в своё время достигла белотарасинских пределов, и мы с Евлалией, проводившие сына в те края, догадывались: и он сражался вместе с другими в страшной сече, надеялись, что уцелел и вот-вот вернётся, но даже подумать не могли об участии Алёши ещё и в астраханском противостоянии.

Алексей мои мысли угадал и пожал плечами: мог ли он бросить товарищей? Я знал, что не мог, и с нетерпением дослушивал повесть сына об астраханской битве: о том, как Мещёрский полк напал ночью на пригородное становище янычар и крымчаков и оставил на стражных валах и в окопных ямах неисчислимое количество голов нашественников; как посылал турецкий паша к стенам Астрахани всё новые и новые янычарские отряды и тяжёлую конницу, но астраханские стрельцы воеводы Карпова и простые жители соединялись у стен города с ратниками Серебряного и избивали нападавших; как выжившие султанские войска отступали по пустынно-безводным землям к Азову, умирая от жажды и от стрел и сабель местных татарских и черкесских племён, искавших не османского, а московского подданства; как, наконец, погиб в морском осеннем шторме почти весь турецкий флот, а над освобождённой Астраханью день и ночь звучал благовест.

— Да, была сеча, — себе вроде не веря, вспоминал Алёша. — Нипочём бы не подумал, что погоним басурман, такой силой тьмочисленной они к Астрахани приступили. Но и воевода наш Петр Семёнович не лыком шит оказался, самолично ратников вёл, в первом ряду стоял против янычар, и мы, казаки белотарасинские, со своим атаманом от смелого князя не отставали. Шабурнов, так тот ближе других был к Серебряному, закрывая его со спины. Много турецких голов взяли воевода и атаман на свои сабли, а когда вошли полчане мещёрские в Астрахань, увидели: оба Петра с макушек до пят в крови басурманской, а на самих — ни царапины.

Евлалия рассказов Алёши не слушала, я не позволял: и без того довольно матери переживаний, а сколько их ещё будет!.. Скрыли мы от неё и смерть Петра Шабурнова от шальной стрелы, пущенной в сторону крепости Астраханской из отступающего турецкого войска.

— Видя наше горе, воевода Петр Семёнович повелел скорым скоком доставить погибшего атамана на Дон, похоронить там, где хотел он сторожевую заставу теять вместе с ближними своими воями, и это атаманово хотение в дело поскорей облечь дозорное. «Скачите и вы, — обратился Серебряный к остальным белотарасинцам, — окучивайте геройством землю донскую, ставьте оборону, ибо тишине на Руси не бывать никогда».

Стало быть, сын всё-таки на заставу уедет, и скоро... Я и огорчился, и смирял себя думами о воинской чести, обрётённой Алёшей в страшных испытаниях. Между тем пора расставания неизбежно приближалась, и каково же было наше с матушкой изумление, когда накануне отъезда сын привёл в дом коняевскую казачку-наездницу Нюру Авилкову: благословите, мол, без проволочки на честное супружество! Нечаянная радость всегда дорога: наутро я повенчал молодых, и прямо из церкви они верхами отправились в путь — каждый на своём коне.

Тут только мы узнали, что Семён Скачков, сын атамана коняевского Ивана Скачкова, ускакал днём раньше, и тоже не один, а с женой Марией.

Отец Николай, венчавший их в Никольской церкви, так растолковал оба события:

— Нынче свадьбы скорые не напрасны, новых детей Русь просит-ждёт, дабы не обезлюдело её бытие.

А я смолчал, придерживая тайну об Игнатике, нежданно скончавшемся нашем дитяти блаженном как раз в те дни, когда его отец Пётр Шабурнов гнал от южных границ русской державы страшных османов. И кто знает: не в один ли миг милосердный Господь призвал к себе сына и отца, дабы, разлучённые в земной юдоли, соединились они в мире загробном?

А на Дону вскоре ставлены были стражные заставы Шабурнов, Скачков и Панчашин — не близко и не далеко от Белых Тарасов, а в дозорной доступности. Наезжают оттуда гости желанные, не оставляют стариков...

Да и как может быть иначе, когда в каждом стражном курене казачьем и сабли в чести, и хозяйин с хозяйкой в почести! Любо казакам доглядывать свою земельку и детушек поднимать на высоты дозорные курганные, откуда видна не одна лишь воляница донская — вся Русь очами верных обозреваема».

Далее Тарасий описывал картины великого разорения Руси крымскими ратями Девлет-Гирея и своими же кромешниками, как называл народ царских опричников: злокозненники эти карали грады и веси по велению жёсткого самодержца Иоанна Грозного не менее усердно, чем поганые.

До Белых Тарасов доходили страшные вести о гибели Клина, Торжка, Твери, Вышнего Волочка, Великого Новгорода с их земельками: благодатные нивы были сожжены, люди и скот, вплоть до собак и кошек, вырезаны, а не успевшие сбежать куда глаза глядят поселенцы погибали беспризорно от голода и болезней.

«Земля лежала впусе, — писал Тарасий, — по сторевшим дотла градам и сёлам ходили дикие звери, кругом во множестве грудилась мёртвые тела, испускающие чёрные гибельные поветрия. Об этом доносили нам беженцы, искавшие спасения и достигавшие с Божией помощью Белых Тарасов, как когда-то случилось со мной.

Наши старейшины вместе с атаманом благословились у игумена Никона укрыть в урочный час стариков и женщин с детьми в каменном монастыре и дальних пещерах белотарасинской гряды. Взрослые же казаки и молодёжь рыли окружные рвы и подземные ходы-скривища, уходившие далеко в степь.

Но Бог миловал, до нас опричники не доскакали, всю свою хвать истратили на Московию и Новгородчину, а потом и вовсе прекратились их бесчинства, когда в лето 1571-е Девлет-Гирей разгромил и пожёг многие уезды и саму Москву, ещё и бахвалился, что через год пройдёт с огнём по всей Русской земле — из конца в конец. Не напрасно бахвалился, ибо сильно поредели отеческие рати, не стало и опричных отрядов.

Через год Девлет-Гирей действительно вошёл в русские пределы с великими похвалами и многими силами и расписал всю землю между своими мурзами, кому что дати. Орды татар находились в одном дне пути до Москвы, гибель Руси казалась неизбежной.

Но Бог не допустил невозможного: воеводы Михаил Воротынский да Андрей Хованиский, да Димитрий Хворостин со своими ратниками решили драться насмерть и так и дрались в сражении у деревни Молоди, истребив великое множество татар. Уцелевшие же басурманы бежали в диком страхе перед русским мужеством и упорством.

А ежели достигли бы какие поганые белотарасинских пределов, непременно порубили бы их казаки стражных застав, ибо готовы были биться наши детушки с ворогами не только за родительские Белые Тарасы, но и за все донские курени и отрасли. Богу нашему слава! Аминь».

— Вон оно как, — отозвался на Тарасиеву историю Никанор Иванович, — хутора нашенские допрежь заставами были, как, к примеру, Усть-Медведицкая... А потом, значит, не нужны казацки дозоры стали, а? Под ноготь царёв военные казаки попали, а? Хорошо хочь хутора остались... А што я Александру-то гуторил? То и гуторил... Правду про бывальщину, вот што.

Пава не преминула поймать старика на слове:

— А про казаков-некрасовцев что говорил? Изменники, наймиты... А они спасались от этого самого царёва ногтя. А надо было сгинуть, да?

Старик поспешил ретироваться подобру-поздорову: устал, мол. Ушёл за дом, затаился на старом топчане под виноградным навесом. Пава осторожно глянула в кружевную щёлку: заснул, а скоро солнцу садиться, нельзя на закате спать. Но беспокоить деда не стала: когда проснётся — тогда и проснётся, может, что интересное во сне полуденном увидит.

За ужином Никанор Иванович вяловато помалкивал, а когда вышел с внучкой на крыльцо и освежил душу вечерней прохладой, разговорился:

— Вишь, Павка, каковы родичи-то нашенские были геройские, а мы разве знали? Кабы не Тарасий... Ты вот што: собирай всякое былинное да записывай, сгодится если не тебе, так детям твоим.

— Ой, детям! — Пава прыснула, отворотясь в сторону вспыхнувшим лицом.

— Ладно, ладно, чего там... Завтра про дедка учёного мне считаешь, про Григория Матвеича. Хорошо ли переписала его тетрадочку? Бабка ить её добре заховала, не даст...

— Хорошо, деда, хорошо! Но там всё про серьёзное, будет ли понятно?

— Да уж каким-никаким умом дойду, а не дойду, так догадаюсь...

Но догадываться Никанору Ивановичу не довелось, ибо назавтра старый панчашинский дом посетила праздничная гостя — любовь, встречу с которой всё лето угадывала Пава то в знойном порыве вечернего ветра, осыпающегося яблоками, то в золотисто плывущем над усадьбой одиноком облаке, онизанном солнцем, то в неярком, среди разнобуйной травы, звучании цветка, чьё имя известно всем, кроме неё, Павы...

— Я на Гусинку! — Она помахала Ольгуньке рукой и устремились вниз, к речке, на ходу подвязывая волосы розово-цветастым прозрачным платком: «Сейчас такого не купишь, у бабушки не сундук, а музей!...»

За лето девушка перемерила все стародавние Ольгунькины юбки и кофты, лишь свадебного наряда бабушка касаться не велела: мол, с подвенечным платьем чужую судьбу на себя ненароком наденешь, разве можно...

И платками только любоваться разрешала, но один — лёгкий, в розах — сегодня утром отдала насовсем: невладанный, мол, бери.

Пава улыбнулась, вспомнив себя стоящей у зеркала и наворачивающей на голове яркий и словно воздушный тюрбан: прямо из сказки! Ольгунька вздохнула:

— Становитая ты, Павушка... Выйдь только на улицу — скрадут!

— Кто скрадёт, баб? — Не особо вслушиваясь в старушечьи речи, девушка пристально вглядывалась в свою зеркальную тонколикость и летучесть, жалея, что нельзя в городе надевать платок вот так — по-старинному, по-красивому. Впрочем, теперь платки вообще не носят.

— Да кто скрадёт — женихи, — говорила меж тем Ольгунька, — али ни к кому в хуторе не присмотрелась?

Пава обратила на бабушку рассеянный взгляд и вроде нечаянно уловила в Ольгунькином лице затаённое ожидание чего-то совсем ненарошного.

— Баб, ты жениха мне нашла, что ли? А я присила?

— Да нешто я сваха? А только неча тебе дома сидеть, не старуха... — И ушла, недовольно самой себе подваркивая: — И сидит, и читает, и пишет, глаза бы мои не глядели... В бобылки намерилась, не иначе, а матери ейной всё едино, всё книжки читает...

— Да постой, баб, куда ты?

Но старушка не остановилась, и тогда Пава, сорвав с головы сказочный тюрбан, кинулась вслед, придумывая, как загладить свою непонятную вину. И придумала:

— Баб, а что это за слово такое — невла́данный? Про что оно?

Ольгунька всё ещё обидчиво поджимала губы, но глаза уже оттаивали, отзываясь на слова внучки привычной ласковостью:

— А про што все слова? Про жизнь... Сядь-ка, — и сама присела на завалинку рядом с рисованным петухом, стала объяснять:

— Невла́данный бывает вода, её из колодца надо рано брать, когда ишо никто ведрá не забросил. Она от болезней лечит, тогда дни твои будут невла́данными. То же и про платок: его никто ишо не надевал, стало быть, он ненаде́ванный, невла́данный, никто им до тебя не владал, вот так...

Девушка задумчиво разглаживала на легкой ткани розы, прозрачность которых за целый век ни разу не коснулась ничьей женской косы. Выходит, платок дождался её, Паву? Под присмотром бабушки, в её причудливом сундуке, среди нарядного былого...

Она прижалась к Ольгунькиному плечу, ощутив на щеках внезапную нежность слёз.

— Бабушка, я так тебя люблю! Мне даже хочется плакать...

Ольгунька растроганно откликнулась:

— Гнезда́ ищет птица, а мужа — девица, вот отчего слёзы твои, Павушка, нешто напрасно я про женихов тебе толковала?

...Гусинка уже покрылась тонкоцветной шмарой, только у мостка, где бабушка и внучка полоскали «для мягкоты» постельное бельё, неровно темнел круг чистой воды, и Пава зачерпнула из него речной свежести, оплеснула лицо. Подумала и опустила в воду платок, зная, что он будет долго пахнуть рекой, даже после того, как высохнет на солнце.

Возвращаться в избу не хотелось, и Пава пошла вдоль Гусинки, со вниманием, словно впервые, оглядывая речку, полого спускающиеся к ней усады, красные талы на изветренных бережках. За ними лежали луга, а дальше, оправленная крупной дугой горизонта, царевала степь. «Дойду вон до того холма, от него до Дона совсем близко, полюбуюсь навпоследок...»

Она с удовольствием повторила вслух:

— Навпоследок, — радуясь, что увезёт из Панчашина много новых для себя слов, которые жили на донской земле неизвестно сколько времени до неё, Павы, а сколько ещё будут жить! А кстати, сколько?..

И удивилась: никогда ведь раньше ни о чём подобном не думала. Наверное, сказывается чтение зелёной тетради Григория Матвеевича Панчашина, да и вообще... Столько узнала за лето нового. Взросло!

Пава шла по степи, как-то незаметно для себя миновав холм с большим серым камнем на вершине. Никто не знает, когда появился здесь этот камень с мшистым северным боком, но, видимо, давно: не напрасно во множестве развеиваются вокруг него и по сторонам белесые тропинки времени.

Взора едва доставало для охвата полынового раздолья, по которому неслись невесть в какую даль кучерявые шары перекати-поля, созревшие для кочевья ещё в середине лета. Кустисто высились там и тут татарниковы семейства с вылинявшими до пуха цветами. Павилика — и та усохла от сол-

нечного жара до паутиновой невесомости — и поделом, нечего оплетать живые травы.

Солнце начинало припекать, и Пава снова накинула на голову платок, наугад соорудила подобие утреннего сказочного тюрбана. И сразу ощутила в теле лёгкость и высоту — хоть лети! Скоро и в самом деле полетит, только не по небу, а по асфальту, вместе с автобусом... До отъезда в Нижне-реченск оставалось три дня, а песня дороги, лёгкая и высокая, звучала вокруг и в душе уже не первый день, с того, наверное, времени, когда Панчашины проводили в Белотарасинск инока Александра. Девушке и хотелось ехать домой, и не хотелось... Порой её охватывало странное ощущение чего-то неслучившегося, того, что должно было произойти, но не произошло, и несбывшееся казалось по-настоящему дорогим и потому горьким.

Она знала, что будет печалиться и по хутору, и по Гусинке, и по степи, и даже по замшелому камню, а уж по Дону и подавно. Его волнистые токи разливисто стремились вдаль и так же вольно удерживались зелёно-белыми русловыми берегами, а совсем рядом, на краю обрывистого утёса, стоял человек в клетчатой красно-синей рубаше и тоже смотрел на Дон.

Пава помедлила и повернула было назад, но человек оглянулся, увидел её и весело-удивлённо произнёс:

— А вот и кралечка донская явилась! Вас-то нам и не хватало, девушка, мы с Коняем Иванычем совсем одичали без любви и ласки, он даже заснул, вон, видите?

Тут только Пава заметила рядом с раkitником большой чёрный мотоцикл, ничем, впрочем, не напоминающий спящего конька. Незнакомец проследил за её взглядом, засмеялся и стал похож на институтского одноклассника Саньку Тарабрина, задиру и приставалу.

— Что, страшно? — поинтересовался, подходя ближе. — А зачем одна гуляешь?

— Хочу и гуляю, — по-заведённому отозвалась Пава, глядя на усеянное конопушками лицо, на пшеничные волосы, которые топорщились вокруг головы парня несуразными солнечными колючками. А вот глаза... Хороши были глаза, потому что светились самым ранним, самым зелёным яблоневым цветом из дедова сада!

Она влюбилась в тот миг, когда рука парня коснулась её ладони, а слуха достигли простые слова:

— Меня зовут Фёдором.

Она назвалась взрослым именем:

— Я — Павла.

Они всматривались друг в друга, потаённо радуясь нечаянному свиданию.

— Откуда ты, Павла? Где живешь?

— Откуда ты, Фёдор? Где живешь?

Откуда они, где они, куда идут?

— Я всё тебе расскажу, Павла.

— Я всё тебе расскажу, Фёдор.

Что ждёт их, какими степями расстелется даль, в каких лесах укроет нежность?

— Будь со мной, Фёдор...

— Будь со мной, Павла...

Весь мир внимал разговору влюблённых душ, сами же Фёдор и Павла, погружённые в таинство встречи в обители реки, ветра и пыли, знать об этом не знали.

В какое-то мгновение Павла увидела над собой прозрачно сквозившие шары: один, другой, третий. На их поверхности трепетали и искристо рас-

падались маленькие радужки, а рядом возникали и стремились в разные стороны новые искрящиеся круглости.

Поражённая чудом, она не сразу услышала возглас Фёдора:

— Не шевелись, голову чуток наклони... Смотри на меня, замри!

Он стоял над речным обрывом, закрывая собой солнце, и пускал мыльные пузыри — словно в дудочку дудел камышовую.

— Пока ты спала («Я спала?» — не поверила Павла, снова ощутившая себя Павой), я придумал тему... Да шучу я, шучу про сон твой... Так вот, давно хотел написать вечность, не знал только — как.

Фёдор поднял с земли маленькую кубышку, опустил в неё камышинку.

— Теперь ты попробуй, только не наглотайся мыла!

— Не надо, — запротестовала Пава, — я не умею...

— Умеешь, но не знаешь об этом. А ты захоти узнать, войди в пустоту, она научит!

Девушка испугалась: «Сумасшедший?..»

Фёдор усмехнулся:

— Не бойсь, я сначала сам забоялся, когда понял про пустоту. Ну как объяснить... Это вовсе не пустая пустота, а первозданная, это энергия, без неё жизнь невозможна... Она вокруг и внутри всего, надо только научиться видеть её... Это же мироздание, вселенная, космос, поняла? Вечность...

— А ты кто?

— Я художник, — и повинно склонил голову, принимай, мол, таким, как ков есть.

«Вот как, художник... Сказал, что хочет написать вечность... Возможно ли это?..»

Вслух спросила:

— А к чему мыльные пузыри? Ты хочешь их нарисовать? И при чём тут я? — Но тайне знала, при чём.

Фёдор улыбнулся:

— Сколько вопросов! Просто слушай. Я узнал, что внешним зрением вечность увидеть нельзя, можно лишь уловить её мгноvenность и мимолётность... Через живую красоту. Например, через тебя в твоём навороченном платочке. Только представь: ты сидишь над Доном, кругом полынь и прозрачные сферы, вылетающие из пустоты. Момент рождения сущего, и ты его наблюдаешь! Ну что, согласна? Я работаю быстро...

У Павы закружилась голова, изо всех сил девушка ухватилась за полынные стебли, словно боялась упасть с неведомой высоты.

Фёдор недоверчиво поинтересовался:

— Тебе плохо?

Да, ей было плохо, как никогда: воздух расслаивался, а степь, наоборот, сгущалась в сизо-зелёное марево, прикидала к глазам, закрывала небо... Очнулась Пава, когда Фёдор сгрёб её в охапку и понёс к реке. Она воспротивилась и замком повисла на парне, но ему, похоже, это нравилось: зелёные яблоневые глаза смеялись и смело вбирали в себя Павину цепкость, и вскоре нечаянные знакомцы лежали рядышком на воде и смотрели в небо, а река влекла их дальше и дальше от ракитника со спящим Коняем Иванычем и оставленной на песке кубышки.

Возвращались берегом, по-детски держась за руки. Фёдор, искоса поглядывая на Паву, сказал:

— Эх тебя припекло... Солнечный удар, не иначе, и платок не помог.

— А где он? — Пава схватилась за волосы и беспомощно оглянулась вокруг.



— Да там он, в полыни лежит, — успокоил её парень, — ты лучше туда погляди, — и кивком головы указал на далёкий, в солнечном напуске, горизонт, за который медлительно катилась волнистая лава Дона.

— Красота!

Больше слов не находилось, да они и не были нужны. Много позже Пава и Фёдор вспоминали, как царили в жаркий августовский день над миром их души, как созидали то, что от сотворения земли совершали солнце, ветер, волны, травы, то есть наполняли собой бытие и обладали им, владычествуя над смертью.

— Ты хочешь есть? — спросил суженый суженую, когда они истомленно поднялись со своего брачного ложа в тени ракитника, — я на Коняе Иванныче мигом смотаюсь в Шабурнов, оглянуться не успеешь.

— Почему в Шабурнов? Ты из Шабурнова?

Фёдор улыбнулся:

— Да нет, я чужеземец, или не похож? В Шабурнове у бабульки Настунки сумку бросил и мольберт, сам на разведку поехал.

— На разведку?

— Ну да, место подыскивал для своих малеваний. Хотя на Дону красоты от красоты не ищут... До этого в Скачке ночевал, в Попове. В общем, всё лето скитаюсь где придётся. А что, пора золотая, свободная, и я такой же, веришь? И ты, вижу, душа золотая...

Пава засмеялась.

— Да уж!.. Отчего же в Панчашин не заезжал? Мы бы уже давно встретились.

Фёдор обнял девушку, посулил:

— Сегодня же и заеду, но сначала — в Шабурнов, за вещичками.

«А как же я? Мне что, возвращаться одной, ждать? А если он не приедет?»

Фёдор угадал Павино смятение, прошептал:

— А ты — со мной, теперь ты всегда со мной будешь.

Судьба их была решена.

В полночь Фёдор притормозил своего Коняя Иванныча у панчашинского дома, Пава стеснённо глянула из мотоциклетной коляски в сторону калитки: баба с дедом смутно белели лицами на тёмном фоне спящего двора, ждали. Что-то будет? Девушка тихонько ступила на землю, робея и в то же время понимая: это не робость, а таимая ото всех радость, не покидавшая её и Фёдора весь их первый счастливый день. Пава плавно потянулась к любимому.

— Идём, Федя, не видишь разве, нас встречают... — И добавила: — Не бойся, бабушка с дедушкой добрые.

А те уже шли от калитки в сторону освещённого керосиновой лампой крыльца, вроде совсем не удивляясь тому, что внучка заявила домой с незнакомым парнем посередь ночи.

Хозяин дома поначалу повёл разговор мирный.

— Ну, коли гость в доме, стели, мать, белую скатерть, по всему, у нас ноне праздник.

Никанор Иванович зажёл в зале верхний свет, выдвинул из-за стола стулья, пригласил:

— Рассаживайтесь, в ногах, гуторят, правды нет. Ты, как я понял, Фёдор? Из каких же краёв? И сколько годов тебе, парень?

— Из хутора я Агудалова, отсюда вёрст тридцать будет, — Фёдор нерешительно кашлянул, — но живу в Нижнереченске, учился там, ну и остался... А годов мне двадцать семь.

— А чего же домой не вернулся, гребуешь хуторскими опосля города, а?

Пава, до того дрожко помалкивающая, взволновалась всерьёз.

— Деда, ну ты опять! Федя художник, ему окружение необходимо профессиональное, в хуторе разве оно есть?

— Художник, вон оно што... А чем же ты, художник, Павку кормить-то собираешься? А ежели дитё народится, на какие шиши учить уму-разуму его будешь?

— Ну, если вы так ставите вопрос, — встряхнул Фёдор своими пшеничными вихрами, — то я отвечу незамедлительно.

— Так, так ставлю! Держи ответ, а то не отдадим Павку, нипочём не отдадим!

И тут от дверей раздался спокойно-ласковый голос Ольги Тимофеевны:

— И-и, опоздал ты, стрепешок недоделливый! Или не дотюмкал ишо, что Павушка к нам мужа своего привела, а не женишка проходного?

Никанор Иванович немо уставился на супругу, а она тем временем окутала белым облаком скатерти стол, поклонилась Фёдору.

— Помогай тебе Бог, Федя, в трудах твоих. Дай-ка я тебя обниму, да и тебя, Пава, поцелую, живите по-людски, но на Бога оглядывайтесь, тем и счастливы будете, — и всплакнула, как и полагается в добрых семействах.

Дед слабо возразил:

— Да как же... Без сватов, без сговору...

Бабушка отмахнулась:

— Бог молодых сговорил, слышь, старчик недоумённый? Али забыл, как мы с тобой сошлись? Никому не открылись, только Богу одному. И што? Без свадьбы не остались и век прожили без тужили...

Дед резво от бабушки откачнулся, и Пава знала, почему: не хотел уличать супружницу в неправде, ибо как раз тужили на их долю хватило с лихвой, да только ли на их...

— Опять же, как без дозволения родительского? — Никанор Иванович продолжал, однако, гнуть своё, на что Ольга Тимофеевна отозвалась живо и с явным подтекстом:

— Сынок мой только рад будет, гуторил мне: боюсь, мол, что дочка моя учёнистая в девках-перестарках изомлеет, а я, мол, внуков хочу. А мать её, Тамарка-читалка пригорюненная, неуж не порадует Павке, от себя самой да от книжек своих не оторвётся? Нехай отгорюнятся, хоть наискрайки свету белому порадуется.

На том старики и помирились, но ещё долго и не напрасно сидели рядом у невестиного белого стола, то охая да ахая из-за намерения молодых ехать в Нижнереченск на мотоцикле, то не соглашаясь отпустить их в дорогу с пустыми руками: приданое давно готово, пусть забирают, денежки-то мягонькие да гладенькие, много места, поди, не займут. А вино долгое, а споживанье садово-огородное? В городе энтового много не накупишь. Знаем цены! Последнее слово осталось за дедом: приеду, мол, сам, привезу чего надо, погуляю на свадьбе законно. Ольгунька посмеивалась: на ходу дед от старости рассыпается, а туда же! Но при этом поглядывала на супруга так ласково и тонко, будто шёлком дорогим обмахивала...

Нижнереченск встретил Паву и Фёдора проливным дождём. «Богородица привечает», — подумала бабушкина внучка Ольгунькиными словами, вспомнив, что Богородицу называют Госпожой вод вселенских и земных, Поительницей жаждущих утешения. Вместе с дождём душу переполняла радость счастливого обретения: «Наконец-то я дома, и Феденька со мной...»

— Ты понравишься моим, всякий дождик — к счастью, — уверяла девушка сердешного дружка, пока мотоцикл с жутким треском летел сначала по берегу Волги, а потом по улицам и улочкам города в сторону степной окра-

ины, где в широкостенном бревенчатом доме выросла Пава. А родилась она в Панчашине.

— Баба Ольгунька рассказывала, что роды чуть ли не всем хутором принимали, встречали меня, как диво какое-то, ведь родители меня не в капусте нашли, а среди бомб и снарядов, на войне, значит, я тоже воевала, — смеялась Пава, рассказывая Фёдору смальства казавшуюся ей чудесной историю своего появления в панчашинской фамилии.

— Ты забыла добавить, что родилась в рубашке, — Тамара Николаевна внимательно разглядывала сидевшего за вечерним столом рядом с дочерью простоватого парня, совсем не похожего ни на кого из городских Павиных ухажёров.

— А это значит, что я счастливая! — Пава ликующе засмеялась.

Фёдор в этом не сомневался с той минуты, когда впервые увидел на берегу Дона юную синеглазую красавицу с розовым тюрбаном на голове: «Счастливая, потому что моя».

Михаил Никанорович привнёс в разговор о дочкином счастье давнюю семейную историю:

— Помнишь, мать, как Пава наша умирала?

Тамара Николаевна еле заметно кивнула. И Михаил Никанорович продолжил, обращаясь, главным образом, к Фёдору:

— Тамара Николаевна была беременна, когда перед самой Победой получила контузию. В тяжёлом состоянии жену направили в московский госпиталь, я сопровождал. Врачи сразу предложили избавиться от плода, но я не дал, не слушал никаких не обнадеживающих медицинских прогнозов на благополучный исход лечения. Не верил, что для спасения матери надо умертвить дитя. Да и срок был маленький, неужто не удержится младенец в материнской утробе? Ведь детей Господь посылает, и если зачали мы своего ребёночка на войне, то разве для того, чтобы погубить его в мирное время? Но, слава Богу, спасли врачи и мать, и будущего младенца, и мы поспешили уехать из Москвы, чтобы Павушка родилась в Панчашине, в родном тепле. Она поначалу была слабенькой, и все — и мы с Тамарочкой, и маманя с батей, и сестрёнки мои — тряслись от страха за неё днём и ночью, всякие обстоятельства житейские осиливать старались, но однажды болезнь наши старания пересилила: восьмимесячная Павушка заболела дизентерией, тогда по стране много детей от этой болезни умирало... Страшна эта хворь стремительным и почти полным обезвоживанием. Из Павушки лилось рекой... Никаких пелёнок не хватало. А главное — дочка ни пить, ни есть уже не могла, лежала ни жива ни мертва. И тогда мой батя принял решение ставить ей тёплые водные клизмы, теляток лечил эдак не раз, и — о чудо! — на следующий день девочка наша открыла глаза и зачмокала губами, как всегда делала, когда бывала голодна. Но кормить следовало с великой осторожностью, чтобы не случился заворот кишок. Что делать? И тут Тамара Николаевна вспомнила, как когда-то её саму выхаживала после коклюша мать: нажёвывала хлеб и этой жидкой кашницей потчевала, прижимаясь ртом ко рту дочери: сама глотать малая уже не могла. Вот на такой тюре простонародной и выжила наша малышка, не зря ведь в рубашке родилась!

Пава в продолжение рассказа отца сидела пунцовая, стыдась взглянуть на Фёдора, а когда всё же отважилась, поразилась нежности, сквозившей в яблоневого глазах.

— Ну чего ты, — не стесняйся родителей, Фёдор обнял девушку, — долго ведь жить будешь! — И со значением добавил: — Со мной.

Михаил Никанорович после таких слов не преминул заметить:

— Сначала пусть диплом институтский получит, верно, мать?

Тамара Николаевна помедлила, наблюдая, как лёгкая тень огорчения затуманивает ясное лицо дочери, и сказала:

— Не в дипломе счастье, конечно, но профессия нужна. Отец прав, не надо спешить со свадьбой, как считаете, Фёдор?

Тот, наконец, решился произнести то, что Михаил Никанорович и Тамара Николаевна в своей родительской прозорливости давно готовы были услышать:

— Мы с Павой муж и жена целых пять дней! Так что не отказывайте...

Пава тут же поправила:

— Пять с половиной, Феденька, — с тревогой и надеждой глядя на родителей.

Те только руками развели.

Вечером, уединившись с матерью на веранде, Пава рассказала обо всём, что с ней случилось за лето: и про поездку в Белотарасинск, и про встречу с монахом Александром, и про свою прогулку по донской степи, во время которой она нашла суженого.

Тамара Николаевна, вовсе не «пригорюненная», наоборот, радостно-оживлённая, с молодым интересом слушала повествование дочери, удивляясь, как много волнующих событий произошло в обычной спокойной жизни Павы.

— Мам, а я ведь привезла то, чему ты очень удивишься!

И, сбегав за своей сумкой, разложила перед матерью бумаги Тарасия и Григория Матвеевича, а поверху водрузила камень с загадочными рисунками.

Мать в удивлении прикоснулась к нему, взяла в руки.

— Что это?

Поднесла близко к глазам, внимательно вгляделась:

— Откуда он у тебя? Это же древнее письмо, я похожий камень видела в журнале «Знание — сила», вернее, изображение Фестского диска.

— Расскажешь?

— Лучше сама считаешь, пересказывать сложно, это же научные материалы... Завтра в библиотеке покопаешься в журнальных подшивках, сравнишь свой камень с Фестским, очень уж тексты схожи... И всё-таки откуда он у тебя?

— Во-первых, не у меня одной, а у всех Панчашиных, и таких камней у нас целых три! Правда, два камешка в монастыре остались Белотарасинском, но это ведь недалеко, в пределах доступности, к тому же тексты на всех трёх камнях одинаковые. Во-вторых, и про камни, и про разное другое написано в этих документах, — и Пава провела ладонью по разложенным бумагам. — Смотри: вот несколько подлинных листов из сочинения на древнерусском языке нашего предка Тарасия Панчашина, священника, а вот полный текст, только уже переписанный по-русски монахом Александром, другим нашим родичем, я тебе о нём рассказывала. А это тетрадь с воспоминаниями ещё одного Панчашина — Григория Матвеевича, лингвиста. Его записки у бабы Ольгуньки остались, их потом отец Александр заберёт, здесь только копия, я переписала для нас. Ты обязательно почитай, всего-то одна тетрабочка!

Тамара Николаевна задумчиво перевернула несколько страниц.

— Надо же, в родне лингвист оказался! А я всегда языком интересовалась, много в нём тайн... В том же диске Фестском, до сих пор ведь не расшифрован.

— Мам, в записках Григория Матвеевича не только о языке говорится, там ещё и всякие истории про учёных есть, и про Сталина, и про дискуссию в «Правде» о советском языкознании...

— Вот так? — Тамара Николаевна по-новому, серьёзно взглянула на тетрадь. — Что ж, это действительно важно. Да вот только когда читать, ведь

свадьбу готовить надо, дело нешуточное, а ремонт? Отец отдаёт вам угловую комнату, её надо приводить в порядок, делать отдельный вход с улицы.

— Мам, но ведь это временно! Феде дадут квартиру, обязательно дадут, он завтра заявление напишет в Союз художников. И потом, — Пава даже засмеялась, — что на свете может помешать твоему любимому чтению?..

...«Скоро Панчашин», — подумала Павла, прильнув к автобусному окошку и выглядывая знакомый с детства выгнутый плавной дугой мост, прозванный за это Горбатым. За ним непременно должна появиться хуторская водоканалка, но не сразу, а километров через пять. И она действительно появилась, издали походя на оранжевый кукурузный початок, а когда-то была тёмно-грязного кирпичного цвета.

«А это что-то новенькое», — с любопытством отметила Павла, когда автобус неожиданно остановился у круглой бревенчатой избы с огромной вывеской «Трактир». Рядом мостились длинные столы, где под верным приглядом раздатчицы восседали дорожные бражники.

— Мам, пойдём купим минералку?

— Я сама схожу, Паша, нечего тебе на всякую пьянь пялиться, — и Павла, не теряя времени, двинулась к буфетной стойке, наскоро, не глядя по весёлым сторонам, расплатилась за воду и повернула назад.

Внезапно что-то пухово коснулось плеча, шеи... Павла оглянулась и, не увидев никого рядом, повела рукой, стряхивая бабочку, что ли. Но и бабочка не обнаружилась, не завилась над головой, а ощущение некоего прикосновения не проходило. Значит, на неё смотрят, даже разглядывают, и разглядывание это не нечаянно, а — сердце обдало тревожной волной — почему-то опасно.

Павла придержала шаг, потом и вовсе остановилась, повернула назад, к забегаловке под навесной парусиной, лениво колышущейся в тягучем знойном воздухе оборчатými полосатыми крылышками. Так и есть, вот он, слева от прохода сидит, не успев глаза в стакан упрятать, Павла словно ухватила уворотливый взгляд за самый кончик: не вырвешься, голубчик, кто бы ты ни был...

Села напротив, ждала. Человек медлительно откинул голову. Вперил в Павлу непроглядные и одновременно зелёные глаза. И она почувствовала знакомый верток головокружения... Когда-то вслед за ним душа заходила в любовном пылу или гнев...

— Федя?..

Губы отказывались произносить имя, но произнесли. Глаза не хотели видеть очевидного, но видели. Ладони не могли двигаться, но как бы сами собой, без участия Павлы, охватили онемевшее горло защитным покровом, отъединили от мёртвого прошлого живым теплом.

— А я тебя сразу узнал. Не вприглядку... Куда путь держишь, золотая душа? — Фёдор мутно, но не зло улыбнулся.

— А ты, что ты здесь делаешь, почему ты здесь? — Пава, наконец, обрела дар речи. — Разве ты не умер?

— Опять за своё: что да почему... Какой была... — И Фёдор, не договорив начатой фразы, бросил в сторону Павы по-прежнему сильную и красивую пятерню.

«Надо встать, надо бежать, скорей в автобус, там Паша...» Если бы мысли имели ноги, они немедленно унесли бы Паву прочь от немытого стола, за которым она деревяннo восседала напротив усмехающегося Фёдора и повторяла, как заведённая:

— Разве ты не умер...

— Да не умер я! Сгинул на время! — крикнул бывший супруг, не потревожив, впрочем, никого своим криком, и тут же, перейдя на шёпот, спросил с невесёлой издёвкой: — Разве ты не рада меня видеть?

— Что же ты наделал!.. Родители твои приезжали ко мне, мать изрыдалась... Чужие люди их хоронили, а ты, где был ты?

— Ладно, Павушка, жизнь прошла — не воротишь. Выпьем за встречу и прощание. Не хочешь... Ну тогда я сам, — и единым махом опростал мутный гранёный стакан.

Она не сразу ушла, сидела, вглядываясь в угрюмые черты когда-то открытого всему свету лица. Сказала, жалея Фёдора, — усталого, одинокого, сирого:

— Ольгунька умерла, мы с Павликом едем... А Никанор Иванович ещё пять лет назад ушёл...

Фёдор пожал плечами.

— Все умрём, — но пригорюнился. Хотел ещё что-то сказать — не сказал, снова потянулся за стаканом. Наконец, управившись с питием, признался:

— Знаю про Ольгуньку, сам туда направляюсь.

— Да вот же автобус, чего ж ты сидишь тут, напиваешься?

— Скушно было ждать, вот и... — Фёдор махнул рукой. — Но теперь в автобус не пойду, там Павел, а я наскрозь прокисший. Свидимся ещё. Или боишься? — И так серьёзно спросил, что у Павлы, вроде успокоившейся, снова взныло сердце, и она пошла прочь, не прощаясь, не оглядываясь.

— Мам, кто это был?

Совсем забыла о сыне, а ведь он всё видел: и как она села за грязный стол рядом с лохматым дядькой, и как тот хохотал, а она о чём-то его спрашивала, прижимая ладони к лицу, а потом бежала к автобусу, и бутылка с водой вдруг выпала из её рук, и сын бросился навстречу, потому что испугался, что мать споткнётся и упадёт...

Автобус уже приближался к оранжевой водокачке, а Павла всё молчала, не решаясь ответить на вопрос. Наконец, взглянула на Павлика, и он тотчас же по-взрослому приобнял её.

— Мам, я всё понял, не бойся... Это ведь отец был, правда?

Павла, прижавшись к сыну, облегчённо вздохнула и, потихоньку утешаясь, пересказала свой разговор с Фёдором. Павлик слушал сосредоточенно-спокойно, потом спросил:

— А где он живёт?

— В Агудалове... А до этого скитался где придётся. Да вы скоро увидите, только... — И запнулась, не решаясь продолжить фразу.

— Что «только», мам?

— Да я и сама не знаю... Боюсь чего-то... Вдруг сманит тебя?

И услышала в ответ не однажды сыном сказанное:

— Лучше бы ты от него не уходила, мам...

В эти дни своё семидесятилетие отмечает известный волгоградский поэт и общественный деятель Владимир ОВЧИНЦЕВ. Коренной сталинградец, он начинал путь на заводе «Баррикады». Его первые стихотворные опыты связаны с участием в литературном объединении при ДК им. Гагарина. В недавнем прошлом Владимир Овчинцев — депутат Волгоградской областной думы нескольких созывов. Более двух десятилетий возглавлял местную писательскую организацию. Заслуженный работник культуры России, лауреат Государственной премии Волгоградской области, обладатель других наград. Отец троих сыновей. Автор около двадцати книг, один из создателей журнала «Отчий край», член его редколлегии и постоянный автор. Поздравляем Владимира Петровича с юбилеем, желаем здравствовать, творить, любить.

Любовь ЧЕРНЯВСКАЯ



ПОЭЗИЯ

Владимир ОВЧИНЦЕВ

«Мне только бы с душой своею разобратся»

Молитва о Родине

Я голос сердца подаю
По человеческому праву:
Верните Родину мою,
Русоголовую державу!

Пусть аналитики твердят:
Всё в прошлом, не расклинить ворот!
А мне то снится Ашхабад,
То Севастополь — русский город.

И маюсь я без Душанбе,
Без чаек Риги в бликах ранних.
Не знаю, как без них тебе,
А я — как сиротливый странник.

Раздрая горькие пиры
На землю сходят, как лавины,
А там глаза моей сестры
И песни ридной Украины.

Я в путь безмолвный соберусь,
Не находя в Отчизне места,
Встречай Полесьем, Беларусь,
От Могилёва и до Бреста!

Я ваш, Тбилиси и Баку,
И Ереван волной Севана.

Вовек поверить не смогу,
Что вы отринули Ивана.

Он не отрёкся от родства,
Оно в крови его струится...
Мудрей, боярыня-Москва,
Себя почувствуй вновь столицей!

Новопрестольным королям
Аль не круты золотые троны?
Признай за равных москалям
Твоих сограждан миллионы.

Нам влагу огненную пить
Судил Господь из общей чары,
Ещё суровой стала нить
Судьбы, прошедшей сквозь пожары.

В свой срок зависнув на краю,
И прохриплю, и прошепчу я:
Верните Родину мою!
Она — жива! Я это чую...

Стране

В каком залетном сне,
В какой бессонной ночи
Я тропку отыщу в запутанной судьбе,
Где майская пурга
Заносит дом мой отчий
И мамыны глаза зовут меня к себе?

За тридевять земель,
В каких краях, не знаю,
Кружу вслепую я, как лодка без руля.
Не знаю, что найду и что я потеряю,
И где она — моя родимая земля?

Дозволь в счастливом сне
Мне вдоволь нарыдаться,
Чужого — не приму, свое — возьму сполна.
Мне только бы с душой своею разобраться,
Мне только бы понять — а в чем моя вина?

* * *

Встанем, браток, поглядим на восток,
Выцедим горький узор.
Хочешь, по тонкому лезвию строк
Выйдем на русский простор?

Экая ширь! Беспробудная грусть.
Замкнутый ход ветряка...
Женщина с ликом, похожим на Русь,
Крестит вдогонку века.

Праведный Боже, своим ходакам,
Выглась, поднявши с колен,
Чьими руками нас бьют по щекам
Ветры шальных перемен.

*Памяти
Ивана Шабункина*

Край нещадной юдоли —
Ты, как правда, велик!..
Шёл по русскому полю
Стоумовый мужик —

Плоть казачьего Дона,
Чья душа — не бурьян,
Сын Петра, внук Семёна,
Простородный Иван.

Налетали с обдонья
Ветры, хищно кружа,
Как излом на ладони —
Под ногами межа.

Эх, родная земелька,
Горевой крутосол!..
Не с того ли Емелька
Посягнул на престол?

Токмо кровь не водица,
Полно камни бросать!
Для Ивана земляца —
Что кормящая мать.

Двинул гривую львиной,
Чуб на солнце паля..
Вот и встретила сына
По-крестьянски земля!

Не лихим атаманом
Отводил недород —
Словно рожь, за Иваном
Поднимался народ.

Не по площади главной
Шёл, мечтой увлечён,
Был он равный средь равных,
Власть совсем ни при чём.

Годы — буйные воды! —
Не прочесть, не постичь.
Вот они — его всходы,
Мудрой шутки опричь.

Правда Волги сермяжной,
Вольность Дона-Хопра —

Колос тянется бражный
И стихают ветра.

Пахнут хлебом ладони,
Вольной свежестью рек...
Он ушёл, не трезвоня,
И остался на век.

Сколько утренней нови!
К чёрту льстивый елей!
Ах, Петрович, Петрович,
Нам бы хватки твоей!

Мы б поставили дыбом
Этих дней непокой,
Кабы знать, что и глыбам
Век отмерен людской.

Где ты, близкий и дальний,
Обживаешь зенит?
Может, в бронзе и камне
Колос твой прозвенит?

* * *

Тяжелеет роса, при заре вызревая,
Ищет месяц в реке схоронившийся брод.
Вот опять надо мной одинокая стая
Клином рвет от земли ледяной небосвод.

Снова мне журавлем откликается осень
И рука тяжела, что кручина-тоска.
Журавли, журавли, в вашем многоголосье
Так не просто расслышать с земли вожака.

В смуте горьких надежд и нелепых оваций
Народившийся ветер могуч и жесток.
До свиданья, вожак. Мне бы следом подняться.
Да земные дела не пускают, дружок.

* * *

Мороз. Шаги в ночи певучи.
Земля в березовом цвету.
И ночь снежинкою колючей
Звонит о чем-то на лету.

Сутулый месяц над скворешней
С мороза дышит в кулаки.
И я плутаю, как нездешний,
Через сугробы напрямки.

Мне все вдруг стало незнакомым —
И этот двор, и этот свет.
Как будто бы я не был дома
По крайней мере десять лет.

«МНЕ ТОЛЬКО БЫ С ДУШОЙ СВОЕЮ РАЗОБРАТЬСЯ»

А город, вьюгой убеленный,
Заря легко ведет из сна.
И кружат, кружат в парке клены,
Как лебеди у колдуна.

И, как давно, опять сторожко
Я то крыло и свет найду,
И трижды свистну под окошком,
И до рассвета подожду.

Русский вальс

На заезженной пластинке
Вальс из прошлой тишины:
Привалило счастье Нинке —
Муж Иван пришёл с войны!

Дождалась! Живой! Со славой...
Вон как орден воссиял!
Правда, ноги под Варшавой
Ванька разом потерял.

Пролетели мимо пули,
Всё истыкав, всё изрыв,
А фугас подкараулил —
Свой. Но, слава богу, жив!

Руки ить не закорюки —
Проживём! Не зря ить зряч!..
...Прёт в стакан подлей гадюки
Неразбавленный первач.

Нинка слёз уже не прячет,
Их, сердешных, не унять...
Жив! Чего дурёха плачет —
Даже мамке не понять.

Вон соседке Нюрке знаться
С этим змием не впервой,
У неё мужик остался
Спать под Прагой золотой.

Под чужим крылом заката,
Не под звонницу Кремля,
Убаюкала солдата
Чужедальняя земля.

Пухом пала к изголовью
Облетевшая листва —
Пригубляет чашу вдовью
Нюрка в полных двадцать два.

Вальс рыдает неторопко,
Незатейлив и упрям,

По крутым маньчжурским сопкам
И по нашенским полям.

И по Нюрке, и по Нинке,
И по тем, кому должны...
Кто дожил до серединки,
Кто ушёл в конце войны,

Кто дополз, как мог добрался,
Кто скрипя доковылял.
Кто не смог, навек остался
Под позёмкой ковыля...

Шмякнет об пол самокрутку
Ванька, душу распая,
Крикнет зло, а может, в шутку,
Мол, станцуем, бабы, бля?

Ну, а что?! Стоим, как чурки!
Аль не всласть победный час?
Подхватила Нинка Нюрку
Под старинный русский вальс!

Ах, кружи, кружи до стона,
До покуда и пока,
Как когда-то у перрона
До прощального гудка.

Пусть плывёт в глазах беспечно
Вешний сад и лунный плёс,
Робость платьев подвенечных —
Целомудренней берёз.

Путь в реке восходит млечный,
По которой плыть и плыть —
Далёко, надёжно, вечно,
А другому и не быть!..

Пусть с мелодией вернётся
День, не знающий войны,
Пусть хотя б на миг проснётся
Мир забытой тишины.

Скрипнет дверь с подковкой ржавой, —
Глянь — четыре колоска!
Эти — Нюркины, что справа.
Эти — Нинкины, в Ванька!

Босоноги, конопаты,
Шмыгнуть носом мастаки.
Это вам не фунт с лопаты!
Подрастают мужики!

Что им феи? Что им замки?
Детский взгляд приворожён

«МНЕ ТОЛЬКО БЫ С ДУШОЙ СВОЕЮ РАЗОБРАТЬСЯ»

К чуду, где танцуют мамки
Под трофейный патефон!

Им ещё дождаться надо
Век свой новый, день и час,
Чтоб понять, какая дата
Матерей пустила в пляс.

Полевой мешок заплечный,
Путь к далёким берегам...
Будет вальс им сниться вечно,
Закруживший юных мам.

А пока, беспечно-светел,
Смотрит юный шулыган
И не знает, что на свете
Ждёт дорога на Афган...



Удивительно, но до сих пор некоторые личности, сыгравшие огромную роль в переломных военных событиях на Волге, остаются недооцененными, а то и вовсе забытыми. Вот, к примеру, военный комендант Сталинграда Владимир Харитонович ДЕМЧЕНКО, занимавший эту должность весь период Сталинградской битвы и находившийся в эпицентре сражения от первого до последнего дня. За мужество он был награжден орденами и медалями, в частности, медалью «За оборону Сталинграда» (удостоверение № 00024), что говорит о многом: к примеру, той же медалью с удостоверениями № 00004 и № 00009 были награждены Маршал Советского Союза Г. К. Жуков и генерал армии К. К. Рокоссовский. Но даже по прошествии семидесяти лет ни один из историков так и не исследовал боевой путь военного коменданта, не оценил его личный вклад в победу под Сталинградом и восстановление разрушенного города.



ПАМЯТЬ

Комендант Сталинграда

Опираясь на немногочисленные источники и документы из семейного архива дочери В. Х. Демченко, попробуем вспомнить жизненный путь Владимира Харитоновича — военного коменданта Сталинграда и члена Сталинградского городского комитета обороны.

Подробные биографические данные этого человека содержатся в его послужном списке, хранящемся в Волгоградском областном военном комиссариате, и военном билете, оставшемся в семье дочери.

Родился Владимир Харитонович 14 июля 1901 года в селе Степанцы Киевской области (ныне Черкасской) в большой крестьянской семье. Десять детей — пять мальчиков и пять девочек — работать начали рано, помогая родителям в хозяйстве. В 1913 году Владимир закончил двухклассное земское училище, потом профагронимическую школу и в 1922 году добровольцем вступил в ряды РККА. Был зачислен рядовым в 71-й стрелковый полк Самаро-Симбирской Железной стрелковой дивизии в городе Винница. С этого момента вся его жизнь была связана с армией.

С 1922 по 1951 год Владимир Демченко находился на службе, прошёл боевой путь от рядового до подполковника. В 1927 году он — выпускник Военной школы имени ВЦИК (Москва, Кремль), затем командир взвода 1-го отдельного учебно-опытного пулеметного батальона при курсах усовершенствования командного состава «Выстрел» (Москва). В январе 1928 года вступает в члены ВКП(б), и его избирают делегатом



на IV Всероссийский съезд Советов. В 1928 — 1929 годах Владимир Демченко — слушатель курсов командиров рот станковых пулеметов КУКС «Выстрел», по окончании их — командир отдельного зенитно-пулеметного взвода в Учебно-опытном мостовом железнодорожном полку Ярославля, позже — командир зенитно-пулеметной роты 1-го зенитно-пулеметного полка 1-й артиллерийской дивизии ПВО в Москве, начальник полковой школы младшего начсостава в той же воинской части. В 1936 году Владимир Демченко находился в распоряжении Главного управления по начсоставу Красной Армии и был направлен в правительственную командировку в Китайскую Республику для выполнения особого задания. За образцовое выполнение этого задания Указом Президиума Верховного Совета он был награжден орденом «Знак Почета».

Затем снова Украина, Харьковский военный округ, где незадолго до начала войны он был назначен начальником учебного отдела курсов зенитных частей. А 25 марта 1940 года стал военным комендантом Харькова.

Как толкует авторитетный словарь, «Военный комендант — это должностное лицо в армии, обеспечивающее в пределах расположения войск порядок их размещения, выполнение дисциплинарных требований и общего контроля над караульной службой».

Именно миссия военного коменданта сыграла в жизни Владимира Харитоновича решающую роль. На плечи майора Демченко легла забота о большом хозяйстве. В то время Харьков был крупнейшим индустриальным центром Украины, четвертым по величине городом в СССР — 840 тысяч жителей, промышленные предприятия, вузы, НИИ. С началом войны в городе было введено военное положение, заводы перешли на выпуск военной продукции. В июле — августе 1941 года в Харькове началось формирование корпуса народного ополчения (85 тыс. чел.), харьковчане от мала до велика вышли на строительство укреплений на подступах к городу. В связи с приближением противника проводилась эвакуация предприятий и населения.

После обороны Киева главные военные события южного крыла советско-германского фронта развернулись на Харьковском направлении. Фашисты бросили против защитников города соединения 6-й полевой армии. Этим войскам противостояли ослабленные предыдущими боями части 38-й армии, которые по приказу командования Юго-Западного фронта должны были удерживать противника на подступах к городу, пока не будет проведена эвакуация, а также уничтожение или минирование промышленных, транспортных и других объектов. Но 25 октября под напором противника части Красной Армии оставили город.

В боях за Харьков В. Х. Демченко был контужен. Однако уже 25 октября 1941 года его назначают военным комендантом Сталинграда. Город на Волге был крупным индустриальным центром Юга России. В Сталинграде действовало 126 промышленных предприятий, которые давали более половины продукции области. «Красный Октябрь» перед войной стал одним из крупнейших металлургических заводов страны и выпускал 40 процентов всей стали в стране. Война застала наш город в расцвете строительства.

С приближением линии фронта к Сталинграду вся промышленность была перестроена на военный лад. Тракторный завод стал производить танки Т-34, тягачи, моторы для танков В-2. В среднем СТЗ выпускал 293 танка в месяц, и производство их росло. За период с 23 августа по 1 сентября 1942 года завод отправил на фронт 119 танков, изготовил 24 арттягача, 55 дизель-моторов. И это было тогда, когда враг находился в полутора-двух километрах от завода. Рабочие прямо из цехов уходили в бой.

В городе не было «мирных предприятий» — все они, и большие, и малые, выполняли государственные задания по выпуску фронтовой продукции.

Военная комендатура Сталинграда формировалась на базе нештатной военной комендатуры Сталинградского гарнизона в октябре—ноябре 41-го. В это же время, 23 октября 1941 года, согласно Постановлению Государственного Комитета Обороны № 830-сс от 22 октября 1941 года на заседании бюро обкома ВКП(б) был утвержден Сталинградский городской комитет обороны.

Согласно постановлению Сталинградского ГКО № 13 от 30.10.1941 года на коменданта города были возложены функции обеспечения пропусками военных и гражданских лиц для передвижения по Сталинграду, задержание нарушающих общественный порядок, уклоняющихся от военной службы и дезертиров, а также уголовников и диверсантов.

Кроме того, приказом № 01 от 25 ноября 1941 года по частям Сталинградского гарнизона военному коменданту были поставлены задачи по оборудованию гауптвахты для рядовых и младшего командного состава, формированию роты регулирования, патрулирования и несения службы на заградительных постах, проверке технического состояния автотранспорта.

В тяжелых боевых условиях майор Демченко закладывает фундамент деятельности военной комендатуры, на котором основана её работа и по сей день. Официально днём основания ведомства стало 1 декабря 1941 года. Через несколько месяцев согласно приказу командующего Сталинградским военным округом были созданы военные комендатуры в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском и Красноармейском районах города. Управление коменданта разместилось в Ворошиловском районе (в настоящее время ул. Огарёва, 20).

Кроме задач, возложенных на комендатуру, В. Х. Демченко приходится решать и ежедневные проблемы жизни населения: например, устранять спекуляцию, когда военнослужащие на рынках города сбывали хлеб, другие продукты, табак. На это жестко отреагировал Сталинградский ГКО, который обязал коменданта ликвидировать спекуляцию как таковую.

5 декабря Демченко утверждают членом Сталинградского городского комитета обороны. Это ещё одна яркая страница в биографии Владимира Харитоновича.

В середине февраля 1942 года в целях обеспечения защиты Сталинграда и размещения огневых средств ПВО по левой стороне Волги Сталинградский ГКО постановил обязать военного коменданта города майора Демченко установить жесткий контроль соблюдения светомаскировки в жилых домах, на предприятиях, в учреждениях и на транспорте.

Весной 1942 года Южный фронт, понеся крупные потери в ходе неудачной Харьковской операции, оказался не в состоянии остановить противника. Прежде всего, необходимо было преградить ему путь к Волге, прекратить панические настроения в войсках, нарушения воинской дисциплины, поднять моральный дух солдат. Этому послужил сталинский приказ № 227 от 28 июля 1942 года. В нем говорилось, что железным законом для действующих войск должно быть требование «Ни шагу назад!». Ставка создала новый, Сталинградский фронт.

На дальних и ближних подступах к городу ускоренно строились оборонительные рубежи и укрепительные сооружения. Три обвода преграждали путь к Сталинграду. Формировалось народное ополчение, рабочие отряды самообороны, шла эвакуация государственных ценностей.

Обстановка на фронте была критической. По планам гитлеровского командования, 1942 год должен был стать решающим в войне. Гитлер сумел сосредоточить существенные силы на южном крыле фронта. В течение первой половины августа на дальних и ближних подступах к городу шли ожесточенные сражения. 23 августа



Берег Волги. После окончания битвы

14-й танковый корпус противника прорвался из района хутора Вертячий и, рассекая оборону на две части, вышел к Волге в районе Латошинка—Рынок.

В книге «Сталинградский городской комитет обороны в годы Великой Отечественной войны. Документы и материалы» под редакцией М. М. Загоруйко говорится: «Блестящий 60-километровый бросок германского корпуса от Дона к Волге сулил успех планам Паулюса, командующего 6-й армией.

Прорвавшиеся танки и мотопехота противника были встречены частями военного гарнизона, подразделениями комендатуры и отрядами народного ополчения. В 16 часов 18 минут по московскому времени на командный пункт Сталинградского городского комитета обороны пришло донесение, что обнаружены большие группы немецких бомбардировщиков, которые с запада и юго-запада направляются к Сталинграду. Воздушная тревога объявлена. Седьмая по счету, без отбоя. Они шли волнами в составе эскадрилий. Бомбардировка города началась в 16 часов 20 минут, закончилась с заходом солнца в 19 часов.

В результате этих бомбёжек, которые продолжались 24, 25 и 26 августа, город был разрушен и охвачен пожарами. Было уничтожено 92 процента всего жилого фонда, погибло 42 тыс. мирных жителей.

Приказ № 1 по гарнизону Сталинграда от 26 августа 1942 года объявил город с 24 часов 25 августа на осадном положении. Командирам частей, коменданту гарнизона и начальнику областной милиции предписывалось принимать самые жёсткие меры по

сохранению в городе строжайшего порядка и дисциплины среди гражданского населения и в воинских частях. В тот же день за мародерство и воровство государственной и личной собственности граждан военными властями были расстреляны на месте преступления шесть человек. Информация об этом факте от лица коменданта города была доведена до населения».

Положение в Сталинграде продолжало ухудшаться. К вечеру 12 сентября линия фронта находилась уже в 2-10 километрах от города. Наши войска, упорно обороняясь, наносили контрудары с севера, но значительных успехов не достигли. На улицах города шло строительство баррикад.

В книге «Сталинградский рубеж» начальник штаба 62-й армии генерал-майор Н. И. Крылов вспоминает: «Чаще других членов городского комитета обороны бывал у нас на командном пункте военный комендант Сталинграда майор Владимир Харитонович Демченко. Обычно через него и доходили до нас тогдашние городские новости: что разрушено при последнем воздушном налете, что восстановлено. Положение в любом конце города Демченко всегда знал досконально, и я так привык считать его сталинградским старожилом, пока однажды не выяснилось, что он назначен сюда не особенно давно — после оставления города Харькова, где служил до последнего дня в такой же должности.

Городская и районные комендатуры (они действовали в Сталинграде, пока понятия «город» и «передний край» окончательно не слились воедино) помогали армейскому командованию: обеспечивали в нашем городском тылу вместе с милицией железный порядок, обусловленный режимом осадного положения, отвечали за охрану многих важных объектов. Специальные комендантские команды работали на маршрутах, по которым по ночам провозились через город боеприпасы, продовольствие, а также подкрепления, если они имелись. Разрушений всё прибавлялось, новые завалы не всегда успевали расчищать, и маршруты ночных перевозок постоянно менялись. Майор Демченко был в этом, пожалуй, самым знающим советчиком, а его люди — надёжными проводниками».

А вот строки из воспоминаний А. С. Чуянова: «Отряды народного ополчения заняли боевые позиции. Комендант города майор В. Х. Демченко доложил ГКО, что рабочие отряды укрепились в опорных пунктах на направлениях возможного прорыва немцев». Сами служащие комендатуры постоянно находились на передней линии, их служба не прерывалась ни на час: увозили за Волгу раненых, снабжали боеприпасами и продовольствием правый берег. Личное мужество В. Х. Демченко проявлялось в борьбе с диверсантами. В сентябре 1942 года он был контужен. В представлении командования к награждению его боевым орденом говорится: «Как комендант гарнизона тов. Демченко инициативно и четко выполнял все указания и решения начальника гарнизона Сталинграда. В дни ожесточенных бомбардировок вражеской авиации и боев за город он руководил районными комендатурами, организовывал наведение порядка в городе. Совместно с частями 10-й дивизии войск НКВД комендатуры несли патрульную службу и охрану объектов. Непосредственно участвовал в формировании рабочих отрядов при комендатурах, создал отряды общей численностью в 1200 человек. Рабочие отряды несли службу по охране порядка в городе, выполняли задания по разведке и вели боевые действия. По указанию начальника гарнизона организовал эвакуацию населения, эвакуировал 107 тыс. человек. За период бомбардировок вражеской авиацией города и массовых пожаров организовал спасение имущества и охрану 50 объектов социалистической собственности. Передал частям Красной Армии белья 7085 пар, ботинок 1700 пар, винтовок 1259, автоматов 45, пулеметов 13, ПТР 28 и другое военное имущество. В дни наиболее ожесточенных бомбардировок комендатуры и рабочие отряды непосредственно спасали имущество, а тов. Демченко личным приме-

ром воодушевлял бойцов и командиров на выполнение поставленных задач. За умелую организацию и руководство работой комендатур и проявленные при этом мужество и отвагу заслуживает награждения орденом Красного Знамени».

С 20 сентября 1942 года военный комендант Сталинграда майор Демченко с оставшимся составом комендатуры находился при штабе 62-й армии. Личный состав районных комендатур был выведен на левый берег Волги, где формировались комендатуры по маршрутам движения резервов к Сталинграду: в Красной Слободе, Средней Ахтубе, Заплавном, Ленинске, Цареве, Колобовке, Солодовке, Маляевке и до Капустина Яра. Они были обязаны обеспечивать порядок и контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима.

После окончания Сталинградской битвы военная комендатура Сталинграда и прибывшие с левого берега районные комендатуры приступили к выполнению обязанностей комендантской службы. Предстояла огромная работа по очистке и восстановлению города.

О работе В. Х. Демченко свидетельствуют постановления СГКО за 1943 год. Ввиду того, что в населенных пунктах, на полях бывших сражений оставалось огромное количество трупов, создавалась серьезная угроза распространения инфекционных заболеваний. Было необходимо срочно провести очистку территорий. Времени на эту работу оставалось мало — только до наступления тепла. Сталинградский городской комитет обороны поручил В. Х. Демченко обеспечить вывоз трупов в отведенные места, используя для этого весь подходящий воинский транспорт.

Постановлением СГКО № 415 от 15 февраля 1943 года «О расчистке города и разминировании» коменданту города майору Демченко и начальнику областного управления милиции Бирюкову предписывалось «немедленно организовать и систематически проводить проверку документов у граждан и облавы по городу и провести решительную борьбу с дезертирами и мародерами. В пятидневный срок провести полную очистку всех зданий и подвалов от немецко-фашистских солдат и офицеров».

16 февраля 1943 года приказом коменданта города Демченко было снято осадное положение и введено военное положение в Сталинграде.

Крайне тяжело шло в Сталинграде восстановление разрушенных автодорог. Многие предприятия, за которыми были закреплены отдельные участки, не приступили к их ремонту вплоть до августа. Для того чтобы уменьшить разрушение уже отремонтированных дорог, 16 июня 1943 года горисполком запретил проезд тяжеловесных машин и тракторов по тракту Сталинград-1 и Сталинград — Красноармейск. Был специально установлен объездной путь. Но это постановление нарушалось, за что была установлена строгая ответственность.

В сентябре должен был начаться новый учебный год, но пригодных для учебы зданий почти не осталось. Помещения же уцелевших школ в Кировском районе были заняты воинскими частями, поэтому СГКО поручил Демченко принять немедленные меры к высвобождению этих зданий.

Незабываем и такой факт: в феврале 1944 года в составе делегации В. Х. Демченко принимает участие в торжественном вручении в Кремле подарка Георга VI — знаменитого Почетного меча — городу-победителю.

Владимир Харитонович запомнился не только как выдающаяся личность, но и просто как человек. Он был высоким, широкоплечим, подтянутым, со спокойным, уверенным и добрым выражением лица. Его доброта особенно проявлялась по отношению к детям. Один из таких случаев описывает корреспондент газеты «Волгоградская правда» В. Сапов: «Во время бомбардировки города он лично помогал жителям спастись от огня, вынося детей и укрывая их в подвале школы. 350 спасенных детей ночью вывезли на лодках на левый берег».

Он был общителен, любил музыку, песни и сам хорошо пел. Любил природу, особенно Волгу. В 1944 году американский корреспондент, побывавший в Сталинграде, сфотографировал подполковника Демченко на берегу Волги. На снимке рукой Владимира Харитоновича написаны слова его любимой песни «Услышь меня, красивая». В том же году он женился на Валентине Бубновой — сталинградке, работавшей в комендатуре. В 1955 году Валентина Васильевна окончила Сталинградский педагогический институт, стала работать учителем русского языка и литературы.

В 1946 году у них родилась дочь Татьяна. Она вспоминает: «Впервые на родине отца мы побывали в начале 50-х годов. Село Степанцы расположено на живописном берегу небольшой речки, а вокруг необъятные поля пшеницы, гречихи. В каждом доме фруктовый сад. Наш приезд большая радость — сестры, братья собирались вместе, любили петь народные украинские песни, а главная из них «Песня о Днепре». Как красиво звучал баритон отца! Обязательно во время поездок мы, по инициативе отца, бывали в исторических местах Киева: Киево-Печерской лавре, соборе Святой Софии, у памятника Богдану Хмельницкому. В городе Каневе на крутом берегу Днепра посетили могилу Тараса Шевченко, поэзию которого отец любил. В Харькове также непременно ходили к его памятнику, который считается одним из самых красивых монументов поэту.

Это всё забываемо, как и большая семья отца. Судьба разбросала их: брат Юрий — офицер танковых войск в Луганске, брат Михаил — врач-биолог в Курске, сестра Мария — золотошвейка в Сталинграде, остальные на Украине, в родном селе».

После Сталинградской битвы Владимир Харитонович по-прежнему оставался комендантом Сталинграда, в 1952 году был уволен в запас.

Ратные заслуги В. Х. Демченко достойно оценены. Он получил правительственные награды: ордена «Знак Почета» (1938), Красной Звезды (1942), Красного Знамени (1944), Ленина (1947); медали «За оборону Сталинграда» (1942), «За победу над Германией» (1945), «XXX лет Советской Армии и Флота» (1948). В 1943 году ему было вручено личное оружие — пистолет системы Браунинга от командующего Сталинградским фронтом.

В мирное время В. Х. Демченко не был в стороне от общественной жизни города: встречал делегации различных стран, вёл работу по военно-патриотическому воспитанию, был членом президиума волгоградской секции Советского Комитета ветеранов войны, депутатом Советского районного Совета депутатов трудящихся.

Умер В. Х. Демченко 30 апреля 1980 года. Похоронен в нашем городе.

Владимир Харитонович стал и навсегда остался сталинградцем, чьё имя вписано в славную историю города.

Наталья СИЛАНТЬЕВА

Литературоведческо-биографическая повесть Владимира Мавродиева посвящена жизни и творчеству Василия Семёновича МАТУШКИНА (1906 — 1988), сталинградского писателя и драматурга ещё довоенной «волны», получившего писательский билет из рук самого А. М. Горького. Повествование ведётся в контексте ныне малоизвестной широкому читателю литературной, издательской и общественной жизни Сталинграда 1930 — 1950-х годов.



ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

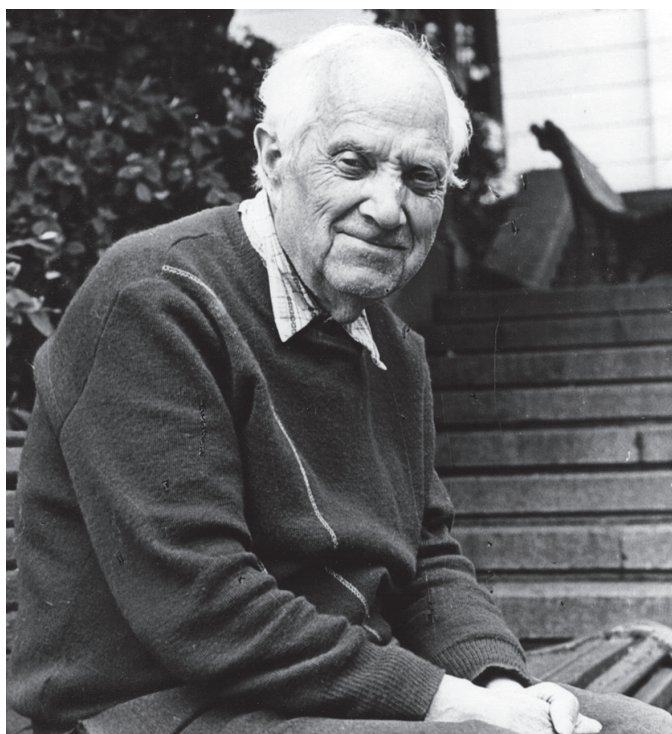
2015

ЗЕМЛЯКИ

Владимир МАВРОДИЕВ

Писатель с глазами священника

В. С. Матушкин. Дом творчества писателей. Ялта. 1987 г.
Фото Михаила ДУДИНА



...В его архиве есть толстая папка — рукопись неоконченного автобиографического романа «По белу свету». Сюжет произведения прост: литератор на старости лет решил встретиться с реальными героями книг своей молодости, чтобы узнать, как прошла жизнь, не обманулся ли он когда-то, воспевая их лучшие качества...

В конце семидесятых Василий Семёнович, всегда считавший себя в равных долях сталинградцем и камышанином, привычно приехал в Волгоград из Рязани, где жил к тому времени уже двадцать лет. Но на этот раз не только к детям, внукам и старым друзьям-писателям, а чтобы разыскать одного из тех героев, знаменитого сталевара «Красного Октября», который в тридцатых годах устанавливал европейские и мировые рекорды по показателям плавки.

К счастью, герой был жив-здоров, и вскоре в рукописи романа появились первые страницы главы «Иван, сын Прохора». Были в той рукописи и главы о рязанской колхознице, чьё военное детство навяло писателю сюжет известной повести «Любаша», тираж которой в своё время превысил три миллиона экземпляров. И о лётчике Борисе Ковзане, единственном в мире асе, кто остался жив после того, как четырежды таранил фашистские самолёты. О нём Матушкин написал пьесу, заключительное действие которой происходит в Волгограде...

Конечно, ныне трудновато стало писать или даже говорить что-либо о героях Руси Советской, тех же стахановцах, ударниках первых пятилеток. Ибо многие современные ёрнические СМИ (каковых, к несчастью, не убавляется) достаточно и не без успеха потрудились, разуверив людей, особенно тех, кто помоложе, что такие герои были, что их рекорды во славу Отечества — не миф, не агитпроп и т. д. Остаётся одно: брать те давние книги в руки и читать, призывая на помощь художественную правду писательского слова...

Иван Прохорович Алёшкин с начала тридцатых и до самых пятидесятых стабильно добивался вместе с товарищами по цеху уникальных производственных показателей. Ведущего сталевара-бригадира «Красного Октября» в первые послевоенные годы сталинградцы избирали депутатом Верховного Совета РСФСР. Уж и не знаю, с чем это можно ныне сравнить, по крайней мере, не с избранием в Государственную Думу, при всём уважении к статусу этого органа. Не ошибусь, если скажу, что он был местным Стахановым. И писали о нём в газетах после установленных рекордов очень много. Наверно, если сейчас почитать те статьи, то не шибко поверишь. Но молодой рабочий «Красного Октября» слесарь Василий Матушкин написал о нём и его бригаде рассказ ещё до всех мировых рекордов. И оставил нам неоспоримое, художественно убедительное свидетельство созидательной силы своего поколения...

В 1934-м «СТАЛОГИЗ» выпустил первую книгу рабочего-литератора «Изобретатели». Её редактором был не кто иной, как будущий автор знаменитого романа «Казачка», тридцатилетний тогда Николай Васильевич Сухов, отметивший в аннотации «непритязательный, но яркий язык» молодого автора. Вскоре у Матушкина выходит новая книга, он едет в Москву на молодёжные писательские курсы, после которых сам Алексей Максимович Горький вручает ему под лозунгом «Ударники — в литературу!» билет кандидата в члены Союза писателей СССР. Блестящее, что ни говори, начало творческой биографии. Добавим, что и Алексей Толстой, приезжая в те годы в Сталинград, хвалил его книгу об Алёшкине, о чём я ещё скажу.

В тридцать шестом выходит уже большая повесть Матушкина «Тарас Квитко» о судьбе нашего царичинского «Гавроша». И... подвергается жестокому разному со стороны одного местного троцкиста от критики... Автор лишается в краевом книжном издательстве должности ответственного секретаря журнала «Социалистическая культура», около полугода его вообще никуда не берут работать, даже грузчиком. В рискованном порыве он идёт в НКВД и кладёт на стол писательский билет: или сажайте,

или дайте возможность работать. Слава Богу, что оперативник отослал его, сказав, что вызовут, когда потребуется. Поостыв, Матушкин уезжает на следующий день в Камышин, в конце концов попадает в Верхний Баскунчак, потом в Морозовскую, затем в Саломатино, что под Камышином, работая до самой войны учителем русского языка и литературы.

На войне он был командиром отделения взвода пешей разведки, пока не получил тяжёлое ранение... После войны родной Камышин, где когда-то жила их огромная семья: у отца — железнодорожного обходчика — было восемь сыновей, выжили, правда, лишь пятеро, да и то один в тридцатых пропал в Гулаге... Опять учительский и журналистский хлеб, и горькое чувство при воспоминании о брошенном на чекистский стол писательском билете. Но времена были такие, что не торопился он начинать восстанавливаться в Союзе писателей... И неизвестно, как бы дальше сложилась судьба, если бы не встретил в пятидесятом году в Москве Михаила Луконина, который когда-то ходил к нему в литкружок тракторного завода. Известный земляк-поэт, лауреат Сталинской премии и один из руководителей Союза писателей СССР, помог ему вместе с Алексеем Сурковым восстановиться и доброе имя, и писательский билет...

В пятидесятые годы вышло несколько книг его рассказов, он работал собкором «Учительской газеты», «Сталинградской правды». Уж чего-чего, а прототипов для своих произведений ему хватало. Но снова испытание: внезапная болезнь, сильнейшая астма, советы врачей срочно сменить климат... Так в пятьдесят восьмом он с двумя дочерьми оказался в Рязани.

Снова дороги, книги, пьесы и... постоянная тоска по Сталинграду да Камышину... Уж, казалось бы, всего ему хватало в Рязани и в недалёкой от неё Москве. И книга самая знаменитая его была написана здесь (будучи составителем сборника десяти лучших, по его мнению, повестей о Великой Отечественной войне, Виктор Астафьев включил «Любашу» в сборник «Дорога в отчий дом», вышедший в честь 25-летия Победы в Пермском книжном издательстве). И в суперпопулярной и сверхдоступной для народа «Роман-газете» издавали, пьесы хорошо шли в нескольких театрах, художественный фильм по повести сняли, на шесть иностранных языков прозу его перевели... И даже с самим Солженицыным, мягко говоря, «общался», сначала принимая, а потом исключая того из нашего идеологически строгого тогда Союза писателей, исполняя обязанности ответственного секретаря Рязанской писательской организации. Покуда всамделишный секретарь по такому историческому поводу «косил» в больнице — аппендицит...

Кстати, в конце девяностых, в дни своего восьмидесятилетия Солженицын обмолвился в телепередаче, что не держит на тех «пятерых рязанских мужиков» зла... А чего ж держать-то? Не по-христиански это... Ежели из сегодняшнего дня глянуть, то, не ведая того, открыли сорок лет назад «мужики» добравшемуся со временем и в нужный час до так и не обустроенной России (к тому ж обосновавшемуся на щедро реконструированной советско-партийной даче...) «патриарху совести» и присудителю премий собственного имени широкие двери к общечеловеческой славе и к спокойному, более чем достойно оплачиваемому творчеству...

Одним словом, всего хватало Василию Семёновичу, даже завидных орденов (Красного Знамени и Октябрьской Революции). Ан нет. Каждый год по несколько раз приезжал он в Волгоград, с обязательным заездом в Камышин. Вроде только дочерей да внуков проведать, а сам всё ждал, что однажды предложат ему братья-писатели переехать на родные берега. Собирались, не особо торопясь, предложить, а уж годы его за восемьдесят перевалили... Скончался он в Рязани в конце декабря восемьдесят восьмого года и похоронен на почётном погостовом месте — рядом со Скорбященской церковью православной...

В феврале будущего года исполнится 110 лет со дня рождения одного из основателей Сталинградской писательской организации (в составе учреждённого в 1934-м Союза писателей СССР) Василия Семёновича Матушкина. Немало уже прожили на белом свете и книги рязанского сталинградца — писателя, прадеда моих внуков, который, как нередко казалось мне, глядел на мир глазами священника, какого-нибудь работающего деревенского батюшки, встающего каждый день с солнышком к своей извечной, посланной Свыше службе и добрым деяниям...

Вышесказанное — это, конечно, только верхушка «айсберга» его жизни. Есть и «подводная часть», но надо сказать, она тоже светлая... Если иметь в виду не жизненные обстоятельства, не прожитый трудный век и посланный крест судьбы, а отношение этого человека к жизни, людям, семье, долгу, убеждениям, писательскому слову. И я попробую рассказать об этом — в меру знаний, почерпнутых в течение двадцати пяти лет из постоянного общения с ним. Да и после кончины Василия Семёновича я не раз просматривал его архив.

...Кроме оставшегося незаконченным романа было в его задумках ещё одно повествование, которое он называл «Сладкая жизнь». С грустной улыбкой называл. Ибо мыслилось оно о давнем детстве — камышинском, привокзальном, арбузном... Крепкий деревянный дом отца, дорожного обходчика Семёна Ивановича, стоял неподалёку от местного вокзала, и крепкая ватага братьев Матушкиных — Лёни, Саши, Вани, Васи и Миши — начиная со знойно-тягучего, пыльного и пёстрого августа, днями пропадала «на путях», подрабатывая на выгрузке-загрузке арбузов и дынь, среди полосато-зелёного и жёлтого половодья. А если не подрабатывала, то просто кормилась, особенно в не слишком-то сытые годы Первой мировой, а потом и Гражданской: треснувших или вовсе разбитых арбузов-дынь было хоть отбавляй, ешь, как говорится, от пуза. Одним словом — сладкая да липкая житуха, вся в мухах да осах ...

Мать дружной и смекалистой пацанвы, Евдокия Степановна, буквально разрывалась меж двух огней. Одной заботой был, понятно, пригляд за сыновьями, стремление воспитать их здоровыми, работающими и грамотными, а вторым, а чаще всего всё же первым, «фронтом» являлся нескончаемый молочный конвейер...

«Представляешь, — рассказывал мне уже семидесятилетний тесть, — коровёнка наша была с виду небольшой, аккуратной такой, я бы сказал, что по-коровьи изящной даже. И вымя-то не сильно вроде заметное. А давала почти три ведра молока в день, а то и все три. Точно три, поверь. Уж не помню, где её мать раздобыла, но говорила, что Марта наша — чуть ли не голландской породы. Жили когда-то на Саратовщине князя Голицыны, много диковинного скота в их имениях держали-разводили, от того стада и наша коровёнка дошла. Вот представь, сколько она добра приносила. Но и забот, колготы... Одна корова — а цех целый... Сепаратор у нас был немецкий, крепкий, широкий такой, сидит на столе, как царь на троне, поблескивает... А надёжный, тут и говорить нечего, сносу ему не было, золото, а не сепаратор. С него у меня и началась тяга к технике...

...В переработке мать больше нажимала на масло, одно время чуть ли не кадки малые с маслом в подполе стояли, в основном с топлёным. Ну, мы, конечно, пили-ели... Молочко светло-жёлтое, сметана аж коричневая... Но много и на продажу оставалось, особенно масла. В Камышине мать почти не торговала, а отправлялась повыше, в Саратов, но в основном в саму Москву ездила, зимой обычно... Бывало, что недели по две её не было. А уж приедет с гостинцами, весь дом ходуном. Кому штаны, кому шапка, кому ботинки. И всем — книжки, карандаши да леденцы... Отец с темна до темна на работе, на дороге, в мастерских, а то и в командировках или подменяет кого-то из обходчиков на неблизких перегонах... Мать уедет — за хозяйством кто-нибудь из близ-

ких женщин или соседок приглядывает, а в доме за старшего Лёня оставался, он сизмальства был организованный такой, учился на отлично в гимназии, мать с отцом думали, что он, получив образование, и нас в люди тянуть будет. А тут революция, смута серая, война... Я начальную школу еле кончил... Как белые пришли в Камышин, в июле-августе девятнадцатого, почти месяц стояли, так и кончилась учёба наша... Миша, правда, потом сумел выучиться на военного, он самый младший из нас, в девятнадцатом ему четыре годика всего было...»

Обычно, дойдя до этого момента, Василий Семёнович умолкал или, с минуту помолчав, переводил разговор на другое. В смысле на другие годы. Например, рассказывал, как во время нэпа выучился на часового мастера. Или как впервые заявился на «американскую» стройку — тракторный завод в Сталинграде возводить. Но об этом чуть позже.

Только через много лет, уже после смерти писателя, я узнал, почему он не любил вспоминать свои школьные годы. Вернее — почему ему было тяжело даже думать о них...

Теперь вот предполагаю, что случись ему начать с пером в руке вспоминать, перекладывать на бумагу «Сладкую жизнь», то начал бы он, может, и впрямь с арбузов вокзальных, но не смог бы не написать и о Базарной камышинской площади, где в августе девятнадцатого деникинцы установили несколько виселиц и куда сгоняли местных жителей в один из знойно-потемневших дней... Попробую написать, как бы от него, пару нелёгких абзацев...

...Вася выглянул в окно, увидел там неохотно идущих в сторону базара людей, подгоняемых беляками на конях... Мать, узнав от соседей про казнь, не сводила с сына глаз. «Не ходи туда, Васятка, не ходи... Учителюшу твою... туда... Не ходи, сынок...» Он забился в дальний чулан, уткнулся в какую-то овчину... Но потом выбежал в комнату и — мимо всплеснувшей руками матери — кинулся в дверь, на улицу, мотнул калитку, побежал к базару...

По пути попался одноклассник Петька Мальцев, испуганный, какой-то враз похудевший... «Повели... Татьяну Тихоновну повели... Под конвоем, в платье школьном, чёрном... Токо без воротника белого...» Вася остановился, словно сжался в комок, задрожал головой и побежал, не замечая слёз, обратно, домой, в чулан... Перед глазами стояла любимая учительница в строгом тёмном платье и светлом, как два крылышка, воротнике...

В третьем классе он стал сочинять стихи и маленькие рассказы, которые называл «Истории». И однажды показал их учительнице своей, самому известному в Камышине педагогу Татьяне Тихоновне Торгашовой. А потом много раз они оставались после уроков и учительница говорила ему о Пушкине и Некрасове, о Льве Толстом, Короленко, Горьком... А однажды попросила разрешения у юного автора зачитать его сочинения перед всем классом. После революции Татьяну Тихоновну назначили комиссаром народного просвещения города, но она не переставала преподавать, приходила в школу, следила, чтобы никто из ребят в трудные и голодные времена не бросал учиться. О том, что Вася Матушкин был по-детски влюблён в своего преподавателя словесности, знали все, но никто не смеялся над ним, даже мальчишки не подтрунивали, уважая его не только за «писательство», но и за отзывчивость, добрый нрав...

Перед казнью избитая и с виду обессиленная подвижница детского просвещения стала неожиданно кидать в глаза палачам сильные и гневные слова. Тогда славные воины Антона Ивановича Деникина стали бить её чем попадая, спешно-трусливо захлестнули верёвкой и кинули бездыханную женщину в овраг у Камышинки... Лишь через несколько дней земляки пробрались туда и захоронили учительницу в братской могиле. Ныне над ней высится обелиск на площади, которую, как и в Царицыне, назвали когда-то площадью Павших Борцов...

Всё это — не плод каких-то моих додумок. Хотя, повторюсь, мне лично Василий Семенович почему-то в течение многих лет не торопился говорить об этом, стеснялся, что ли... Может, хотел обратить те тяжкие биографические страницы в художественную форму и, как младшему собрату-писателю, дать однажды прочитать. А вот хранителю фондов Камышинского краеведческого музея Татьяне Пластун, приехав в родной город за год до своей смерти, рассказал — неспешно, подробно, словно давние бумаги перебирая... Так ведь часто бывает. И самым близким иногда не поведаешь то, что расскажешь малознающему человеку где-нибудь в вагонном купе или на скамейке в парке...

...В самом конце двадцатых Василий Матушкин приезжает из почти безработного Камышина в индустриально возрастающий Сталинград и устраивается разнорабочим на строительство тракторного завода. Но в начале июня тридцать первого переходит на «Красный Октябрь», получает рабочую карточку за номером 2157. Решение это было, видимо, связано с тем, что тракторный к тому времени пустили, энтузиазм в стиле «Даёшь!» несколько ослаб, и двадцатипятилетний рабочий, до того времени больше года вкалывавший где попало, вплоть до землекопства, всерьёз озабочен приобретением более желанного ремесла. Сказывалась тяга к точной механике, к более квалифицированной работе. Была ещё одна причина, о которой я скажу чуть ниже. Конечно, добрую профессию и на тракторном приобрести можно было, но он, повторяю, маханул на соседний, бывший «французский», завод, ставший советским металлургическим гигантом. Тем паче что в рабочих общежитиях там было попросторнее.

Не последнюю роль в том решении сыграло и то, что в родном Камышине его писем ждала двадцатилетняя Нина Ермакова... А тут ещё девушку любимую после окончания в апреле тридцатого камышинской «школы для взрослых повышенного типа» послали, ввиду местной безработицы, в Красный Яр «производителем землеустроительных работ по подготовке территории машинно-тракторной станции». И, очень даже для тех времён грамотную, назначили десятницей. Плюс «ликвидатором». Что это такое? А активист всесоюзного движения по ликвидации неграмотности. Как писала она Василию, вручили ей бригаду из восьми местных парней, чтоб днём с ними земли ровнять-мерить, а вечером читать-писать учить...

Грамотёшка — дело нужное, но тут и другим озаботишься. И прежде всего тем, как бы побыстрее перетянуть Нину от тех малограмотных, но наверняка справных да весёлых парней в Сталинград и жениться на ней... К тому ж на «Красном», как он узнал, молодожёнам давали отдельные комнаты в общежитии. Думал недолго, и вскоре в Красный Яр полетела весточка, что он принят учеником слесаря и направлен «на мартен 2-го района Электроотдела». А через месяц написал невесте, что уже работает самостоятельно, зарплата сносная, а живёт вообще «по-царски»: всего-то два соседа в комнате. И вдобавок учится по вечерам на курсах Нижне-Волжского отделения Акционерного общества «Установка», что поможет укрепить профессию и вообще положение на заводе. Всё вроде складывалось удачно, но...

Тут я очень деликатно коснусь одной темы. На этот раз религиозной. Мать Василия была крещена, понятно, в православие, но в трудные революционные и послереволюционные годы стала тяготеть к баптистской общине. Подростком Василий бывал с матерью на собраниях той общины. Привлекала его не то чтобы чисто религиозная часть тех собраний, а в первую голову то, что люди в трудные времена жили этакой неофициальной малой коммуной, конкретно помогали друг другу продуктами, вещами, в ремонте и строительстве жилищ, в болезнях... Такой вот «прикладной» и, по сути, христианский приход был ему по душе. Да ещё и мало применяемые на практике, но теоретически весьма гуманные постулаты, навроде того, что нельзя под любым предлогом убивать людей и даже брать в руки оружие. Романтически-светлая душа будущего пи-



Василий Матушкин и Нина Ермакова. Начало 1930-х гг. Сталинград

сателя воспринимала это охотно. Хотя как это в Советской стране, которой постоянно грозят враги, не брать в руки оружие? Но Гражданская кончилась, а до Великой Отечественной и предшествующих ей военных конфликтов было ещё далеко. Поэтому на протяжении нескольких лет Василий не то чтобы считался «сектантом», а просто с любопытством начинающего писателя и простодушным доверием относился к замкнутым в своём братском и сестринском мире камышинским баптистам.

Позже то увлечение постепенно прошло, и в Сталинград он явился уже практически атеистом, сохраняя, правда, свой взгляд, своё мнение о той, как ныне говорят, конфессии. Кстати, в послевоенные советские времена властями вовсе не запрещаемой и никакой «сектой» не считавшейся. Выходил до самого конца восьмидесятых даже вполне легальный «толстый» журнал советских евангелистов-баптистов. Но в начале индустриально бурных тридцатых благообразные откольники-отшельники были вне закона. А с середины тех тридцатых их агитаторов уже начали загонять в Гулаг...

Вот Матушкин однажды, ещё в пору работы на тракторном, затеял спор на религиозную тему со своими товарищами, стал объяснять им, что баптисты проповедуют добро, что их заповеди, в общем-то, близки духовным посылам коммунистического уклада. О такой крамоле, понятно, доброхоты быстро «стукнули» куда надо, попал Матушкин в чёрные списки ОГПУ, где его недолго думая определили аж в «проповедники» баптизма. С завода не выгнали, но начали тягать в «органы», в партком, в городской совет воинствующих безбожников, грозить да воспитывать.

Те времена были полны всякими «перековками», и, слава Богу, Матушкина, перешедшего от греха с тракторного на «Красный» ещё и по причине воспитательного преследования, тоже довольно оперативно «перековали». Тем более что трудился он хорошо, даже очень хорошо, да ещё и писал в газеты, воспевал освобождённый труд.

А когда в середине тридцать второго ему вручили официальный городской билет ударника за номером 5498, то реабилитация была полной.

Но свадьба по причине этих «перековок», понятно, откладывалась. К счастью, ненадолго: на ноябрьские праздники того же года, получив в Камышине благословение родителей, Нина приехала в Сталинград к жениху-ударнику, а 22 декабря в Краснооктябрьском загсе молодые наконец расписались. Пожив недолго в общаге, они сняли комнату в «рабочем посёлке имени Рыкова», который по старинке называли (и до сих пор ещё называют) Малой Францией, а позже там же заимели и казённое жильё. Добавлю, что новый тридцать третий год, трудный и голодный для Поволжья, они встретили в родном Камышине, где и сыграли скромную свадьбу. Вот такая история в полном духе того времени.

...За два дня до женитьбы Василий получил очень важное для себя письмо из краевого комитета ВКП(б). Здесь нужно объяснить современному читателю, что, в отличие от нынешних «личных» и общественно «посфигейских» времён, в те далёкие тридцатые литературное ремесло считалось важнейшим подспорьем в государственном строительстве, в том числе и строительстве нового человека, в партийно-воспитательной, агитационной работе. И литераторы, даже начинающие, опубликовавшие всего несколько рассказов или стихотворений, были, что говорится, на поимённом учёте. А слесарь Матушкин в том тридцать втором написал целую повесть «Барабан», героями которой стали, понятно, работяги, с которыми он не просто встречался, а трудился каждый день и жил вместе. И, конечно, он желал поскорее её напечатать. Сделать, может, и молодой жене такой вот утверждающий серьёзность его литературных начинаний подарок...

Все наиболее значимые рукописи будущих книг «согласовывались» тогда с соответствующим отделом крайкома партии. И это не было примитивной цензурой по типу «пущать — не пущать». Работники таких отделов внимательно и даже с «жаром» брались помогать молодым авторам. Тем более что в апреле тридцать второго вышло постановление ЦК партии о перестройке литературно-художественных организаций, в связи с чем намечалось заметно усилить издательское дело на местах, в том числе и периодическое. В частности, в нашем городе на будущий тридцать третий год намечался выход нового литературного журнала «Сталинград». И работник крайкома, а заодно и литератор Виктор Буторин, пославший письмо Матушкину, наверняка курировал организацию того журнала, ежедневно «и по службе, и по душе» (В. Маяковский) приглядывал и за маститыми авторами, и за молодняком, охотно входил в их положение и проблемы. Приведу, сохраняя авторский стиль, выдержки из того искренне делового письма, ибо оно хорошо иллюстрирует и то, что я вкратце обрисовал выше, и вообще вживе передаёт черты той эпохи, звавшей людей к творческому постижению коммуной идеи.

Дорогой тов. Матушкин! Выслушайте меня. Я прочитал Вашу повесть «Барабан» и хочу предупредить Вас, что Вы даровитый, талантливый писатель. Это самое главное, что Вы должны запомнить. И если кто-нибудь, когда-нибудь будет Вас уверять в противном, — не верьте. Но это не значит, конечно, что Вы уже сейчас пишете совсем хорошо. Нет, Вам предстоит ещё много поработать. Помните, что писательство — это прежде всего труд, тяжелый труд. В произведении художника не должно быть ни одного лишнего слова, каждое слово должно убеждать, действовать на читателя. Кроме того, писатель должен быть не только грамотным человеком, но совершенно грамотным. А судя по Вашей повести Вы должны основное внимание уделить общему и политическому образованию, не переставая писать, ещё больше времени уделять тщательной работе над своими произведениями.

Теперь о «Барабане». Я его немного подредактирую, выправлю, и мы его пустим в печать. Вы прекрасно справляетесь с задачей показа человеческих переживаний, у Вас исключительно хороши зарисовки природы, по повести разбросано много живых, ярких образных выражений, но Вы не сумели показать людей так, чтобы один из них сильно отличался от другого (своим нутром). Ведь дело не только во внешности. Кроме того, все рабочие, выведенные Вами, выглядят «худыми», «тощими», а мастера, администрация «жирными» и «толстыми». Почему это? Подумайте. У Вас многовато техницизма, он загромаждает повесть. Так что надо его изрядно сократить.

Итак — пишите, пишите и пишите. И учитесь. Читайте, не отставайте от жизни. Вам надо быть впереди. Вы писатель — с Вас много спросится. Вы писатель пролетарский и должны писать в интересах класса, который Вас воспитал, которому Вы служите. А потому ближе, вплотную к нашей партии. Она авангард класса. Крепко, крепко жму руку. В. Буторин. 20 X11 32 г. г. Сталинград

В мае тридцать третьего «Сталинград» вышел трёхтысячным тиражом, и на страницах первого номера соседствовали повесть Василия Матушкина «Барабан» и рассказ Виктора Буторина «Подпольная типография»...

К сожалению, в дальнейшем имя искреннего и доброжелательного рецензента затерялось в весьма бурном потоке сталинградской литературы тех лет. Может, и не сам он затерялся или уехал куда-то из края, а «затеряли» его... Времена наступали крутые. Весной тридцать пятого новый партийный глава края Варейкис приехал из Воронежа со своей «командой» с весьма определёнными задачами: что-то исправлять, поднимать, чистить... Забегая вперёд скажу, что неистовый и интеллигентный Варейкис дочистился до собственного расстрела, а вслед ему, до лета тридцать восьмого, «как бешеные собаки» лишились жизни ещё двое его коллег по высшей сталинградской партийной должности... Но я о другом, о своём предположении в отношении судьбы сердобольного партийного литератора Буторина.

Даже в письме к Матушкину проступает некоторая, малозаметная на посторонний взгляд, раздвоенность позиции рецензента, может быть, не совсем понятная в те времена даже ему самому. Ведь начиная с тридцатых годов русская советская литература проводила этакую собственную «индустриализацию» и «коллективизацию». Она резко, практически в приказном порядке, переходила от человековедения к обществоведению, то есть во главу угла ставилось не просто поведение человека, а общественное поведение, отношение к своему «отряду», брошенному на передовую строительства социализма.

По верхней «инструкции» главные, стеновые герои литературных произведений прежде всего должны были демонстрировать свою убеждённость в правоте общенародной идеи, быть почти беспощадными к «отшельникам», к индивидуумам с явным или тайно сдерживаемым «буржуйским душком». Скажу так: если, допустим, какой-то рабочий и смекалист, и работающ, то это ещё не повод считать его «своим» для советской власти. Он обязан быть ещё и составной частью общего «тела» коллектива. А уж партия ведёт коллективы куда надо. Тут не до раздумий, тут все должны быть на одно лицо. Такое время, гражданская солдатчина, огромнейшая задача по разительному, неправдоподобному для «нормального» ума (особенно иностранного) преобразению страны за несколько лет, оставшихся до сорок первого... Таков не перелом даже, а крутейший поворот, всесильная воронка времени, над которым после того тридцать третьего нависла неизбежность вселенского столкновения Света и тьмы...

Немыслимая по срокам индустриализация шестой части Земли, истинный, а также весьма умно разжигаемый партагитпропом энтузиазм строящего социализм класса были, в главную очередь, ещё и возведением баррикады, рва, щита против фашизма,

который с «дьявольским поспешением» начинал раскидывать свои щупальца по мягкотелой старухе-Европе, раздуваться от финансовой и промышленной крови, готовя очередной бросок на славянский мир. На земли и сокровища Святой Руси, принявшей защитный образ Советской России, общинно-многонационального Союза...

Конечно, литературный процесс, язык и сюжеты произведений изменились не в момент, этого наверху никто по-маниловски не планировал. Но беспрекословные, я бы сказал, ориентиры были выставлены по-армейски чётко и оправданно безоговорочно (оправданно, если иметь в виду жизнь или смерть Отечества). Внешне страна, вроде бы трудно и напористо, под «Не спи, вставай, кудрявая!..» шла к невиданной доселе цели, что и вменялось воспевать писателям. Но пружина внутреннего управления государством сжималась и разжималась в сложнейшем, экстремальном режиме.

Экстремальность та, понятно, «секретилась», её, часто и не без основания, «маскировали» трудовым подъёмом, действительно желанной массовой тягой к знаниям, профобучению, рационализаторству. И агитировали за это всеми средствами, особенно кинофильмами и книгами. Далеко не случайно у того же Матушкина первая книжка называлась «Изобретатели», хотя рассказа или повести под таким заголовком в сборнике не было. Позже выходила ещё одна небольшая книга — «Приключение Кости-изобретателя». Даже чисто внешне, обложечно, книги должны были агитировать за массово-творческий труд.

Рецензент Буторин тоже вроде бы честно ратует за всеобщность освобождённого труда и идейную монолитность класса. Но, с одной стороны, как ему старомодно хочется, чтобы автор не скатывался к примитивности, к чёткому разделению на «тощих» и «жирных», а с другой — ему претит «одинаковость» людей. А как счастлив он видеть в произведении молодого автора картины природы, поэтичность и образность. Боюсь, что с таким «отсталым» багажом Буторин быстро исчез из наливавшихся новой кровью-силой партотделов... Ниже я ещё вернусь к этим размышлениям, цитируя другое письмо Матушкину, отправленное из критического отдела столичного журнала «Октябрь» в сентябре уже тридцать седьмого года...

Но до ставшего горьким и для Василия Матушкина тридцать седьмого у нас ещё есть пара лет, в течение которых случились многие знаковые события в жизни сначала формально «перекованного», а потом и по-настоящему выкованного в заводской среде молодого писателя.

...Включённая в сборник «Изобретатели» повесть, а вернее всё-таки рассказ, об Иване Алёшкине, молодом сталинградском сталеваре, объявленном мировым рекордсменом по плавке, которому сам нарком Орджоникидзе подарил от имени Тяжпрома аж легковой автомобиль, действительно получила известность. Отзывы о ней, вопреки скупому на похвалы времени, начиная с первой журнальной публикации, были и впрямь чуть ли не хвалебными. Критик Ф. Раевский писал в седьмом номере журнала «Сталинград» за 1933 год: «Писатель обещает стать крупным мастером художественного слова... Любовь рабочего класса к производству передана просто, но сильно». С такими оптимистическими напутствиями, как я говорил выше, Матушкина посылают на курсы в Москву, где он получает из рук Горького писательский билет. Сим достоверным фактом Василий Семенович лет тридцать пять ни в коей мере не козырял. А на мои предложения рассказать о том поподробнее с улыбкой-вздохом отвечал так: «Да, вручил... Мне и ещё нескольким ребятам... Кандидатские билеты... Потом я ещё разок к нему как-то сумел протиснуться... Даже руку пожал...»

Вполне вероятно, что великий писатель в порядке подготовки к встрече с молодыми рабочими, авторами-ударниками, держал в руках книжку Матушкина, может, и листал её, входя в общий «курс дела». А вот Алексей Толстой рассказ «Сталевар Алеш-

кин» читал точно, о чём сказал наверняка огорошенному этим известием автору летом тридцать шестого, когда приезжал, вернее, приплывал на пароходе «Урицкий» в Сталинград для творческих встреч, а заодно и сбора дополнительных материалов в ходе работы над не сильно удавшимся романом «Хлеб». Об этом в своей книге «Символ веры» поведал Борис Дьяков, начинавший писательский путь в довоенном Сталинграде. Вот кусочек из неё.

«...Началась церемония знакомства. Алексей Николаевич спрашивал каждого литератора, что тот написал, что пишет, что замышляет писать. А Василию Матушкину сказал:

— Читал вашу повесть о сталеваре Алёшкине. Интереснейшая книга. Пишите, пишите о рабочих людях, Василий Семёнович! Неисчерпаемый родник характеров и фактов!

— Я сам рабочий. О ком же мне ещё писать! — сказал Матушкин».

Последнюю, несколько напыщенную фразу Дьяков ввернул наверняка от себя. Ибо к тому моменту Матушкин на заводе не работал уже больше года, а по тем временам это был огромный срок. Да и не стал бы он так вот «блистать» перед классиком. Допускаю, что он скорее покраснел от неожиданности...

Тем летом Матушкин уже трудился ответственным секретарём небольшого и недолго, в духе того времени, просуществовавшего крайиздатовского журнала «Социалистическая культура». Это издание было наверняка чисто теоретическим, художественные вещи в нём не печатали. И свою новую повесть «Тарас Квитко» тридцатилетний автор предложил сначала в «свой» журнал «Сталинград», а потом в новый альманах «Литературный Сталинград», созданный на базе выходившего ранее краевого «Литературного Поволжья». Но в этих изданиях повесть не появилась по причине того, что довольно быстро была издана отдельной книгой, даже в твёрдой обложке.

Писавший до того времени основные свои вещи только о заводе и его людях, Матушкин в «Тарасе» сделал небезуспешную попытку выйти за очерченный круг и поведать о судьбе сталинградского подростка уже на бытовом, уличном, скажем так, фоне. Фон тот включал и малознакомый для автора уголовный мир, и даже атеистический... Несмотря на укреплявшийся самобытный язык, повесть всё же вышла сыроватой и в сюжетно-персонажном отношении выглядела, как уже в семидесятых годах говорил мне сам Василий Семёнович, «комом». Правда, задним числом, уже в послевоенные годы, он переделывать её не хотел. Лишь в восьмидесятых у него возникла мысль включить слегка поправленную повесть в юбилейный однотомник, но неожиданно пропал единственный экземпляр той книги, писатель оставил его где-то в вагоне во время своих не прекращавшихся до самой его кончины поездок...

Я уже говорил выше, что в тридцатых годах появление в Сталинграде (за всю страну не буду говорить) нового произведения писателя являлось не просто событием, но и обязательным поводом для публичного обсуждения или, как в те времена говаривали, «дискуссии». Причём с обязательным опубликованием «резюме» после всех разборов. К тому же Матушкин после «Изобретателей» выпустил в течение двух лет очерковую книжку «Колхоз «Большевик», сборник рассказов «Хладнокровный человек», вышла также в его переводе книга рассказов писателей Калмыкии, входившей тогда в Нижне-Волжский край. С калмыками, кстати, творчески сотрудничал и ответственный секретарь, начиная с тридцать пятого года, Сталинградского отделения рождённого в 1934-м Союза писателей СССР Григорий Смольяков. В общем, Матушкин считался уже не начинающим и не «молодым» автором, тем паче с писательским билетом в кармане. Оттого-то его новая вещь в момент попала в жернова тех самых дискуссий.

Повесть «Тарас Квитко» явилась для Матушкина переломной во всех отношениях, вплоть до житейских... Если кратко говорить о художественной составляющей, то автор,

продолжая делать упор на индивидуальность, особинку и образность языка произведения, одновременно взялся «воспитывать» юного героя по, в общем-то, подсовываемым агитпропом шаблонам. Но язык всё ещё пересиливал, «скрашивал» и заслонял лобовую идеологию. Нет, Матушкин не конъюнктурил. Просто он, к тому времени вместе с молодой женой учившийся на третьем курсе вечернего факультета городского учительского института, невольно, а затем и вполне осознанно и охотно стал растить в себе педагога. И, надо сказать, успешно вырастил не только в профессиональном, но и, я бы сказал, в духовном, даже проповедническом смыслах. Что буквально через год ох как ему пригодилось в сельской железнодорожной школе...

Герой повести несуразный Тарас — ушедший из дома от родителей-рабочих, которым, ввиду беспросветности и нужды, было не до воспитания чада, и попавший в весьма тёмную среду, да ещё и во времена царского «мракобесия», — сбивается, понятно, с пути истинного, но хорошие, новые люди помогают ему встать на нужную дорогу, выйти из тюряги революционером. Вот, собственно, идеологическая «арматура» повести. И никуда уже в тридцать шестом году автор от той арматуры не мог, да и не желал деться. К тому же Матушкин стремился, повторяю, соединить неизбежную назидательность и сюжетный схематизм с хорошим языком. Желал нагружать образностью, эпитетами, красками почти каждое предложение. Нет, к сожалению, под рукой той книги, но первую строчку я запомнил: «Улица, по которой идёт Тарас, похожа на глубокий овраг». Неказисто вроде, но почему-то помнится уже лет сорок пять.

О языке его первых повестей и рассказов можно говорить много, ныне просто дивясь — как его довоенные произведения отличаются по языку от послевоенных, вплоть до середины шестидесятых. На то были свои причины, о которых я ещё скажу, а пока просто несколько цитат их разных книг.

Обермейстер электрической мастерской Фёдор Алексеев усадил свою плотную фигуру за стол, и пожилой стул сердито заскрипел под тяжестью.

«Пожилой» стул. Просто «под тяжестью». А не, допустим, под его тяжестью или тяжестью тела.

Это начало «Барабана». Помнится, прочитав, я сразу «заподозрил» здесь влияние Андрея Платонова. И не ошибся. Матушкин, по собственному признанию, в тридцатых годах и даже раньше находился не то чтобы под магией языка, а под обаянием биографии самого писателя. Книги Платонова «Река Потудань» и «Сокровенный человек», а также некоторые рассказы и публицистические статьи в журналах он прочитал в молодости с особым интересом ещё и потому, что Платонов по рабочей профессии был землеустроителем и вдобавок великолепно знал железнодорожное дело — родное с детских лет и для Матушкина. «Представляешь, — восхищённо говорил он мне, — Платонов участвовал в строительстве восьмисот небольших плотин и трёх крупных по тем временам сельских электростанций! А ещё занимался вместе с соратницей-женой осушением и орошением земель, прилично знал электродело. «Ремонт земли» — это не просто заголовок статьи, это суть его воззрений на новый мир и всю революцию».

Колочий ветер, разведчик зимы, явился в посёлке, пробежал по улицам, осмотрелся и с доносом умчался обратно. В зорях стеклились лужи, в парках лысели деревья. Их жёлтые кудри валялись на землю.

Это уже кусок из вроде бы чисто производственного рассказа «Коммутатор», написанного в тридцать втором году. А начинается-то он как! Ремонтник-наладчик Никанорыч видит в доверенной ему загрузочной цеховой машине поистине живое существо, по сути — свою сестру родную, недаром и зовет её Никаноровной.

Здорово, Никаноровна! Как дела? Плохие? Это что же такое? Ты как будто пьяная в грязи валялась! Нехорошо, всего неделя прошла, как тебя куколкой обрядили, а теперь лица не видеть.

Невольно вспоминается машинист Мальцев из рассказа Платонова «В прекрасном и яростном мире» или его коллега Петр Савельич, герой рассказа «Жена машиниста», — вот так же, на грани не многим понятного «фанатизма», ушедшие с головой в свои паровозы...

А уж описание цеховой плавки и Алёшкина с друзьями-сталеварами... Тут начнёшь цитировать и весь рассказ приведёшь. Ну попробую вовремя остановиться...

...Печь пятая полыхает жаром. Человек восемь потных рабочих с лопатами в руках извиваются у раскалённой пасти. Они хватают рычащими совками известняковый камень, магнезитовый песок и посылают в печь, подскакивая к завалочному окну так близко, что кажется — пламя уже ухватывает их. Лица напряжены, к козырькам фуражек прицеплены синие очки. Люди дерутся с пламенем печи. Иногда я слышу крик, свист, и тогда окошко закрывается, и тотчас же открывается новая пасть...

Неожиданно появилось знакомое лицо.

— Алёшкин!

Передо мной маленькая, как дубовый чурбачок, фигура Алёшкина. Он как будто только что вылез из воды, рубашка прилипла к телу, а там, где она ещё сухая, видны соляные пятна.

Это, конечно, ещё тридцать третий год. В тридцать шестом лучшего сталевара Советской России и мирового рекордсмена общепечатно называть «маленьким» да к тому ж «дубовым чурбачком» никто бы уже не позволил. А тут Алёшкин ещё простой смертный. И друг-писатель под статью ему...

Но — вернусь к подростку Тарасу. Уж и не знаю, чем он, перевоспитанный, так не угодил тогда некоему Фейгину, опубликовавшему в местной газете зимой тридцать седьмого рецензию под названием-доносом «Вредная повесть». Впрочем, подобные фейгины, почуяв тогда опасность и спасая собственные шкуры (что рецензенту удалось и он, уже в шестидесятых-семидесятых, благополучно доживал свои деньки, литераторствуя в Грузии), объявили тогда «вредной» всю писательскую организацию, настучали о «контрреволюционном заговоре среди писателей и литературных работников Сталинграда». Как следствие — в Гулаг ушли Григорий Смольяков, Михаил Дорошин. Это только те, чьи имена я знаю. Смольяков погиб в том же году... А Михаилу Федоровичу Дорошину — одному из первых среди советских поэтов воспевавшему в большой поэме несчастного мальчишку Павлика Морозова, которого в либеральные времена взялись вновь убивать в своих реваншистских писаниях жёлтоязычные некрофилы, и даже некоторые, до времени гуманные, литераторы, — достались почти двадцать лет соловецкого лагеря, сибирских поселений и подневольных строек...

... Безработным Матушкин стал в самый неподходящий житейский момент. В тридцать пятом у них с женой родилась первая дочка — смуглая, в отца Нины, терпеливая крепышка, которую в честь героини «Овода» красиво назвали Джеммой... После трудных родов (пятикилограммовый младенец!) или по ещё какой причине у Нины стал падать слух. Дальше больше, и она впоследствии уже не смогла закончить учительский институт. О слуховых аппаратах тогда простые люди и не ведали... Великий Циолковский, и тот к уху трубу, навроде граммофонной, приставлял. В общем, осталась вскоре без постоянной работы и Нина.

Теоретически в Сталинграде работы было достаточно, но, как и положено, работодатели интересовались причиной последнего увольнения. А когда узнавали, то глядели на писателя, как на чуждо-чуждого, боясь как бы самим не измазаться об его «вредность». Матушкин был в отчаянии, особенно когда его не взяли на родном заводе на несколько дней рыть какую-то траншею. Это недавнего ответственного секретаря краевого журнала!.. Ещё в конце тридцать пятого он взялся на общественных началах вести литкружок в клубе СТЗ, куда к нему ходили старшекласники, а потом рабочие и вечер-

ние студенты учительского института Михаил Луконин и Коля Турочкин (Отрада). Через год дирекция клуба пригласила писателя в штат «по совместительству», подрабатывал он до апреля тридцать седьмого. Сохранилась расчётная книжка, листки за первый квартал, где проставлена сумма месячной зарплаты в 350 рублей. Но и этой небольшой суммы он лишился как неблагонадёжный.

А тут и новая беда... Пришла из Камышина весть, что на севере по политическому делу арестовали старшего брата, уехавшего в Архангельск ещё в конце двадцатых, имевшего весьма востребованную тогда профессию радиотелеграфиста. И только в пятидесятых годах выяснилось, что «пришили» Александру Матушкину связь с иностранными специалистами, шпионаж и поставили к стенке... (В марте пятьдесят шестого в осунувшийся дом возле камышинского вокзала, где доживала свой давно уж вдовий век Евдокия Степановна, пришло письмо в казённом конверте за подписью председателя Архангельского облсуда Н. Романова о запоздалой отмене постановления тройки при Управлении НКВД по Северной области от 7 августа 1937 года и прекращении дела за отсутствием состава преступления...)

Что ж, и впрямь его беда не стала одна ходить... Положение для Василия осложнялось ещё и тем, что попробуй-ка теперь выйти сухим из соответствующей анкетной строчки о наличии «врагов народа» среди родственников...

...В начале августа того тридцать седьмого, съездив ненадолго в Камышин за продуктами и хоть малыми родительскими деньгами, Нина призналась Василию, что беременна уже три месяца... Нужно было предпринимать что-то кардинальное. А что, кроме отъезда в Камышин или хоть в Дудникино под Балашовом, где он когда-то родился и отроком любил жить у бабушки, где оставались какие-то родичи по матери, — что можно было придумать? Но и это проблематично... В Камышине что, чекистов нет? Иль «потерять» трудовую книжку?..

Нет, всё это бегство не подходило Василию ни в коей мере. Тогда он принимает два решения. Поскольку в местных газетах «дискуссия» о его повести ещё не получила никакого «резюме», то он посылает книгу в Москву, в Союз советских писателей, откуда её перешлют в отдел критики журнала «Октябрь». Но Матушкин в тот момент, конечно, не знает об этом. В письме он излагает суть дела и просит срочно прислать объективный отзыв о книге в издательство, в «Сталинградскую правду» или полуразгромленную писательскую организацию. А через неделю, собравшись с духом (или со злостью), идёт в ... НКВД. И, как я писал выше, кладёт свой писательский билет на грозный стол. Разбирайтесь. Семье жрать нечего. Сажайте, коль враг я людям. Поступок, что ни говори. Или срыв нервный.

Наверно, дежурный оперативник ещё не видал «самосдающихся» врагов, да к тому ж писателей. Решил «согласовать и сообщить». Главное — не задержал, а отослал домой, мол, вызовем, если понадобится.

Не знаю, как и кем Василий надумился, но на следующий день он подался от греха сначала в Камышин, а через пару дней, по совету отца Семёна Ивановича, в Саратов, где разыскал Отдел школ Рязано-Уральской железной дороги. Там предъявил (слава богу, не сданный чекистам вместе с писательским) билет члена Литфонда Союза ССР за номером 2469 с подписью известнейшего тогда советского писателя Всеволода Иванова, но главное — справку, что учится на вечернем факультете Сталинградского учительского института. Сказал, что желает в порядке практики поработать на какой-нибудь отдалённой станции. Да ещё и попутно собрать материал для книги о сельских учителях, беззаветно отдающих свои знания детям советских железнодорожников...

Так 10 сентября 1937 года у старшекласников школы № 37 станции Верхний Баскунчак появился новый учитель литературы и географии.

...В конце сентября Нина потихоньку засобиралась из Сталинграда в Камышин. Как жить тут, полуглухой и практически безработной? Да и как работать? Одному дитю два с половиной, другое в животе уже торкается... Жалко, конечно, ох, как жалко.... Сталинград строится не по дням, а по часам, центр его — белый, красивый, скверы чуть схвачены осенней золотой сединой... Волга — синяя, задумчивая... И с продуктами получше... И, может, слух улучшится, восстановится она в институте... Ведь почти три курса одолела... И... Да что теперь говорить...

Однажды утром нашла в почтовом ящике письмо с печатью вместо обратного адреса. Внимательно, до буковки, прочла отпечаток: «Союз Советских писателей. Правление. Москва, ул. Воровского, д. 52. Тел. № Д 2-14-42.» Торопливо вскрыла сероватый прямоугольник, вынула два листка. В одном, поменьше, сообщалось:

Уважаемый тов. Матушкин!

Пересылаю Вам рецензию т. Войтинской. Она заведует критическим отделом журнала «Октябрь». С её мнением мы согласны.

О принятии дальнейших мер — поставим Вас в известность.

Референт ССП СССР Саблин. 21 сентября 1937 г.

К сообщению прилагалась рецензия. Вот она, почти целиком:

... Матушкин написал сырую книгу «Тарас Квитко». В ней очень большое внимание уделено уголовным приключениям Тараса. Обо всём остальном говорится мимоходом. Положение рабочих, жизнь ребёнка в дореволюционной рабочей семье описывается очень серо. Совершенно непонятно, почему Тарас в тюрьме становится революционером, почему главными героями повести являются уголовники. В книге нет запоминающегося героя или волнующей ситуации. В таком виде рукопись нельзя было отдавать в печать.

Редактор И. Кравченко должен был заставить автора ещё поработать над повестью. Вместо этого Сталинградское издательство выпускает недоработанную книгу, а некий М. Фейгин вместо помощи автору занялся его политическим шельмованием. Он, попутно занимаясь домыслами, почему-то сравнил «Тараса Квитко» с романом Островского и объявил, что Матушкин написал вредную книгу. Рецензия Фейгина написана плохо, хотя это не является поводом для защиты книги Матушкина.

О. Войтинская

Замечу, попутно и вкратце, как эта строго-отрывистая рецензия не походила на товарищеское письмо Виктора Буторина, которое я приводил выше. Ни слова о языке, о пейзажах, об образности. Главное — идеологическая составляющая. Впрочем, Войтинская и рассматривала повесть только под этим, очень нужным в тот момент для Матушкина углом. И сделала главное: дала отпор доносу Фейгина, чем и спасла провинциального автора от вполне возможной расправы, пусть тот и уехал, как казалось, далеко от сталинградского чекистского дома, расположенного тогда над Волгой, в районе, где ныне Музей-панорама «Сталинградская битва».

Нина в тот же день написала два письма, одно — в Москву референту Саблину, где указала новый адрес мужа, другое — Василию в Верхний Баскунчак. Среди «принятия дальнейших мер», о котором писал Саблин, было и то самое «резюме»: вскоре в сталинградской печати появилось сообщение, что «дискуссию» по новой книге Матушкина можно считать законченной. И не в пользу Фейгина. Клеймо с повести было снято. Через неделю в Малую Францию пришло письмо и денежный перевод от Василия. Он настоятельно советовал жене ехать в Камышин, ибо ей там при матери будет спокой-

ней жить и рожать, чем в глухом Баскунчаке. Написал также, что он решил, согласно договору, доработать этот учебный год. Мол, на Новый год или после родов твоих примчусь, конечно, на пару дней, но доработать надо обязательно. Ибо, одно дело, расторгать договор нельзя — что о нём, писателе, люди и дети подумают? А второе — учить ребятшек некому...

...О войне он не любил рассказывать. Не помню, чтобы, допустим, уже в шестидесятых-семидесятых, когда на книжные прилавки и экраны буквально хлынул «военный» поток, он охотно комментировал новые произведения о войне. В том числе доселе непривычный, скажем так, взгляд на неё в книгах Константина Воробьева, Григория Бакланова, Евгения Носова. Особо не трогали его и широко известные эпопеи Константина Симонова или Александра Чакковского. Даже когда у него самого в шестьдесят шестом в журнале «Октябрь» впервые была напечатана повесть тоже о военном времени — и, казалось бы, пришла пора и ему «разговориться» хотя бы на семейном уровне, — нет, не было такого. Вытянуть из него хоть что-то стоило большого труда. Иногда, правда, он вдруг сам неожиданно вспоминал какие-то эпизоды.

Собирается, к примеру, дочка блины печь, возится с мукой, шурудит-взбивает тесто в чашке. Он глядит-глядит и... « Нам... месяца полтора... зимой уж... в декабре... тоже муку давали... Ржаную только... В пакетиках ... Индивидуально в руки... Ешь как хошь. Котелков, и тех у каждого не было, в банках или ещё как наболтаем и варим... Тут костерок, там... Большие-то боже упаси разводять... Прилетит снаряд или мина на закуску... Да и маленькие... Я, к примеру, развожу, а кто-нибудь прикрывает костерок, дым размахивает...»

«Да что ж, никакой кухни не было, что ли?»

«Я за всю армию не знаю, но у нас тогда... в конце самом сорок первого... случилось, что подолгу и не было... Разобьют её, кухню, и всё... Другую, что ль, наутро пришлют?..»

«И что, только болтанкой ржаной и питались?»

«Один день болтанкой... В другой, глядишь, в каком-нибудь селе сгоревшем картошки немного найдём... И то мёрзлой... Прямо так и говорили, что вот вам завтрак, а обед — трофейный...»

«Ну хоть сто грамм-то наркомовских?..»

«Ага... двести... Это уж потом... Я... в первый заход... не захватил, не успел и разок остограмниться... Правда, спирта на меня в санбате не меньше пол-литры, наверно, потратили... Срезали одежонку провшивленную... Обтёрли всего... Потом без наркоза кость раздробленную вынимали... Я только через неделю в саншелоне вспомнил, что у меня накануне ранения день рождения был... прошёл... Тридцать шесть годков стукнуло...»

Тут он умолкал...



1943 г. Действующая армия

Войну он разделял на два собственных «захода». Рассказывать я о том сам не буду, а приведу запись, которую Василий Семенович сделал уже в восьмидесятых, не знаю, по какому поводу. Остался в архиве листочек с десятком строк.

«...На войну я был призван 12 сентября 1941 года. Из Саломатино, где работал учителем. Наш 1169-й стрелковый полк формировался и обучался под Астраханью. Был назначен командиром отделения взвода пешей разведки. Первое наступление начали на Изюм-Барвенковском направлении, восточнее Харькова. Форсировали Северский Донец и освободили село Богородицкое. За полтора месяца освободили ещё ряд других населённых пунктов. 19 февраля 1942 года был тяжело ранен в бою за село Шаврово. Слепое осколочное ранение левого предплечья. Находился на излечении в эвакуогоспитале 3262 в Астрахани. В мае комиссовали с переосвидетельствованием через 6 месяцев. В этот период жил и работал в Камышине. Снова призвали в январе 1943 года, зачислили в 7-й отдельный учебный автополк сначала курсантом, а затем назначили помощником командира взвода. В марте 1945-го вступил в партию, а демобилизовался 20 октября того же года».

Уйдя на войну, оставив в камышинском домишке жену с тремя малыми дочками, младшей из которых чуть перевалило за годик, родным он смог послать весточку только из госпиталя. Как ни хотела Нина не расстраивать раненого мужа, но некуда было деваться в ответном письме от горестных известий. И первым было то, что через две недели после его ухода на фронт заболела корью и воспалением лёгких их младшенькая, Галочка. Пошла Нина в госпиталь, чтоб хоть чем помогли. Дали таблетки какие-то... А 29 сентября умерла малышка... В августе сорок шестого в память о ней назовут Нина и Василий очередную родившуюся дочь Галей...

Помню, я как-то спросил Василия Семеновича — писал ли он что-то в те полгода, которые провел в прифронтовом Камышине. «Нет, не писал, — скупо ответил он. Потом, помолчав, неожиданно разговорился. — Каждый день думал, как накормить семью, работал... Но с одной, считай, рукой много не наработаешь... Хорошо, что брат устроил на мясокомбинат учётиком... Лёня в бухгалтерии там работал, по годам на фронт не взяли его... Но это ныне — мясокомбинат, значит, шматок за пазухой утащить можно... А тогда за это десять лет давали. Законы военного времени... Да и люди другие были... Правда, ударникам кости выдавали, килограмм по пять в конце недели... Хотя какой конец недели, когда без выходных почти работали. Но я на комбинате, слава богу, бесплатно обедал, а домой — кости те несусь: Леня половину своей ежедневной управленческой пайки нам отдавал. Наварим бульона, а хлеба нет, хоть Нина Фёдоровна, тёща твоя будущая, на мельнице работала... А моя тёща в том ещё сентябре сорок первого, перед тем как Галочке помереть, позвоночник сломала... Пошла в дальний овраг за глиной, кухню в зиму обмазать хотела, а тут дождь, скользко... Пластом с тех пор около года лежала... Пока я по школам перед войной работал, Нина у неё жила, и я, комиссованный, туда ж приехал. В Старый город, на Колёсную... В нашем, в отцовском доме не поместишься — мать там крутилась с большим отцом, и семьи братьев старших там же, ребяташек куча... Вскорости, в конце сорок второго, отец умер... А ты говоришь, писал ли?»

...Писать я начал потихоньку только в самом конце сорок пятого... В газету камышинскую устроился, в «Ленинское знамя», литсотрудником... Начал, кроме статей, вспоминать про художественную прозу. Правда, до войны немного писал в Морозовской, где два учебных года провёл после Баскунчака... Хоть и сняли вроде с меня в НКВД тогда обвинения, но в Сталинграде я не рискнул оставаться. В июле тридцать восьмого приехал, даже с месяц поработал в «Молодом ленинце» очеркистом... Луконин там как раз тоже работал... Но уже в Москву активно собирался, в литинститут переводился. В общем,

не остался я... Хотя с приездом нового первого секретаря обкома и горкома Чуянова политическая обстановка в Сталинграде вроде бы выравнивалась... Но я всё равно перевёлся в Морозовскую. В первый год и семью забирал туда. Даже роман об учителях начал писать, несколько глав набросал... Но в начале войны тут, в Камышине, все рукописи порастерялись...»

С лихвой познав в первый свой «заход» кровавое лицо и нутро войны, её беспощадный натурализм, Матушкин как писатель в дальнейшем оказался перед нелёгким выбором. В очерке о Михаиле Лобачеве, напечатанном в 2006 году в «Отчем крае», я отмечал, что многие наши писатели, особенно те, кто имел педагогическое образование и перед войной учительствовал, считали литературное творчество, в первую голову, заочным воспитательным и просвещенческим диалогом с подрастающим поколением. И старались в своих произведениях создавать примеры для подражания. Эта доминанта и тормозила, я думаю, желание Матушкина писать войну, что говорится, с натуры. С другой стороны, что-то выдумывать, сотворять этикие «собираТЕЛЬНЫЕ» образы он тоже не хотел, памятуя о том, что сам вживе видел и пережил на войне. Типовое «героичество» (это его словцо) тогда претило ему, о чём он мне не раз говорил.

Конечно, в подённой газетной работе, начавшейся для него осенью сорок пятого, в статьях и рассказах для той же газеты нередко появлялись « типовые » для литературы того времени фронтовики, вернувшиеся преимущественно в свои колхозы. Но на этом вся война на страницах тех его рассказов обычно и кончалась. Писать чисто военные вещи, и вообще подробно вспоминать на людях войну, с чего я и начал этот разговор, он не торопился до середины шестидесятых. Не конъюнктурил, не выводил желанные для агитпропа образы, а сосредоточился на очень обычных людях, что подымали из разрухи послевоенное село.

Но — куда учителю деваться? — писал он тогда как бы преимущественно для детей старшего школьного возраста, то есть оптимистично и светло. Да и время писать о послевоенном селе в стиле, допустим, известнейшего фильма «Председатель» ещё не подошло. Тот же нагибинский Егор Трубников явился к читателю только в шестидесятых, когда и сам Матушкин начал писать по-иному: сначала повесть «На высоком берегу» — о безвестном фронтовике, потерявшем на войне руки и ноги. А потом и лучшую свою вещь — о девушке-почтальонке, у которой сердце разрывалось от похоронок, но надо было работать, кормить, без отца-матери, своих младших сестрёнок и братишек. А уж повстречав в Рязани героя из героев — Бориса Ковзана, единственного в мире аса, в свои девятнадцать-двадцать четырежды таранившего фашистские самолёты и оставшегося после этого в живых, уж тут-то он справедливо взял в своей пьесе о нём возвышенную патристическую ноту. Мол, попробуйте-ка обвинить меня в какой-нибудь «лакировке», отстранённом от жизни соцреализме или агитпропе. Вот он герой — живой, после спектакля под гром аплодисментов скромно выходящий на сцену.

Как он, навсегда оставшийся в душе сельским учителем словесности, радовался, когда в театр на этот и другие спектакли по его пьесам приходили старшеклассники! Наверняка вспоминал своих учеников с довоенной станции Морозовской, особенно свой класс, где был руководителем, из которого все вышли, как говорится, в люди.

Уже в семидесятых он узнал о том, что его ученик Володя Киселев был во время Сталинградской битвы командиром зенитной батареи, что в тяжком октябре сорок второго за кровопролитнейшие бои на севере Сталинграда он был награжден орденом боевого Красного Знамени. А Мамаев курган как раз в те дни в очередной раз штурмовал вместе со своим стрелковым взводом родимецевец Коля Кузнецов, тоже его

ученик. И остановила отчаянного двадцатилетнего сержанта только вражеская пулеметная очередь, прошившая обе ноги. После войны Володя Киселев учился в ленинградском вузе, работал на Сталгрэсе, назначался, как сейчас говорят, вице-мэром Сталинграда, а потом возглавлял крупные нефтегазовые строительные тресты в нашей области, на Ямале, в Монголии. Известным в Донбассе рабочим-шахтёром, а потом и начальником шахты стал бывший воин знаменитой 13-й гвардейской дивизии Николай Кузнецов.

В семьдесят пятом Николай Михайлович прислал из своего городка Жёлтые Воды Матушкину в Рязань очередное письмо, приглашал на 30-летие Победы в Волгоград. Писал старому учителю и известному писателю, что на Мамаевом кургане, у статуи «Стоять насмерть» решили встретиться морозовские одноклассники: генерал Борис Засядкин, комбриг погранвойск генерал Леонид Тараниченко, полковник Александр Семенцов, другие «ребята». И, конечно, любимица класса, ставшая заслуженным учителем России, директор волгоградской девятой школы Татьяна Филатова. Татьяна Аполлоновна была директором «девятки» и в годы моей учёбы. Мы с ней много лет жили в одном дворе. Позвонила она нам с женой однажды, попросила зайти и вручила мне полдюжины документальных и краеведческих книг своего друга и морозовского одноклассника, известного ростовского писателя и журналиста Владимира Моложавенко — ещё одного ученика Матушкина...

Но я забежал далеко вперёд. Скажу только в завершение этого разговора, что встреча на Мамаевом кургане состоялась. Лично видел, сколько редкой радости и тёплой гордости за своих воспитанников испытал тогда Василий Семёнович. А позже, после всех салютов и встреч, размышляя где-нибудь в своём рязанском кабинетике, украшенном берёзовыми ветками и чурбачками, над прожитыми годами и написанными книгами, — он, может быть, в очередной раз убеждался самой жизнью, что та литература, которую принято называть соцреалистической, коей и сам отдал почти всю жизнь, помогала растить и духовно воспитывать тех самых настоящих людей, воистину патриотов Родины. Вот они, стоят перед глазами. И около давней железнодорожной школы, и на главной высоте России. И что вразумительного скажут на это нынешние, изрядно «размытые» в гражданственном отношении «демократствующие» литературные критики и упорно «солженицынствующие» писатели?..

...Выше я говорил, что, начав в конце сорок пятого работать в камышинской газете, Матушкин стал после долгого пятилетнего перерыва потихоньку писать прозу. Но «потихоньку» не вышло. Стала художественная чаша перетягивать журналистскую. Днём в газету кропал, по району ездил, а вечером, а то и ночью — с головой в писательские тетради. Конечно, некоторые рассказы и в газету шли, но он, почуяв давний вкус к слову, решил делать книгу, взялся за повесть для детей, пробовал хоть что-то восстановить по памяти из пропавших глав несостоявшегося романа об учителях. И в какой-то момент почувствовал явную усталость, перенапряжение от подобной, почти круглосуточной, работы с пером в руке. Точнее сказать — вечером и ночью старался работать над каждым словом и фразой по-писательски, а с утра до вечера — нередко гнал в редакции весьма серые, как бы унифицированные, строчки. Надо было что-то предпринимать.

И он недолго думая решил пойти в августе сорок седьмого воспитателем в городское ремесленное училище № 3 для сирот войны. Мол, отдежурю — и за писательский стол. Но в училище сразу сообразили, что к ним пришёл опытный преподаватель да ещё и писатель. Пришлось опять стать учителем в этой местной «Республике ШКИД». Тем не менее времени для писательского труда оставалось поболее. Это помогало ему и

лишний раз съездить в Сталинград, где в сорок восьмом уже стал выходить альманах «Литературный Сталинград», да и до возрождения писательской организации оставался всего год. И как многолетняя заноза в сердце — неотступно свербила мысль о восстановлении в Союзе писателей...

Капельку забегая вперёд, скажу, что восстановиться, вернуть творческий стаж с тридцать пятого года официально ему так и не удалось. В октябре пятьдесят первого пришлось формально вступать заново кандидатом, но довольно быстро, первого января следующего года, он получает и «полноценный» писательский билет. И то слава Богу... Времена-то совсем ещё не оттепельные... Но, кроме моральной помощи Михаила Луконина, в багаже к тому времени были две вышедших кряду, в сорок девятом и пятидесятом годах, книжки рассказов, редактором которых был поэт Юрий Окунев. Уже в семидесятых Юрий Абрамович рассказывал мне, соседу по дому, что именно тот период «подружил его с горемычным Васей Матушкиным на всю жизнь».

После выхода второй послевоенной книжки (а в целом седьмой) Василий Семёнович вообще переезжает в Сталинград, снимает комнатушку. Начинает печатать очерки в «Сталинградской правде», затем становится собственным корреспондентом всесоюзной «Учительской газеты» по Сталинградской области и Северному Кавказу. Братья-писатели из сталинградской организации на общем собрании на всякий случай снова рекомендуют его в союзписательские ряды, отсылают в Москву соответствующие документы. Практически он, писатель и собкор авторитетной газеты, получает право на предоставление отдельной квартиры для семьи... Надо ли говорить, что у него не только открывается второе писательское дыхание, а просто вырастают крылья... Да ещё и после получения кандидатского писательского билета за подписью секретаря правления Союза писателей СССР Алексея Суркова, к которому ему однажды удалось попасть на приём, когда приезжал в Москву в начале пятьдесят первого по делам газеты. И получить сдержанную, но поддержку.

...В конце августа пятьдесят первого года в доме № 8 по улице Мира, в двухкомнатной и двухбалконной квартире с видом на драмтеатр, праздновали простецкое новоселье. И то сказать — ни мебели ещё толком, ни посуды особой... Несколько стульев-табуреток, и те у соседней пришлось на вечерок взять. Из писателей в гостях были Михаил Лобачёв, Юрий Окунев и Николай Мизин с женой, а также его старый знакомый по ещё довоенному Сталинграду заводской поэт Виталий Балабин. Зашёл и журналист Семён Ананко, тоже готовивший тогда почву для переезда из Камышина в Сталинград.

Печка в кухне новой квартиры была еще не газовая, а дровяная, но с духовкой. Потому на столе пироги с яблоками-капусткой вкусно пахли. А уж рыбы — сазанов и даже осетринки — нажарила Нина вдосталь и, представьте, тарелку с горкой вполне доступной тогда народным массам чёрной икры на стол выставила... Как вспоминала тёща, на всех выпили бутылку лёгкого винца и всего одну с лишком бутылку водки, вторую вовсе не допили. Ныне это кажется неправдоподобным, но так было. Да и кому пить-то? Окунев с Мизиным вообще почти непьющие, Лобачёв как ответственный секретарь писательской организации всегда в строгости себя держал, на подобных мероприятиях особо не засиживался, тем паче в сталинские времена. Балабин с Матушкиным при посильной помощи тихого и тактичного Ананко в основном и прикладывались к веселящей «Столичной»... Но не только ели-пили, но и спорили, говорили о вышедших и будущих книгах, об очередном номере альманаха, о Волго-Доне и городских новостройках, искренне веселились и пели...

А во дворе играли, знакомились с детьми соседней или забегали в квартиру, сняв с балкона на балкон, три его доченьки: шестнадцатилетняя Джемма, тринадцатилетняя Валюшка и пятилетняя Галочка. Наверняка это был один из самых счастливых дней в его жизни...

Привет, родные!

Вот уже двое суток мчит скорый от Саратова. Миновали Аральское море. Только десятого утром буду в Алма-Ате. Кругом голодная, совершенно сухая степь. Видна Сыр-Дарья в соляных белых берегах. Наверно, казахи живут бедно. Но дышится легче.

Отец. 8 октября 1957 г.

Открытку с таким посланием Матушкин бросил с дороги. Нет, он не ехал в соседний Казахстан в командировку. Как я писал выше, после нескольких вполне благополучных и плодотворных лет жизни в Сталинграде он вдруг заболевает астмой. Врачи советуют искать другой климат, и, выйдя из больницы, писатель едет «на разведку» сначала в ближний Саратов, где астма не отступила, а затем в дальнюю Алма-Ату. Сейчас вот случись такое с каким-либо нашим литератором (дай Бог всем здоровья), и куда поедешь, где и кому «чужие» писатели нужны? А в «тоталитарно-соцреалистические» советские времена и в республиках, вполне братских, русских авторов и переводчиков на русский язык очень даже привечали, и по России немало новых писательских организаций учреждалось.

Поначалу в Алма-Ате и вправду «дышалось легче» во всех отношениях. В главной местной газете с ходу печатают два его рассказа, выписывают досрочно гонорар, устраивают в гостиницу. Знакомится он с казахскими писателями, рассказывает им о своих довоенных переводах с калмыцкого. Но к концу осени — вновь обострение болезни... Один опытный врач советует ехать в Подмоскovie.

По пути в Рязань, глядя на бесконечные степи, к северу уже заснеженные, Василий Семёнович наверняка вспоминал то время, когда, работая собкором «Сталинградской правды» по Палласовскому, Старополтавскому, Иловатскому, а потом Сарпинскому и Калачёвскому районам, писал о чабанах, степняках, старых и новых посёлках, бывал на целине. Его книга «Знакомые из Орловки», вышедшая в пятьдесят шестом, и состояла из художественных рассказов, навеянных теми журналистскими дорогами. Выходили и другие книги, как правило — с простецки-светлыми, как погожий сельский денёк, названиями: «Навстречу солнцу», «Солдатский котелок», «Твои товарищи». А несостоявшийся роман о сельских учителях стал повестью для юношества «В одном классе»...

И вот, в который раз, снова пришлось отрывать от сердца сталинградскую и камышинскую землю. Начинать жить заново в пятьдесят с лишком лет...

Я не намерен подробно описывать рязанский период его жизни. Задача моя была другая, сталинградская. И я, как мог, выполнил её. Скажу только, что из тридцати лет, прожитых в Рязани, двадцать пять были счастливыми в творческом и общественном отношении. Спасибо казахскому врачу, угадал он климат. А уж литературный «климат» зависит, прежде всего, от самого писателя. И Матушкин с первых тех дней взялся за привычное дело: стал ездить по Рязанщине, писать и писать о её людях: доярках, водителях, механизаторах, председателях, фронтовиках и, конечно, об учителях. Помню, к его семидесятилетию журналисты «Приокской правды» подарили ему просто неподъёмный альбом, по страницам которого расклеили десятки его публикаций, преимущественно добротных очерков (подобные альбомы, чуть поменьше, вполне могли бы при желании составить журналы «Крестьянка» и «Работница», не говоря о «Сталинградской правде»). Надо ли говорить, что газетно-очерковая работа в который раз помогла ему встречать героев художественных книг, что говорится, в пути.

Вот и Любашу, героиню самой известной повести своей, встретил он на ферме добротного касимовского хозяйства. Для начала написал о взрослой женщине, телятнице Надежде Ларионовой. Набрал вроде достаточно материала для очередного очерка. Так бы и уехал, да сподобил Бог поподробнее разговориться с Героиней Соцтруда

о детстве её, о войне... После публикации очерка ещё пару раз приезжал в совхоз «Касимовский». Запал в душу рассказ деревенской женщины о мытарствах во время войны, когда на её четырнадцатилетние плечики после смерти матери навалилась забота о четырёх младших братишках и сестрёнках. И всех она к приходу отца с войны высмотрела, выдюжила. Конечно, с помощью людей добрых, каковых, что ни говори, всегда поболее злых, особенно в лихолетье, когда люди теснее друг к дружке жмутся...

Выше я говорил, что к середине шестидесятых Василий Семёнович стал явно возвращаться в художественном отношении в свою далёкую молодость. Язык его «Любаши» уже не тот, что в рассказах первых послевоенных лет. Он, безусловно, образнее, свежее, мелодичнее. Причём Матушкин явно рисковал, ведь писал он о тяжких годах и нелёгких ситуациях. И вроде требовались иногда очень даже тёмные краски. Парадокс, но даже отрицательных героев, грязноватых на руку людей он выводил «на чистую воду» чистым языком. В том смысле, что одновременно давал рядом образы добрые, общинные, сердечные. Правда, одна известная московская критикесса поморщилась в своей статье, посетовала, что уж слишком празднично описывает Матушкин, например, сцену, когда продрогшие дети — «егорята» разжигают зимой в избе русскую печь. Что поделывать, ежели критикесса всю жизнь у готовых батарей да вычурных каминов грелась... И подобных праздников, настоящего тепла отродясь не знавала. Вот и молчала б про печь-то русскую. Да как же молчать, как же не плюнуть в колодезь?..

Приведу всё ж хоть десяток строк из самого начала повести, дабы не быть голословным.

Любаша вертелась перед зеркалом, что висело в узком бревенчатом простенке меж окон. Когда-то соседи, жившие в лучших избах и богаче, порой забегали к Егоровым оглядеть себя. Но с годами рама обморщилась, а лучистое диво затянула ржавая муть. Только и осталось в середине ясное озерцо на два-три черпачка.

... В избу забежала Варя, сестрёнка, чуть пониже старшей. Чернявая, с бледным, без малой кровинки, лицом. И вся угловатая, словно из прутиков сделанная. Она копала картошку, и растопыренные руки у неё были в чернозёме, как в лохматых перчатках.

Васятка, самый младший в семье, лобастый и всегда взъерошенный, догадался: Варя пить хочет, к ведру пригнулась. Подскочил, кружкой зачерпнул студёной воды, торопливо крикнул:

— Давай я тебе в рот лить буду!

Трёхмиллионный тираж «Роман-газеты» принёс писателю несколько сотен писем. Особенно Матушкин гордился тем, что пронял даже одного то ли английского, то ли французского графа Ф. де Кёрзона, который писал ему: «...Я бы сказал, что Любаша олицетворяет ваш народ с его спокойствием, преданностью и мужеством перед лицом тяжёлых испытаний». Получил он тогда отзыв и от известного канадского писателя Дайсона Картера, который, кстати, в семидесятых был гостем волгоградцев. А повесть он прочитал в распространяемом тогда по всему миру журнале «Советская литература», выходившем на английском, немецком, испанском и ещё нескольких европейских языках. Помнится, в телепередаче рассказывала о «Любаше» замечательная актриса, народная артистка России Римма Маркова, которая играла одну из главных ролей в художественном фильме, снятом по повести на киевской киностудии имени Александра Довженко в конце семидесятых и ставшем лауреатом XII Всесоюзного кинофестиваля в Ашхабаде. Перевели повесть и на джоже ныне самостийный украинский, выпустили в Киеве отдельной книгой, ласково называли русскую девочку Любонькой...

Ещё до публикации в «Роман-газете», когда повесть впервые появилась в апрельском номере столичного ежемесячного литературного журнала «Октябрь» за 1966 год,

Справа налево: Василий Матушкин, Михаил Луконин и Валентин Леднёв. Волгоградский Дом литераторов. 1975 г.
Фото Николая Антимонов



состоялась премьера «Любаши» и в Волгограде. В пушкинский день шестого июня в городе появились афиши, приглашавшие волгоградцев к семи вечера в областную библиотеку имени Горького, работавшую тогда в здании, где ныне располагается медуниверситет. Приехавший из Рязани на родину Василий Семёнович выглядел внешне отнюдь не «на белом коне», подобное состояние было скорее внутренним. Он скромно смущался, задумчиво глядел в переполненный зал, где почти не было его коллег-писателей... Юрий Окунев, Павел Сергеев... Вёл вечер тогдашний ответственный секретарь писательской организации Владимир Матвеевич Костин.

Шла та «презентация» часа два с половиной, в духе времени, когда литература была народу нужней колготок и колбасы... Читатели, отдав должное «Любаше», переходили на другие «свежие» произведения волгоградских и советских писателей, читали стихи, в том числе и собственного сочинения... Одна девушка, помнится, просила Матушкина написать продолжение повести — о «егорях», ставших взрослыми. На что Костин сказал, что это может испортить ёмкое и цельное произведение, искусственно вытянуть его в шаблонный роман. Так думал и автор. Как в воду глядел Окунев, предложивший Матушкину написать сценарий кинофильма. Правда, он советовал другу «взять в Москве за руки двух сталинградцев: бывшего редактора «Сталинградской правды» и тогдашнего председателя Госкино РСФСР Александра Гавриловича Филиппова, хорошо знавшего Матушкина по работе в газете, и недавнего актёра нашего драмтеатра, народного артиста России Ивана Герасимовича Лапикова» — и идти с ними на «Мосфильм». Из Лапикова, мол, получится великолепный председатель колхоза-горемыки Флеган Акимыч, а на роль Любаши надо обязательно взять незнакомую девушку откуда-нибудь из камышинской самодеятельности... Получилось несколько иначе, но фильм состоялся, о чём я только что поведал выше. В формате «ретро» его уже в новом веке показывали по Центральному телевидению.

Но не в том задача моя, чтобы перечислять успехи писателя, пьесы, шедшие сотни раз на многих сценах, новые книги, ордена да медали. Не хочу кидать камни в тех рязанских литераторов, кто после солженицынского исключения из Союза писателей на собраниях, где волею судьбы Матушкину пришлось возглавлять группу местных авторов, — начали многолетнюю травлю человека, кто только и делал, что помогал им обретать членские билеты, квартиры, выпускать книги. Многие из них уже, как говорится, предстали пред Господом, и Он им судия...

Замечу, правда, что уж на что был зол на Матушкина сам Солженицын — вольно или невольно сажавший Россию на мель «бакенщик Исаич» (Е. Маркин). Уж как ни презренно расписывал он в безразмерно-подготовных мемуарах «Бодался телёнок с дубом»

своё предрешиённое аж на Политбюро и совершенно не зависевшее от «пятерых рязанских мужиков», коих удалось собрать, исключение из отнюдь не монолитных союзписательских рядов, — и тот, давая портрет недруга, скрепя сердце написал: «...Сидит на подоконнике Василий Матушкин — благообразный такой, круглолицый, доброе русское лицо. Он-то в дни хрущёвского бума сам и нашёл меня, сам приносил мне заполнять анкеты в СП, так радовался «Ивану Денисовичу». (Новый мир. 1991. № 7. С. 117). А в телепередаче в честь собственного восьмидесятилетия в декабре девяносто восьмого, забыв на минутку язвительность, добавил еще: «Ни дать ни взять — деревенский ба-тюшка...»

Дам, приближаясь к устью, несколько бытовых, семейных, даже весёлых моментов, а то слишком уж сложно да грустно получается. В Рязани он жил с двумя дочками. По приезде в Рязань двадцатилетняя Валя пошла работать на завод счётно-аналитических машин токарем, потом была до самой пенсии мастером, даже орден заработала, наряду с тромбифлебитом... Это тоже характеристика писателю, совершенно не занимавшемуся, может, даже излишне совершенно, устройством дочерей в какие-то благополучные и тёплые места. Добавлю в связи с этим, что старшая его дочь Джемма после пединститута поехала в село, несколько лет преподавала русский язык и литературу в Логу, в Сиротино на Дону, а потом лет двадцать в камышинской школе.

Будущая жёнушка моя Галина заканчивала в Рязани среднюю школу, а потом уехала к маме в Волгоград. Ибо степнячке Нине Фёдоровне, в свою очередь, совершенно не подходил влажный подмосковный климат, она переставала слышать даже в слуховом аппарате. Пожив с год на дождливой и холодноватой Оке, она, вздохнув, уехала на солнечную и жаркую Волгу. В общем, так вот жили Матушкины — меж Рязанью и Сталинградом—Волгоградом.

Валя смотрела за отцом хорошо, сокрушаясь иногда его привыканию к определенным вещам. Он мог год проходить в одном и том же костюме, целую пятилетку в одной шапке, совершенно не замечая этого. Галстук надеть на него было равносильно удавке... Но дочка всё ж старалась как-то разнообразить гардероб отца. Однажды купила ему богатую меховую шапку и уговорила надеть взамен хронической кроличьей. Надел и пошёл в театр на спектакль по своей пьесе. После представления спустился к вешалке, гардеробщица подаёт ему пальто и, понятно, новую шапку. А он, абсолютно забыв про обновку, удивляется: «Что вы, это не моя!». Гардеробщица растерялась, отнесла богатый убор на полку: может, перепутала чего? Рядом чья-то кроличья шапка лежит. «Может, это ваша, Василий Семенович?» «Да, да, вроде моя». Надел и домой. Представляю, какое выражение лица у Вали было, когда она увидела на голове отца прежнего примятого чёрного «кролика»...

Он был неутомимым путником. Причём оставаться на месте больше трёх-четырёх дней он без особой нужды просто не мог. Из домов творчества уезжал через неделю, хотя срок отмеривался тогда в двадцать четыре дня. Лишь за год до смерти он пробыл в ялтинском писательском доме творчества три недели. И то благодаря тому, что подружился с известным поэтом, мудрецом и балагуром, автором «Соловьёв» Михаилом Дудиным, с которым ежедневно проводил часа четыре и который на прощанье сам вырезал ему крепкую кизилковую палку-трость с кудрявым корневым набалдашником. Но Василий Семёнович, бедный, и её забыл в поезде...

Лет пять я старался затащить его в крымский Коктебель, благо там ещё здравствовали мои тётушки, так что отдельная комната и доброе домашнее питание были обеспечены. Наконец, он согласился, приехали мы. Раза два искупался он в море, осмотрел волошинский особняк, походил часок по тенистой территории писательского парка. Съездили, тоже на часок, в соседнюю Щебетовку. Через три дня: «Ну что ж, хорошо...

Но надо ехать...». И ведь уехал на следующий день! Даже забыв свой очередной «хронический», в синеватую клетку, пиджак, который я вложил в торбу, пересыпал орешками миндаля и выслал посылкой в Рязань...

В общем-то, такое поведение отнюдь не было чудачеством. Прочитую из его записной книжки:

Труд писателя — это непрерывные родовые муки. Мысли просятся на бумагу, но выложенные на лист, они теряют свою привлекательность... Писатель начинает мять слова, шлифовать, ковать, вновь и вновь бросать в огонь, опять вынимать, обливаясь потом... Истинный момент — не когда он бросает работу над фразой, когда она становится дельной, а когда он полностью обессилевает и уже не может больше ничего сделать. Тогда он откладывает лист и посылает рукопись в набор. И, как правило, он до такой степени не доволен сделанным, что не в силах на первых порах прочитать изданную книгу».

Вот и Василий Матушкин находился в тех постоянных «родовых муках». И надо ли объяснять, почему писатель нередко, а то и постоянно задумчив, где-то «витает», забывая про шапки и пиджаки... Хорошо сказал, по-моему, Мопассан: «Если бы жена писателя знала, что он пишет даже тогда, когда смотрит в окно».

Завершая свои раздумья о судьбе и литературном труде Василия Семёновича Матушкина, я повторю то, с чего начал эту нелёгкую повесть. Где бы ни бывал и ни жил, — всю жизнь он считал себя сталинградцем, камышанином. И оставался таковым до самой кончины своей. И не красное это словцо, а немного горькие слова... Как и жизнь всякого человека.

Уже в новом веке в Камышине на старом здании бывшей семилетней школы, что стоит на улице Верхней, 49, появилась мемориальная доска:

Здесь с 1913 по 1919 годы учился известный писатель Василий Семенович Матушкин (1906—1988).

А рядышком ещё одна:

В этой школе в первые годы Советской власти работала учительницей Татьяна Тихоновна Торгашова. Казнена белогвардейцами в августе 1919 года.

Издали глянешь: два белёсых прямоугольничка на краснокирпичной стене — словно два белых крыла неведомой птицы, улетающей в вечернюю зарю... Или прилетающей из утренней...

...Напоследок один его афоризм: «Долгожитель не тот, кто долго тащится по жизни, а тот, кто долго живёт в памяти своего народа».

Повесть Василия Матушкина «Любаша» будет опубликована в очередных номерах журнала «Отчий край».

Первые стихи Евгения СОННОВА появились в волгоградской печати в середине шестидесятых годов, когда автор работал слесарем, а затем котельщиком завода имени Петрова и заочно учился на литфаке пединститута. Трудился в заводской многотиражке, вокруг которой тогда собралась крепкая группа рабочих поэтов. Первая книжка его стихов «Открытая ладонь» вышла в московском издательстве «Современник» в 1983 году. Ныне Евгений Соннов член Союза писателей России, автор пятнадцати поэтических книг, половина из которых произведения для детей. Родившийся в 1940 году в хуторе Шебалик Ростовской области, он опубликовал книгу рассказов о детстве и родных краях. В нынешнем году Е. А. Соннов отметил свое 75-летие. Поздравляя Евгения Александровича с юбилеем, «Отчий край» публикует его стихи разных лет.



ПОЭЗИЯ

Евгений СОННОВ

«До сладкого крика души...»

Слесарка

Обед — пора глагольных схваток.
Не снедью вызван блеск в глазах:
Без всяких допусков-посадок
Слесарка спорит о стихах.
Многотиражная известность
Моих замурзанных коллег
Идёт в изящную словесность
Самозабвенно, как в набег.
Порой их обращает вспять
Высокомерный взгляд поэзии.
Но каждый знает толк в железе и...
В искусстве тоже должно знать!
Вновь чертежей шуршат листы,
Опять гремят листы металла.
Я видел: тайна красоты
В глазах товарищей сияла.

* * *

Река с открытыми глазами.
И удивленный свет луны.
Пичуг незримых голосами
Сады равнин оглашены.

Старозаветную беспечность
Природа всё ещё хранит,
Забыв про вспылчивую вечность,
Что прежде дыбила гранит.

А ныне, вложенная в дюзы,
Стремит металл в иных краях, —
Планеты лишь, как бы арбузы
На Волге, в стрежневых струях.

* * *

В логу терновом, пасмурном и диком,
Покойно дышит вековая прель.
Пера и шерсти драная кудель
Украшена цветущим волчьим лыком.
С тоскою кровожадной в брюхе впалом
Бирюк забылся в беспокойном сне,
На шорох ли, на запах ли извне
Он отвечает хрипом и оскалом.
Над ним, из веток свитый неказисто,
Дом голубицы-горлицы степной
В ночную стужу и в полдневный зной
Висит на стрежне ветрового свиста.
Вдали струится белесь по излучке.
Вблизи сияет ковылей прибой.
И птица, возвышаясь над судьбой,
Шлёт в эту ширь серебряные звуки.

* * *

Неодолима лунная теплынь:
Листва грозой недолгою омыта.
Но дикой сухью веет вновь полынь,
И прошлое отчаянно забыто.

Сердца двоих смущением полны —
Так краток час условленного срока.
Колесики блестящей тишины
По заводи вращаются широко.

Весомей стала капля на листке.
Ещё блуждают в душной чаще звуки.
Меж тем уже висит на волоске
Счастливый день, тяжёлый день разлуки...

Степные травы

... Мятлик шепчется с воронкой.
Встал в окопе чернобыл.
По-над западную кромкой
Бруствер глинистый оплыл.

Запылил автобус дали,
Тормознул, да и затих.
Все сошли. Звеня, медали
На груди сияли их.
От песков горячих пряный
Запах трав над полем плыл,
И седые ветераны

Вспоминали:

бой тут был.
Обнимались, как братались,
С суховеем сухоцвет.
...Взял семян железных малость
Человек преклонных лет.

* * *

Под ряскою темень всё гуще.
А дальше, раздвинулись где
Недвижного чакана кущи, —
Недвижный огонь на воде.

Камышевка. Плёса утеха.
Засвищет в раздольной тиши.
Возвётся багряное эхо
До сладкого крика души.

* * *

Васильки среди колосьев.
Их срывают мать с отцом.
Мы свои тут, а не гости:
С родиной к лицу лицом.

Я сажу у края нивы.
Для меня день каждый — новь,
Зная то, что я счастливый,
Внемлю песне про любовь.

Птица сдвинет крылья этак,
Канет с посвистом в траву,
И дивлюсь я, малолеток,
Видя чудо наяву.

Вспоминаю: поле, поле...
Перекрёсток всех путей.
Там над волей — взлёт соколий.
Речка. Радуга над ней...



ПРОЗА



Пётр ТАРАЩЕНКО

Ломаная прямая

Рис. Вадима Жукова

Окончание. Начало в № 3 за 2015 год

Свадебная Заффа

Пала вечерняя прохлада. Савойский проснулся полным энергии и... голодным. Бедуинов решили не беспокоить — постановили пойти ужинать в ресторан, хорошо проглядывающийся с лоджии их номера и уже красиво подсвеченный таинственным фиолетом.

Оделись в полуофициальном стиле деловых людей на каникулах, попрыскались туалетной водой «Балафре», прихватили именные гостиничные карточки, по которым, как во время вчерашней гулянки объяснил вице-консул Стрижаков, их обслужат по счёту порт-саидской администрации, и двинулись в путь.

Инспекция ресторана началась с бара, полного шумной немчуры и голландских пенсионеров, которые то и дело бросали на беспокойных соседей осуждающие взгляды. Для порядка присели к стойке, заказали по порции «Ballentine's» со льдом. Неожиданно к делегатам подошёл рыжий мужик со стопкой прозрачной жидкости, ткнул себя пальцем в грудь, сказал: «Эккехарт», — и приветственно поднял стопку.

— Прозит, — ответил Карагодин.

Делегаты сделали по глотку, а новый знакомец опрокинул стопку в пасть, помотал головой и страшно скривился, изображая высшую степень сладостной муки.

— Зер гут, Эккехарт, — неожиданно обнаружил знания немецкого Савойский.

Немец дружески ткнул того в круглое плечо, поставил стопку на стойку и отбыл к галдящим сотоварищам.

— А чего приходил, может, сказать что хотел? — пошутил Карагодин.

Раздумчиво допили «Ballentine's», пососали льдинки. Прислушались к внутренним процессам.

— Хорошее место, — сказал Савойский, — просто уходить не хочется.

— Не просто место, а уникальное место — самый настоящий алкогольный рай. Ну, мы сюда ещё вернёмся.

Савойский помахал бармену ручкой и, когда тот подошёл, протянул ему именную карту гостя.

Тот с любопытством осмотрел документ и на местном диалекте английского объяснил, что карта здесь не действует.

Карагодин включился в процесс, холодным тоном сообщил, что они по спецприглашению губернатора, приехали с важной миссией — как именная карта может при таких серьёзных обстоятельствах «не действовать»!

Бармен сочувственно кивал головой, извинился за неудобства, повторил, что карта в баре «не работает».

— А где «работает»? — высокомерно поинтересовался Карагодин.

Оказалось, что «работает» в ресторане, в двух гостиничных кафетериях. А вот в баре — нет.

Пришлось заплатить наличными, которые оказались у предусмотрительного Савойского.

— Пошли отсюда к чёртовой матери, сплошная обдираловка — пять баксов за глоток вискаря, совсем стыд потеряли!

— А может, оно и к лучшему, — философски заметил Карагодин, — по крайней мере, избежали возможных злоупотреблений. Мы же поужинать собирались... Там и наворачиваем!

Ресторанный зал был просторен, выдержан без каких-либо восточных заигрываний в нейтрально-европейском стиле, слабо освещён лампами под кремовыми абажурами на столах и совершенно пуст, если не считать пожи-

лой пары за периферийным столиком да стайки официантов в дальнем углу, которые увлечённо возились с какими-то картонными коробками. Внимание делегатов сразу же привлёк длиннющий стол вдоль просторного танцпола, украшенный хрустальными пепельницами и бутылочками кока-колы. К нему с одной стороны был приставлен ряд стульев, обращённых в зал. Высокие спинки двух центральных стульев были украшены цветочками, сляпанными из розовых капроновых лент. Если бы не эти цветочки, вполне можно было предположить, что в ресторане предполагается провести солидную научную конференцию.

Озадаченные непонятным видом стола делегаты не заметили, как рядом с ними образовался улыбчивый мэтр с бутоньеркой в виде микроскопической розочки в лацкане смокинга.

Делегаты немедленно предъявили мэтру карту гостя, и неопределённое напряжение, которое всё не могло рассосаться после эпизода в баре, их немедленно отпустило.

Бросив беглый взгляд на карточки, мэтр расцвел в улыбке почти неземного счастья. Получившие в этой улыбке подтверждение полноты своих прав делегаты поинтересовались назначением суперстола. Оказалось, что это свадебный стол, а само торжество начнётся через полчаса.

— Будет ли удобно... — начал было Карагодин, но мэтр решительно пресёк столь странные опасения. Не только удобно, более того: присутствие таких гостей большая честь и для молодожёнов, и для ресторана. Но главное, это национальная египетская свадьба, и дорогим гостям будет очень интересно.

Тем не менее делегаты проявили деликатность и выбрали столик в некотором отдалении от танцпола.

Меню смотреть не стали. Уверовав в компетентность мэтра, ограничились общими указаниями: мясо, а не рыба, обязательно местные национальные закуски, вино красное, а не белое, и по возможности сразу. Даже до закусок.

— Русский обычай, — пояснил Карагодин, — провести дегустацию, пока вкусовые пупырышки девственны и восприимчивы к тонким вкусовым оттенкам.

Оперативно доставленное вино называлось «Красный обелиск» и вызвало у делегатов море эмоций. Цвета венозной крови, с жёстким и терпким послевкусием, вино воскресило в памяти делегатов времена благословенной юности, когда оно продавалось повсеместно и по неприлично демократичной цене под маркой «Алжирское». Его привозили из каких-то неведомых стран третьего мира в огромных танкерах, как компенсацию за «помощь» разным молодым демократиям.

Вино, наложенное на «Ballentine's», действовало быстро и эффективно, и после пары бокалов уже казалось вполне комильфо. Недостатки вкуса и прочих органолептических качеств напитка легко компенсировались приятными воспоминаниями о юношеских подвигах и проказах.

Появились закуски. Молоденький арабочок в белом форменном пиджаке ошарашенно смотрел, как Карагодин самостоятельно орудует бутылкой, попытался было перехватить инициативу, но понял, что у гостей свои правила, и деликатно удалился, с тем чтобы через четверть часа подкатить тележку с горячими блюдами.

— Знакомое сновидение, — резюмировал Савойский, когда тот удалился.

И действительно, набор блюд на столе полностью повторил меню минувшего вечера: золотистые жареные огурчики, плоские с зеленью и здоровенными маслинами, сочные куски кебаба, белесые лепёшки. Для полноты картины не хватало лишь «Арарата», чёрной икры и лешей.

— Полное дежавю, — согласился Карагодин, — но как аппетитно смотрится!

Неожиданно раздались звуки барабана, флейты, цимбал, каких-то неизвестных делегатам щипковых струнных инструментов, из которых сложилась довольно праздничная музыкальная картина. В широкий проём ресторанных дверей повалила публика, одетая пёстро и разнообразно: пожилые тётки в национальных нарядах, дядьки в блейзерах, молодёжь в джинсах и партикулярных пиджачках. Процессию возглавляла молодая пара — невеста в белом свадебном наряде и юный супруг в голубом костюме-тройке. Над головами молодожёнов парили два венка, которые на длинных шестах несли два сосредоточенных паренька.

Савойский застыл на мгновенье, опустил вилку с куском кебаба на блюдо...

— Надо ж такое удумать... Странный обычай — вроде как свадьба, а не похороны...

— А ты что хотел, Восток — дело тонкое, — улыбнулся Карагодин. — Где бы ты такое ещё увидел.

Молодые уселись на стулья с цветочками, гости расположились за столом вокруг них, и почти все мужики немедленно закурили. Пожилой аксакал, облачённый в какую-то громоздкую епитрахиль, произнёс пространную речь. Как догадались делегаты — напутствие молодым. После чего публика загалдела и начала веселиться, то есть глушить кока-колу и болтать между собой. На танцполе перед столом появилась пара арабов с видеокамерами, что вызвало всплеск оживленья. Публика махала операторам руками и требовала индивидуального внимания, каждый хотел попасть в кадр, и когда попадали — лица их светились счастьем.

Это безалкогольное веселье было вполне натуральным и непринуждённым.

— Интересно, долго они так протянут? — задумчиво спросил Савойский.

— Другая культурная парадигма, может, и долго. К тому же мы не знаем, что они курят. Пачки-то от «Мальборо», но что внутри?

— Ну да, ну да, — согласился Савойский. — Помню я наши безалкогольные свадьбы, когда из чайников коньяк по чашкам разливали. Вот было веселье! Вот была парадигма! И ничего, выжили...

Неожиданно музыкальные децибелы упали, гулкий радиоголос с небес сделал какое-то торжественное объявление, и свет в зале погас. Невидимый звукорежиссёр снова увеличил громкость, объём зала ответил звонкими резонансами цимбал, и тьма рассеялась. Слева от входа в такт разгорающемуся настойчивому ритму, отмечая каждый шаг своего продвижения волнообразными движениями бёдер, живота и рук в серебряных назапястниках, в зал из-за колонн выплыла девушка, точнее, молодая женщина совершенно неземной, как показалось Карагодину, красоты. Её голову украшала сложная металлическая конструкция, несущая девять горящих свечей. Волшебным образом разнообразные и сложные па танцовщицы почти не отражались на язычках пламени: они стояли вертикально и лишь слегка подрагивали при смене галса.

— Заффа — танец живота с канделябром, — автоматом откомментировал он.

Танцовщица достигла центра танцпола, зал слегка осветился, и она предстала перед публикой во всей своей красе: толстая нитка жемчужных бус прилегалась на склоны роскошного бюста, белый лиф, расшитый серебряной нитью и сплошь в сверкающих стразах, серебряные браслеты над безупречными округлыми локотками, нежно-сиреневые, весьма условные шальвары, полностью открывающие ножки с фронтальной стороны, сиреневый пояс с богатым монисто, короткий белоснежный шлейф, пристёгнутый к поясу.

Танцовщица периодически разводила его пальчиками в стороны и становилась похожа на сказочную царицу-лебедь.

Темп музыки возрастал, развевался газовый шарфик, прихваченный к браслетам на руках, бедра красавицы набирали обороты, звенели мониста, взметался полупрозрачный шлейф. Она стала медленно приседать и, наконец, опустилась на паркет, где хореографический импульс сосредоточился в пластике рук и плеч, так же медленно поднялась, и через несколько мгновений пульс танца достиг какого-то оргастического уровня. Но язычки свечного пламени стояли вертикально.

— Браво! — неожиданно рявкнул Савойский и шумно захлопал в ладоши.

— Браво! Брависсимо! — вторил ему Карагодин.

Запущенный этим неожиданным всплеском эмоций зал восторженно зашумел и пошёл волной аплодисментов, в сопровождении которой победительная артистка завершила своё замечательное выступление, послав руками прощальные приветы в сторону свадебного стола и привет особенный в сторону зала, адресованный делегатам. И поплыла за колонны, унося на своей головке волшебные огни.

— Да, — раздумчиво сказал Савойский, — вот он настоящий Восток, просто нет слов. — Он наполнил бокалы вином. — *Ars longa, vita brevis!*

— Воистину воскрес, — поддержал Карагодин.

Не сговариваясь, выпили до дна.

— Ты всё шутишь, а ведь действительно — искусство вечно. Кстати, ты не находишь, что она похожа на Аньванну?

— Что-то есть, — согласился Карагодин. Черты лица артистки были вполне европейскими, и при желании такое сходство вполне можно было найти. Он вдруг подумал: «Аньванна — оно конечно. Но и с Танечкой есть что-то общее... — всплыл момент сладострастной кульминации. — Конечно, есть! А почему бы и нет: в тихом омуте черти водятся! Должны водиться». Ему вдруг страстно захотелось услышать Танечкин голос, частую слегка сбивчивую речь. «Завтра вечером она мне позвонит... — На его лице обозначилась довольная улыбка — Нужно быть в норме. А главное — в номере».

— Заффа... Откуда ты знал, что это будет заффа? — поинтересовался Савойский.

Карагодин почувствовал, что его час настал и пришла пора ответить на академическую лекцию Савойского о пиве. Блеснуть знаниями, почерпнутыми из глянцевого гостиничного буклетика.

— По шамадану, — объяснил он.

— Что ещё за шамадан?

— Шамадан, дорогой друг, — назидательно пояснил Карагодин, — это канделябр, девятисвечие, которое украшает голову исполнительницы танца живота. Вообще-то, *shamadan belly dance* — это высший пилотаж в этом деле.

— Это да, — согласился Савойский. — А ты откуда все эти дела знаешь, товарищ?

Карагодин попытался улыбнуться загадочно, но улыбка вышла радостно-самодовольная, типа «вот наш ответ Чемберлену».

— Да так по жизни сложилось. Но, честно говоря, я всегда интересовался этническим искусством. Востоком в особенности. Танцем живота, в частности.

Довольный такой удачной интродукцией, Карагодин разлил по бокалам остатки «Красного обелиска», и делегаты выпили.

Новая порция алкоголя поддала Карагодину приятного куражу.

— Если тебе интересно, если действительно интересно...

— Yes, конечно, интересно. Я тоже люблю все эти восточные дела.

— Тогда слушай. По легенде, этот красивый, эротичный и, кстати добавлю, полезный для здоровья танец появился совершенно случайно. Ты не представляешь, но виной тому пчела! Обыкновенная пчёлка! Её привлек аромат благоуханий, исходивших от молоденькой танцовщицы. Пчелка залетела ей под одежду, и, чтобы не сорвать выступление, девчушка изо всех сил крутила бедрами, трясла животом. Пыталась пчёлку выгнать. Ситуацию представляешь.

— А то. Мне как-то на рыбалке оса под рубашку... Я чуть с ума не сошёл. А тут пчела...

— Ну да, пчела, пчёлка... Но выгоняла её девчонка так эмоционально, с такой пластикой. Публика аж ревела от восторга!

— Рождение жанра, — Савойский поднёс к глазам винную бутылку, наклонил её, изучая объём остатка, с каким-то безразличным выражением отставил подальше от себя и помахал официанту.

— Пойдём по цветовой нисходящей, — предложил он.

Официант умеренной рысью достиг стола.

— Noch eine, — Савойский ткнул пальцем в направлении пустой бутылки.

Гарсон готовно убрал бутылку со стола. И выжидательно улыбнулся маэстро.

— Языки учить надо, пока молодой, — назидательно сказал Савойский.

Карагодин объяснил, что нужно принести бутылку «Розового обелиска», пострел убежал и вскоре вернулся с заказом. Расслабленные делегаты великодушно позволили пареньку разлить вино цвета свежей сукровицы по бокалам, и тот удалился на свой боевой пост у прохода на кухню.

После недолгих дебатов выпили за молодых. Вкуса вина не поняли, да и никакой роли он уже не играл. Хотелось говорить о высоком.

В голове Савойского калейдоскопически мелькали фрагменты главок из путеводителя по Египту в переводе Аньванны: об эзотерическом искусстве, мистериях богини Иштар, культовых танцах Древнего Египта.

Карагодин, которого просто распирало от желания блеснуть недавно обрётёнными культурными познаниями, не выдержал первым.

— Кстати, о танце живота... — с фальшивой задумчивостью начал он. — Согласно легенде первоначально он исполнялся только в храмах богини любви и плодородия Изида. Тогда это был танец ритуальный, посвященный зарождению новой жизни. Исполняли его жрицы ещё за тысячу лет до Рождества Христова. Ты можешь себе это представить?

— Жуть, — Савойский сделал глоток из бокала. — И что, есть доказательства?

— Фрески, древние фрески в древних храмах — они и есть доказательства.

Уверенный постулат Карагодин подтвердил порядочным глотком «Обелиска».

— Но кроме того: нашли древнегреческие рукописи и в них все эти тряски и вибрации подробнейшим образом описаны. Ты можешь себе это представить?

— Могу, — Савойский на секунду задумался. — Скажи, товарищ, а у нас в городе есть какие-нибудь школы?

— Ты с ума сошёл — это же женский танец!

Маэстро затрясся в беззвучном смехе.

— Ну, ты мне льстишь, товарищ, у меня таких талантов нет. Просто эта... Изида так похожа на мою Аньванну... Ей-богу, у Аньванны не хуже бы получилось.

— Шикарная идея, — воодушевился Карагодин, — а школа-то наверняка есть.

— Я вот что думаю, пока мы здесь, можно этот... шамадан купить. Оригинальный вариант, так сказать. Можно, конечно, в Москве поискать. Только не хочется напороться на китайский вариант.

— Если брать, то нужно брать настоящую вещь. А найти — найдём. Поедем на толкучку, там и найдём. — Карагодин на секунду задумался. — Там же и шарф купим.

— А шарф-то зачем? — не понял Савойский.

— Как зачем, как зачем! — горячился Карагодин. — Это ж такой важный атрибут! Без шарфа ну какой же belly dance? Так, китайский вариант.

— Понятно, — Савойский припомнил газовый шарфик, привязанный к браслетам «Изиды» повыше локтей. — Надо брать. Именно здесь и возьмём, чтобы правильная вещь была.

Идея обучить степенную русскую красавицу Аныванну резвому восточному танцу очень понравилась Карагодину и вызвала новую историческую ассоциацию.

— Ты вот не знаешь, что шарфик в belly dance — некий привет... из России! Во всяком случае, так сами египтяне утверждают.

— От кого привет? — не понимал Савойский.

— От культуры русской привет, от русского балета, если тебе так понятнее.

Карагодин с каким-то непонятным удовлетворением констатировал, что красивая метафора не по зубам затуманенному «Обелиском» сознанию друга, и поддал конкретики.

— Некогда король Фарух, человек со вкусом ко всему изящному, пригласил балерину Татьяну Иванову преподавать балет его дочерям. Естественно, ему хотелось показать, что и они не лыком шиты и кой-чего в танцах понимают. Выставил свою звезду арабского танца, Самию Гамаль, роскошную девчонку, хоть в то время она была уже далеко не девчонка. Кстати, эта Гамаль первая ввела моду танцевать босиком... Татьяне плясунья очень понравилась. И тут же у неё родилась идея — украсить выход Самии шарфом. А чтобы обыграть новую деталь наряда, Татьяна придумала несколько соответствующих движений. И ей это удалось, да так, что теперь шарфик в арабских танцах — важнейший аксессуар! Вот это и есть — привет из России!

— Господи, как всё в этой жизни переплелось... А всё равно без нас — никуда. — Савойский подлил в бокалы «Обелиску». — Давай за Дягилева.

Выпили за Дягилева. Свадебный стол гудел ульем, мужик в епитрахили произносил какие-то короткие спичи, хлопцы с видеокамерами бегали вдоль стола, клубились сигаретные дымы, но всё это маловразумительное действо делегатам уже порядком поднадоело. Подозвали официанта, показали гостевые карты. Тот притащил какую-то бумажку, на которой Карагодин небрежно расписался, и они степенно покинули зал.

Анита отпрыгнула от него!

В номер друга вошли под заливистые трели телефонного аппарата.

— Татьяна к тебе прорывается, — добродушно съязвил Савойский и плюхнулся на софу. — Интересно, как там банкет... Небось, не только видео и сигареты.

Голос в трубке действительно принадлежал женщине, скорее даже даме, более того — даме молодой. Она говорила по-английски, мило смягчая сонанты и слегка грассируя.

— Да, да... — осторожно подтвердил Карагодин. — Именно так, именно по приглашению господина генерал-губернатора. — Он хлопнул себя по лбу

ладошкой: — Анита! Это же вы? Я ведь угадал? Угадал, угадал... — В голосе Карагодина зазвучали кокетливые интонации, возникающие вполне рефлексивно, когда он говорил с хорошенькой женщиной, а в том, что телефонная собеседница хороша и даже более того, сомнений не было.

За день до отъезда Люсиль передала ему невесомый пакет — «урюпинский платок из козьей шерсти — просто полёт шмеля!» — для хорошей подруги из Порт-Саида, главного менеджера «Нораса», где прошедшим летом весело и беззаботно проживала делегация поволжского города-побратима, прибывшая с ежегодной миссией дружбы. Люсиль показала ему фотографию, двойной портрет на фоне каких-то неаккуратных развалин. Красавица справа от Люсиль напрочь затмевала её простодушную миловидность безупречным абрисом лица с высокими косточками ланит, миндалевидным разрезом глаз с радужкой изумрудно-карего цвета, и полными, как бы слегка припухшими губами подростка.

— Анита, — с какой-то материнской интонацией сказала Люсиль. — Видишь, какая красавица.

— Вижу, — вздохнул Карагодин.

— Ты смотри, она девушка строгая. Чмоки в щёчки ей будут непонятны. И вообще, прими к сведению, что твоя галантность там никому не нужна. Так что обойдись без поцелуйчиков, если не хочешь обидеть человека.

— А ручку можно поцеловать?

— Ни ручку, ни пальчик не можно. Я серьезно тебе говорю. Это нашим простодырам всё прокатит. А там — мораль! У них это не пустое слово... Так что бди.

Но строгие наказания Люсиль из головы Карагодина тут же напрочь вылетели.

— Анита, всё просто замечательно, номер отличный, и вообще всё отлично! А я вам подарок привёз. Людочка сказала, как устроитесь, немедленно найди Аниту и передай. А тут вы звоните! Удобно, если я сейчас к вам подскочу? Да нет, ничем не занят. Как вас найти?

Карагодин слушал сосредоточенно, прижал трубку так, что правое ухо слегка побелело.

— С кем это ты? — начал было Савойский, но Карагодин поднял указательный палец, давая понять важность разговора.

— Чудно, чудно. Нет проблем. Конечно, найду. Через четверть часа буду. До встречи.

Он положил трубку.

— Это я с Анитой говорил, через четверть часа встречаемся.

— Наш пострел везде поспел, — засмеялся Савойский. — Откуда она взялась, эта Анита? Вроде только приехали...

— Она не взялась, она всегда была, — неопределённо-загадочно ответил Карагодин. — Не обидишься, если я тебя на некоторое время оставлю?

— Валяй, казанова, — Савойский потянулся. — А я, с твоего позволения, прилягу. У тебя почитать ничего нет?

— Момент, — Карагодин достал из своей походной сумки пакет с урюпинским платком, из внешнего отделения выудил потрёпанную книжицу в мягкой обложке, бросил её на кровать Савойского. — Эльза Триоле «Розы в кредит». Просвещайся.

Несмотря на вечернее время одноэтажная административная «стекляшка» «Нораса» была ярко освещена. Интерьер был выдержан в деловом европейском стиле: офисные столы с компьютерными мониторами, пара здоро-

венных ксероксов «Canon», стеклянный столик с красивыми буклетами гостиницы перед просторным кожаным диваном цвета слоновой кости, аквариум с радужницами, скаляриями и парчовыми сомиком,

При появлении Карагодина из-за ближайшего стола вспорхнула юница в твидовом пиджачке с клеймом гостиницы на лацкане, усадила его на чудный диван и только тогда поинтересовалась, что нужно гостю.

Когда тот объяснил, что его поздний визит имеет вполне частный характер, что хотел бы видеть Аниту...

— Фор? — подсказала она и расплылась в радостной улыбке, проворковала «just a moment, just a moment» и унеслась в офисные дебри.

Карагодин взял со стеклянного столика уже изученный буклет, полистал глянцево-страницы. А когда поднял от буклета взгляд, оторопел. Лавируя между столиками, улыбаясь изумрудно-кариими глазами, к нему шла... танцовщица из ресторана! Никакого канделябра на её головке, естественно, не было, головку украшала причёска в стиле Мирей Матьё. Да и одета она была в официальный твидовый пиджачок со знакомым гостиничным логотипом на лацкане. Но лицо! Лицо! Какое поразительно сходство! Он резво поднялся с дивана.

— Салям алейкум, — радостно сказал он.

— Алейкум ас-салям, — улыбнулась Анита.

И Карагодин тут же рассыпался в комплиментах. Мол, ожидал увидеть красавицу, Люсиль показывала ему фото, где они вместе. Но чтоб такую! Анита со смехом, вполне по-русски отмахнулась ладошкой, но ничуть не смутилась и вообще вела себя очень по-свойски. Легко щебетала по-английски, вспоминала Люсиль, какая та молодчина, какую ловкую культурную программу они прошлым летом организовали для делегации медработников. Карагодин торжественно вручил красавице подарок. Присели на диван. Предложение выпить по чашке кофе он с радостью принял, и через минуту знакомая уже ему юница принесла маленький поднос с парой чашек кофе и блюдцем, на котором лежали длиненькие бумажные трубочки с сахаром.

Едва пригубили кофе, Анита неожиданно сказала:

— А вы ведь меня сначала не узнали — так странно на меня посмотрели.

— Ещё как узнал! — загорячился тот. — Только смешался...

И принялся рассказывать про ужин в ресторане, про свадьбу, очень необычную, совершенно отличную от русских свадеб. Но, главное, какая чудная артистка на этой свадьбе танцевала заффу, и как Анита на неё похожа! Просто невероятно похожа!

Анита кивала головой, понимающе улыбалась. Оказалось, ларчик открывался очень просто: Фарида приходится ей старшей сестрой, отсюда и сходство.

— У Фарида большой талант, природный талант. Она танцует... — Анита сделала паузу, подбирая слово, — как богиня! Сейчас у неё своя школа. О ней даже фильм по телевидению показывали. — Было видно, что для Аниты сестрица — предмет гордости и обожания.

— У вас тоже талант, — сказал Карагодин, — даже три: красота, обаяние и талант общения. Вот мы тут сидим, кофе пьём, болтаем, а кажется, что я вас знаю уже тысячу лет.

— Ну, тысячу — это вряд ли, — засмеялась Анита, — думаю, я выгляжу моложе.

И принялась расспрашивать о том, как прошёл визит к губернатору. Было понятно, что Люсиль держит её в курсе событий. Расслабленный приятной атмосферой, Карагодин доложил об успехах как о само собой разумеющемся. Почувствовал, что перегнул с самоуверенностью интонации, поправился:

— Ну, это только начало, посмотрим, как там дальше будет. А у вас отличный английский, откуда?

Оказалось, что английский не отличный. Отличный французский, а английский — просто обязательный язык в бизнес-школе, где Анита проходила годичные курсы по гостиничному администрированию. А училась она в Париже, где у неё по дедушкиной линии масса родственников.

Ему стало понятно, откуда эти смягчённые сонанты, откуда эти вполне европейские черты лица (вспомнилось Серёгину «французы здесь на славу постарались»).

— Ясно, — сказал, — но всё равно: отличный у вас английский.

На столе юницы зазвонил телефон. Она сняла трубку, что-то ответила, помахала ладошкой Аните и ткнула пальчиком в телефонную трубку. Анита показала администраторше растопыренную пятерню, что, очевидно, означало «через пять минут». Карагодин понял: аудиенция окончена, и хлопнул ладонями по коленям.

— Мне всё-таки пора. Нужно кое-чего подготовить по проекту, завтра встреча у вашего босса.

Анита оценила деликатность гостя, подхватила презент Люсиль со столика, поднялась.

Карагодин тоже встал. Поймал взгляд изумрудно-карих глаз, в голове мелькнуло: «Какая классная девчонка!», почти пропел: «До встречи!» и по привычке вознамерился было чмокнуть Аниту на прощанье в щёчку. Но этого не произошло. Анита отпрыгнула от него, едва не опрокинувшись на стеклянный столик с буклетами. Глаза её округлились. Некоторое время они смотрели друг на друга, осознавая возможный культурологический дифферанс.

«Боже, — промелькнуло в мозгу у Карагодина, — какой идиот! Всё испортил! Люсиль же предупреждала!»

Юница и пара клерков, привлечённые резкими па фигурантов, ожидали дальнейшего развития событий. Но особых событий не произошло.

— Ой, — сказала Анита, — кажется, я сломала...

— Каблук? — помог Карагодин.

— Чуть не сломала.

— Виноват, — деревянным голосом сказал Карагодин. — Исправлюсь. — И отдал кавалергардский короткий поклон.

Клерки поняли, что ничего особенного больше не будет, и уткнулись в мониторы.

Выходя из стеклянных дверей администрации, он нос к носу столкнулся с Фёдором.

— Свято место пусто не бывает, — приветствовал тот. — Ты чего здесь?

Ещё не оклемавшись от стресса, тот объяснил:

— Да так, по личным делам. А ты чего?

Оказалось, что Фёдор пришёл узнать по поводу брони для своих подопечных, которые должны подтянуться через пару дней. Расспросил о том, как идут дела, обрадовался, что всё складывается удачно.

— Да я и не сомневался. Как только увидел вас, сразу понял — эти ребята не пропадут, эти ребята своё дело знают.

Напомнил насчёт алаверды.

Карагодин шагнул в сторону, давая проход Фёдору, и наступил на его мягкий мокасина.

— Ссориться не будем, — сказал Фёдор и плотно прижал кончик карагодинской туфли.

— Ой! — скривился Карагодин.

— Что такое?

— Да так, производственная травма, — пошутил Карагодин. — Ну, до встречи.

Гатэ гатэ поро гатэ...

«Где этот чёрт мотается? — думал Савойский. Эльза Триоле лежала на тумбочке. — Интересно, что это за Анита? А вообще, молодец».

«Молодец» брёл по безымянной улице ночного Порт-Саида. Припоминал советы американского психолога Кристана Шрайнера из недавно проштудированной книжки «Как снять стресс. 30 способов улучшить своё самочувствие за 3 минуты». Наконец остановился на подходящей схеме успокоительных объяснений, для усиления действия из стратегических лабазов памяти подобрал подходящую мантру и забормотал её в такт шагам: «Гатэ гатэ поро гатэ поро сом гатэ бодхи сваха». Вскоре почувствовал результат — чувство неловкости отступило. «Анита — чудная девушка. Но как бы там ни было, что я Гекубе, что мне Гекуба». Однако полного счастья не получалось. Он вдруг понял, что стал прихрамывать, снова болела ступня, от чего нарушался ритм божественной мантры. «Чёрт бы побрал этого Фёдора с его дурацкими предрассудками. Собственно, при чём здесь Фёдор!» Однако о Тане плохо думать не хотелось. Вспомнились её телефонные поливы, сказанное с придыханием: «А ты, ты обо мне думаешь?» «Нехорошо, — засвербило на сердце. — Анита — Бог с ней. Встретились — разошлись. Но Таня, Танечка — не чужой человек». Он снова попытался приноровить ритм мантры к неровной своей походке, подобрал нужную синкопу и вскоре почувствовал искомое душевное равновесие.

Ночная жизнь города имела место, однако носила непривычный характер. Работали многочисленные кофейни, слышались переливы зурны, вились ароматы кардамона, каких-то незнакомых пряностей. За столиками сидели люди, о чём-то оживлённо болтали, смеялись. Но были эти люди сплошь мужчинами.

«Скучно живут, — подумал Карагодин, — какой интерес в этой мужской болтовне? На рыбалке под водочку это ещё можно понять, но они ж не на рыбалке...»

Он остановился у красивой витрины спортивного магазина. Выделил в строю разноцветных теннисных ракеток Dunlop кобальтового цвета, подумал: «То, что доктор прописал. Куплю обязательно. Правильная вещь. Не забыть включить в график культурной программы — it's very important». И с чувством полного удовлетворения зашагал в сторону «Нораса», бормоча под нос: «Гатэ гатэ поро гатэ...»

Мы профессионалы...

— Ну, с богом, — сказал Серёга, лихо парконувшись у резиденции генерал-губернатора.

— Бог любит троицу, пошли с нами, — засмеялся Савойский.

— Не, я лучше к вам вечером приеду, культурную программу обсудим.

— Не забудь главный пункт.

— Финики? Финиковая плантация?

— Какие финики? Мне лайковый плащ для Аныванны купить нужно, а уж после — финики. Хотя финики тоже интересно.

В приёмную делегаты вошли уверенно. Секретарь сделал пассы в сторону резных кресел розового дерева. Послал мимический сигнал — «одну ми-

нутку». Поднял трубку телефона и тут же вскочил, приглашая гостей в кабинет губера.

По правую руку от двери, у окна, с сосредоточенными лицами сидели архитектор и его помощник. Появление делегатов их на секунду расслабило, они послали вошедшим приветственные улыбки. Перед столом губера в уже знакомой конфигурации стояли два кресла, в которых маэстро с Карагодиным после приглашающего жеста и разместились.

— Очень рад, — сказал губернатор, — что всё идёт по плану. Господин Ряз доложил мне — вы нашли подходящее место. Очень красивое.

— Единственное подходящее, — сказал Савойский.

— Господин Ряз сказал, что у вас есть интересные идеи — всемирный центр, висячие сады.

— Висячие сады-девять! Девятое чудо света! — не удержался Карагодин. «Ё-моё, что я несу! Просто блокбастер какой-то, а не бизнес-проект».

— Это замечательно, — лицо губера расплылось в довольной улыбке. — Хотя несколько выходит за рамки первоначального плана.

Карагодин почуствовал волну и позволил себе инициативу.

— Если идея понятна и нравится, то проблема только одна — увеличить финансирование.

На лице губера обозначилась улыбка. Карагодину ещё ни разу не приходилось видеть, как единственное мимическое движение волшебным образом выразило понимание, одобрение и поощрение одновременно. «Как говорится, без лишних слов. Вот вам — восточный человек!» — мысленно восхитился он.

Лицо генерал-губернатора неожиданно приобрело строгое, официальное выражение, и он заговорил наставительно-командным тоном. Строгая тирада закончилась душетом улыбок, посланных отдельно маэстро и Карагодину, после чего делегатам стало ясно, что официальный тон к ним никакого отношения не имеет, а предназначен исключительно архитектурным начальникам у окна.

— Одно условие — добротный бизнес-план, — сохраняя официальную интонацию губера, перевёл Карагодин. — Со всеми подробностями, деталями и обоснованиями.

— Мы профессионалы, — ледяным тоном ответил Савойский. — Переведи господину губернатору, пусть не сомневается — качество документации будет соответствовать масштабу задачи.

Выслушав перевод, генерал-губернатор откинулся на спинку своего царского кресла, явно довольный ответом маэстро. Обратил взор на мгновенно подтянувшуюся архитектурную тройцу, и в этом повелительном взоре читалось: «За работу, товарищи!».

Он снова обласкал взглядом делегатов, поинтересовался, сколько времени потребуют труды. И получил от маэстро мгновенный и уверенный ответ: через три дня всё будет готово. Покрутил головой, подтянул к себе листок с замысловатой шапкой-заголовком, снизу вверх пробежал глазами красивую вязь строчек.

— Ваш самолёт во вторник вечером. Можно будет заехать в Гизу, посмотреть пирамиды. Время позволяет. И, конечно, нужно продумать культурную программу по Порт-Саиду. В этом смысле у нас очень похожие традиции. Проникнитесь духом города, от этого дело только выиграет.

Карагодин собрался было перевести предложения губера, но маэстро его опередил:

— Всё ясно — пирамиды и культурная программа в Порт-Саиде. Ты знаешь, я как-то стал его понимать.

Делегатов снабдили телефоном господина Рязя, который, похоже, был назначен ответственным «за всё», и на этом аудиенция благополучно закончилась.

В номере, куда ответственный господин Ряз доставил делегатов, Карагодин вручил ему миниатюрную копию Родины-матери и набор открыток с видами города-героя. Тот цокал языком и прижимал дары к груди, выражая высшую степень благодарности. Однако предложенный Савойским бокал «Стеллы» привёл его в состояние испуганного замешательства.

— Ну и не надо, нам больше достанется, — засмеялся Савойский, — а ещё архитектор.

Договорились, что определятся с культурно-познавательными предпочтениями и обязательно позвонят. Но что наверняка нужно планировать, так это ещё одну поездку на место предполагаемой стройки.

— It's very important, — резюмировал Савойский.

Господин Ряз согласно покивал головой и отбыл.

— Ну какую культурную программу может предложить этот человек? Мы с божьей помощью сами её организуем. Тем более что Серёга всё тут знает. А вот на точку съездим с Рязом и его подручными. — Савойский отсалютовал коллеге бокалом «Стеллы».

Тот ответил взаимным приветом.

— За культурную программу.

День прошёл в приятном ничегонеделании. Обменяли доллары на местные фунты. Побродили по уже изученным Карагодиным близлежащим улочкам. Выпили кофейку с кардамоном. Купили присмотренный Dunlop. Долго выбирали подходящий для ракетки чехол. Наконец определились, и счастливый Карагодин повлёк коллегу на набережную.

Усевшись на скамейку, они долго рассматривали медленную морскую жизнь: уже знакомую Карагодину фелюгу с коричневым парусом, дрейфующую на фоне цепочки разноцветных танкеров, многопалубных кораблей и стайки тупорылых буксиров, совершающих неспешные манёвры между ними.

Умиротворённый покой путешественников оказался недолгим.

— Бакшиш, бакшиш, — неизвестно откуда взявшаяся на пустынной набережной пара арабских нахалёнков прыгала у скамейки и тянула грязные ладошки.

Карагодин сунул им по монетке со сдачи, полученной при покупке ракетки, и они, довольные, умчались прочь. Но тут же вернулись с кучей таких же малолетних разбойников.

— Бакшиш, бакшиш, — требовали они.

— Ноу бакшиш, — Савойский поднялся. — Пойдём отсюда, товарищ. Они нам покоя не дадут.

Некоторое время шумная стайка ещё следовала за ними, однако вскоре поняла бессмысленность своих претензий и отстала.

За культурную программу!

Вечером созвали политсовет — обсудить культурную программу. Привычно вызвали бедуинов с коробами местной снеди, которую дополнили полным набором «Обелисков» — красным, розовым и белым, дюжиной «Стеллы» и парой бутылочек колы для Серёги. Разместили яства и напитки на стеклянном столике, получилось очень красиво.

Первым прибыл Серёга-водитель. Оценил гостеприимство делегатов.

— Как у вас... нарядно... — Выгрузил на стол туесок с гигантскими финиками. — От нашего стола — вашему столу.

Вслед за ним появился другой Серёга, вице-консул Стрижаков. Припёр огромный медово-жёлтый ананас. Передал привет от Пал Петровича, который, к сожалению, быть не сможет, но если возникнут какие-либо вопросы, готов обсудить их по телефону.

— Ваши футболисты приехали — тренер, помощник тренера, второй тренер, ещё кто-то. Вот он и не может, — пояснил Стрижаков. — Хотя очень хотел повстречаться, узнать что и как. Ну, я ему всё передам.

— Приступим, помолясь, — Савойский сделал над столом приглашающий пас.

Молиться не стали, а сразу приступили к трапезе.

После приветственного первого тоста взяли тайм-аут, и Савойский неторопливо, очень солидно изложил состояние дел.

— Какие вы молодцы — такое дело двигаете. — В голосе Стрижакова звучало искреннее уважение. — Найти подход к губернатору дорогого стоит. Ну, за вашу удачу.

— Дорогу осилит идущий, — скромно сказал Карагодин. — Но и за удачу не грех выпить.

Обсуждение культурной программы много времени не заняло. В основных пунктах она уже сложилась в головах делегатов: посетить важную достопримечательность Порт-Саида — беспешинный вещевой рынок, где по совсем необременительной цене продаются вполне брендовые вещи, и там купить лайковый плащ для супруги маэстро. Конечно же съездить в Порт-Фуад, о котором рассказывал Серёга-водитель, и там окунуться в Средиземное море. Посетить финиковую плантацию.

Стрижаков, смущённый приземлённостью пожеланий делегатов, внёс свою лепту — предложил облагородить план визитами в Военный и Национальный музей. Национальный музей, расположенный прямо на набережной канала, по словам вице-консула, имел порядочную экспозицию древностей времён фараонов. Предложение встретило живейшую поддержку делегатов. К визиту в Военный музей отнеслись с прохладцей.

— Я вообще-то пацифист, — пояснил Савойский. — Мои интересы — культурные и художественные ценности. И вообще, цветение жизни во всех её проявлениях.

— А Город мастеров? — встрепенулся Серёга. — Вот там-то как раз полно художественных ценностей.

— Да, это мысль, — оживился Стрижаков, — Небольшой городок, кстати, совсем недалеко от Порт-Саида. Резную мебель делают, кресла, стулья, диваны. Больше ничего не умеют, но мебель делают сказочную.

Идею восприняли на ура. План обрастал конкретикой: осмотреть трёхкупольное административное здание Суэцкого канала, новую мечеть рядом с ним, прокатиться по городу с обзорной экскурсией.

— Обязательно по улице Волгограда проедем, мне это просто необходимо, — возбудил Карагодин.

— Конечно, проедем, — уверил Серёга. — А почему необходимо? Кто-то знакомый живёт?

— Никто не живёт. А вот я живу... — Карагодин сделал значительную паузу. — На улице Порт-Саида! И если не побываю на улице Волгограда в Порт-Саиде, получится как-то... несимметрично!

— За симметрию! — засмеялся Стрижаков.

— За города-побратимы! — политесно поддержал Серёга витой бутылочкой колы.

— За культурную программу! — резюмировал Савойский.

В едином порыве делегаты и Стрижаков подняли бокалы с «Красным обелиском».

Всё складывалось как нельзя лучше. Предстоит week-end, работы в консульстве будет поменьше, и потому делегаты смогут пользоваться услугами Серёги во всей полноте.

Я делаю алаверды!

Атмосферу приятной расслабленности нарушил телефонный звонок.

«Татьяна? — Карагодин бросил взгляд на настенные часы. — Да вроде бы рановато».

В трубке раздался сангвинический баритон Фёдора.

— Физкульт-привет!

— Салют, Фёдор Анатольевич, — радостно ответил Карагодин. — Ты как чувствовал! У нас тут небольшая компания, отличная компания, только без тебя — неполная!

— Звоню, опережая события!

— Какие-такие события?

— За мной же алаверды, я тебе уже говорил. Планировал на завтра, но завтра никак не получается, работа. Так что приглашаю всех к себе! Это в пяти минутах от вас. Стрижаков знает.

— А ты откуда...

— Пал Петрович сказал, что вы там культурную программу верстаете, оттуда и знаю! Так что приглашаю всех категорически!

— Дай озвучу ситуацию коллегам, — Карагодин зажал микрофон трубки вспотевшей ладонью.

Совершенно неожиданно предложение было встречено с пониманием.

— Народ не против. Слушай, у нас тут всего невпроворот, море напитков — пиво, «Обелиск»...

— Какой «Обелиск»? Я делаю алаверды, «Обелиск» здесь абсолютно ни при чём. Он вам завтра пригодится. Всё, жду. Конец связи.

Футбольный коттедж действительно оказался в пяти минутах ходьбы. Номер Фёдора был полон народа. Кроме уже знакомых делегатам Вити и Гены за столом сидели три крепких мужичка в спортивных куртках с эмблемой «Ротора» на груди. Было понятно, что эти мужички и есть «вновь прибывший тренерский состав», о котором говорил Стрижаков.

Стол был завален копчёными лещами, зеленью, местными лепёшками, среди которых в живописном беспорядке размещались бутылки «Посольской», «Балтики», открытые баночки с чёрной икрой, плоская фляжка с надписью наискосок «Sang-Som».

Федор обменялся дежурными рукопожатиями со Стрижаковым и Серёгой. Было видно, что они хорошо знакомы и видятся часто. Затем вписался между делегатами, приобнял их за плечи, представляя обществу:

— Коллеги! Минуточку внимания! Хочу представить вам совершенно гениальных людей, личных друзей генерал-губернатора и, кстати... наших земляков! — Обратил взгляд на Савойского: — Наш дорогой маэстро Борис Романович, известнейший российский скульптор, настоящий мастер, а попросту — легенда монументальной архитектуры! А это господин Карагодин Дмитрий Андреевич, бизнесмен, организатор многих международных проектов, полиглот и вообще, э-э... тоже легенда. Они здесь большущие дела затеяли. Но об этом позже...

Футболисты смотрели на делегатов с уважительным интересом, теснились между собой, освобождая пришедшим место у стола.

— Предлагаю тост за наших гостей — ура!

— Ура! — живо откликнулись футболисты.

Фёдор нёс какую-то хвалебную пургу, тренеры азартно драли лещей, запивали «Посольской», которую в свою очередь запивали «Балтикой», понимающе кивали стриженными головами. Витя и Гена скромно посасывали «Балтику» и смотрели на делегатов ясными преданными глазами.

Сытые делегаты к лещам отнеслись равнодушно, щипали лепёшки, прикусывали былки тархуна, базилика. Поначалу такое акцентное внимание их смущало, но после пары тостов они к нему приспособились, в голосах появилась вальяжная солидность, впрочем, вполне демократическая.

— В нашем городе тоже есть работа Бориса Романыча, — продолжал Фёдор. — Были бы у нашей администрации нормальные средства, увеличить бы её раз... в десять — куда там статуе Свободы! Но у господина губернатора средства есть, так что — то ли ещё будет!

Суверенному Карагодину такой откровенный перебор не понравился, и он перехватил инициативу.

— Давайте, друзья, за наш родной «Ротор» выпьем. За ваши новые успехи, ребята!

Заговорили о предстоящей культурной программе.

— Музеи, мечети, финики — это всё правильно, толчок — ещё как правильно! Но главное, — Фёдор повернулся к Стрижакову и Серёге, — свозите ребят в любую парфюмерную лавку, пусть купят «Пять секретов пустыни», это ж эксклюзив! Шикарное парфюмерное масло. Они знают, что это такое. Я им уже демонстрировал. Их жёны за такой сувенир на руках носить будут!

Стрижаков и Серёга согласились, что сувенир экзотический и очень достойный, что наказ выполнят, и, оперативно попрощавшись, отбыли.

Некоторое время гостеприимное застолье ещё продолжалось, но было видно, что праздник себя исчерпал.

Едва делегаты вошли в номер, как раздалась телефонная трель.

«Татьяна!» — Карагодин рванул трубку с аппарата.

— Слава богу! Я тебе третий раз звоню, вся извелась. А тебя нет и нет. Мы ж договорились...

— Представляешь, совершенно неожиданно... — Мгновенная сценарная импровизация о «деловой встрече» уже была готова слететь с языка Карагодина, но, зацепив взглядом циферблат настенных часов, он сумел-таки вовремя удержаться. — Тут наши футболисты на сборы приехали, пришлось навестить, они рядом живут. Очень близкие наши друзья, неудобно было отказать.

— Аните привет, — донеслось с лоджии, где Савойский устроился с бутылочкой «Стеллы». — Ждём в гости!

«Вот молодец! Сама деликатность! Нашёл время вспомнить!» — вскипел Карагодин.

— Кто это Анита? — тихо спросила Таня.

— Анята, Анна Васильевна, жена главного тренера. Обещала Борису Романычу «Пять секретов пустыни» занести. Ароматическое масло для супруги. Волшебный аромат.

— Да у вас там целое... землячество. А как дела? Продвигаются?

— Всё идёт по плану. Встречались с главным. Дважды встречались. Выбрали место и даже его утвердили! Приступаем к аванпроекту.

— К чему приступаете?

— Предварительный проект писать будем. Концепцию, так сказать. Работы, конечно, по горло. Кстати, ты хорошо печатаешь?

Последовала длинная пауза.

— Дима, я даже не знаю, что сказать... — послышался тяжёлый вздох. — Никак не придумая, как Джо сообщить... ну, объяснить, что ли.

— Какому Джо?

— Ну Джозефу, мужу моему... Я же тебе о нём говорила.

— Да у меня от волнения из головы всё вылетело. Ну да ладно, рассказывай что как.

— Да нечего особенно рассказывать. Отпраздновали Патрику сорок лет. Он, конечно, молодец. Многого достиг, в правительстве работает. Хочет Джо к себе взять. У них всё по родственным связям делается.

— Ты это всё к чему? Если передумала, скажи прямо.

— Ничего я не передумала. Просто была совершенно неподходящая ситуация. Ты должен это понимать.

— Понимаю... — согласился Карагодин. — Но эта неопределённость...

— Нужно подождать, — извиняющимся тоном сказала Татьяна. — Я сама издёргалась. Дело даже не в работе... Просто такая встреча, как у нас с тобой, это как солнечный удар. У меня такого не было...

— В том-то всё и дело. — Карагодин вздохнул, подумал: «Что я несусь? Что делаю, идиот, лезу в чью-то жизнь, разбиваю семью».

— Ты не женат... ты же не женат?

— Нет... И не был, — пафосно сказал он.

— Тогда тебе будет трудно понять...

Карагодин обиделся, начал было суворовский перевод стрелок:

— А меня ты можешь понять? — Почувствовал некрасивую фальшь интонации, суховаато завершил: — Ну не будем выяснять отношения. Успеет-ся. Созвонимся послезавтра.

В трубке молчали.

— Завтра вечером у нас... приём. То есть мы будем на приёме. Ну, короче, завтра нас в номере не будет. К тому же тебе надо успокоиться.

Последовала длинная пауза.

— Хорошо, послезавтра... Может, ты и прав, надо успокоиться... — каким-то мёртвым голосом сказала Татьяна. — Я тебе позвоню. Примерно в это же время. Целую.

И в трубке раздались длинные гудки.

Карагодин вытер нехорошую нервную влагу со лба: «Мне надо от всего этого отвлечься. Какая-то неудобная ситуация. Ощущение, что я морочу человеку голову. Противно. С другой стороны, если бы приехала... Нет, надо взять тайм-аут».

Он набурлил в бокал из початой бутылки розового «Обелиска», выпил в два приёма, вышел к маэстро на балкон.

— Татьяна звонила.

Савойский покрутил головой:

— Ну ты, братец, не человек, а флюгер. Но вообще молодец, просторное у тебя сердце.

— Пойду-ка я спать, какой-то нервный день, — Карагодин тяжело вздохнул, — надо отдохнуть.

Слава Богу — беспошлинная зона!

Уик-энд, зарезервированный под культурную программу, прошёл сумбурно и даже безалаберно, но очень весело. Посетили легендарный толчок, который вполне оправдал самые смелые ожидания делегатов. После многократ-

ных примерок на Карагодина кожаных плащей разнообразных фасонов Савойский наконец приобрёл для любимой супруги роскошный лайковый экземпляр аспидного цвета и, благодаря опытному переговорщику Серёге, приобрёл его за вполне разумную цену.

— Золотой ты человек, Серёга, — оценил таланты водителя Савойский, — я твой должник.

Карагодин, которому ничего особенно нужно не было, неожиданно увидел на развале огромную спортивную сумку бирюзового цвета с отделением для теннисной ракетки. Он вдруг понял, что именно такой сумки ему для полного счастья и не хватало, и купил её с участием «золотого человека» чуть не в половину от затребованной поначалу цены. На радостях набрали массу ненужных мелочей: кожаных кошельков и портмоне с тиснёнными золотом пирамидами и верблюдами, записных книжек в переплётах зелёной кожи, колечек со скарабеем, самих скарабеев, вырезанных из местного алебастра, зачем-то несколько пар остроносых домашних туфель, бусы такие, бусы сьякие.

Наткнулись на стойку с наручными часами, сплошняком шли титульные бренды: «Ulysse Nardin», «Rado», «Tissot», «Rolex»...

«Rolex!» — Карагодин внутренне проговорил это слово, подумал, что бирюзовая сумка со специальным отделением для ракетки ему не так уж и нужна, как, впрочем, и сама ракетка, не такой уж он теннисист, но вот без «Rolex'a», без этого роскошного хронометра, жизнь его всегда будет неупорядоченной... и вообще лишённой смысла.

— Серёжа... — начал было Карагодин.

Но тот всё уже понял, только спросил:

— Какие?

От неподъёмных 100 фунтов цена в пять минут спустилась в некие земные, разумные пределы.

Карагодин отсчитал деньги, нацепил часы и почувствовал внутреннее равновесие.

«Вдруг какая-то важная встреча, теперь точно не опоздаю», — подумал он.

Неожиданно вспомнили про шамадан, столь необходимый для будущих упреждений Аныванны в арабских танцах. И тут Серёга оказался на высоте. После сложного петляния по торговым рядам вывел делегатов к нужному развалу, где среди декоративных тарелочек, вполне функциональных кувшинчиков и замысловатых кальянов обнаружили несколько шамаданов. Выбрали самый помпезный, обруч которого был украшен стеклянными «самоцветами». В комплекте с ним за небольшую доплату получили набор латунных цимбал, которые танцовщицы надевают на пальцы.

Завершая шопинг, купили по десятку папирусов с каноническими рамзесами, нефертити, мчащимися колесницами и лазеревыми птичками на условных сучковатых деревьях.

Погрузили раздутую до невозможных размеров новую сумку Карагодина в багажник «жигулей» и помчались смотреть финики.

Шукран, хабиби!

«Снова дежавю», — подумал Карагодин, когда машина остановилась у показательной рощицы финиковых пальм. Улыбчивые тётки с повязанными по-крестьянски платками обирали здоровенные грозди в берестяные туески, которые опорояняли в плоские плетёные корзины. Всё это он уже где-то видел.

При виде гостей тётки оживились. Серёга на упрощённом арабском представил делегатов. Одна из тёток с повадкой колхозной бригадирши провела гостей по аллейке финиковых пальм, оживлённо лопоча какие-то объяснения, ничуть не смущаясь отсутствием вербальных реакций, и закончила экскурсию у плетёных корзин, полных фиников. В одной из них поверх фиников лежал туюсок. Она набрала в него отборных плодов и с улыбкой поднесла Савойскому.

— Шукран, хабиби, — сказал Серёга.

— Шукран, хабиби, — повторил Савойский, сообразив, что это слова благодарности, попросил Карагодина: — Сфотографируй меня с дамой. — И тут же пристроился к бригадирше.

Тот щёлкнул камерой.

— Ты в полный рост взял? Сфотографируй ещё раз, только в полный рост.

Савойский снова организовал композицию, слегка отстранился от дамы и протянул туюсок с плодами вперёд, будто угощая фотографа.

Карагодин отступил пару шагов назад и снова щёлкнул затвором.

— Момент, момент, — Савойский сунул туюсок в руки партнёру, резво подскочил к машине, открыл заднюю дверцу, покопался в сумке с покупками и вернулся с парой остроносых домашних тапочек.

— Шукран!

Бригадирша расплылась в улыбке и подарок приняла. Сборщицы, стоявшие поодаль, умильно улыбались и помахали руками, когда машина тронулась.

Уже на трассе Савойский спросил Серёгу:

— Я правильно понял, «шукран, хабиби» — это «большое спасибо» нашему?

— Почти. Спасибо по-местному «шукран», а «хабиби» — дорогая.

— А «хабиби» ещё ничего, — засмеялся Карагодин, — колоритная мадам.

— То, что нужно, — согласился Савойский, — вполне потянет на типичную египетскую крестьянку. Ей ещё икнётся, когда увидит себя... в бронзе.

«Всё-таки профессионал, — подумал Карагодин, — всегда о деле помнит».

Дворики домов были сплошь заставлены резными креслами, креслицами, столиками и скамейками нежно-розового дерева. Разнообразие орнаментов просто поражало.

— Действительно, город мастеров, — резюмировал Савойский. — Но всё-таки полуфабрикат. Вот если всё это дело довести до ума — шлифануть, полирнуть, лачком покрыть, да в наши салоны!..

С помощью Серёги в одном из двориков побеседовали с приветливым старичком, цены приятно удивили. Стали возбуждённо прикидывать, как притащить это добро в родной город, во что обойдётся. Энтузиазм пошёл на убыль. От многообразия впечатлений делегаты вскоре почувствовали, что порядком проголодались. Погнали в «Норас».

Венец трудов превыше всех наград

В ресторане уже знакомому «гарсону» заказали полноформатный обед с белым «Обелиском» и пивом для Серёги, который от предложения отобедать с делегатами сначала отнекивался, но, уловив обиженные нотки в голосе Савойского, быстро сдался и даже принял участие в формировании меню. По его предложению заказали «мачви» из голубинового мяса с рисом, зеленоватый соус «тахини». Трапеза прошла в хорошем темпе, изредка жевание прерывалось для глотка-другого «Обелиска» и «Стеллы».

После обеда отдыхать не стали, сразу поехали смотреть здание администрации канала, и вправду элегантное, трёхкупольное, с балконными арками по периметру. Бегло оглядели новую мечеть неподалёку, и по плану Серёга вознамерился было везти делегатов в хвалёный Национальный музей, но неожиданно пацифист Савойский потребовал везти его в Военный. На вопросительный взгляд коллеги ответил:

— Для дела нужно. Может, посетят кой-какие озарения.

Бегло осмотрев внутреннюю экспозицию, делегаты с Серёгой вышли во двор музея. Савойский отделился от сотоварищей и пустился бродить между грозных орудий времён тройственной агрессии, иногда замирал перед какой-нибудь пушкой на пару минут и делал быстрые почеркушки в прикупленном на толкучке блокнотике коротеньким карандашиком. Неожиданно потребовал ехать на центральную площадь, смотреть обелиск в память защитников города в 1956 году.

Покружив вокруг обелиска, Савойский вернулся в машину.

— Ты не устал? — заботливо спросил Карагодин.

— Венец трудов превыше всех наград. Хотя и трудов на сегодня достаточно.

Sunday–Sunday!

Титульный пункт программы воскресного дня — поездка в Порт-Фуад на пляж — подразумевал определённую подготовку. Позавтракали лаконично: выпили «Нескафе» из пакетиков с галетами в аэрофлотской упаковке, завалявшиеся в карагодинской «таксе», и двинулись на базар, где под чутким руководством Серёги набрали лепёшек, кусман пикантного твёрдого сыра *givna gumi*, порядочную полосу халяльной пастермы, бананов, несколько долек пахлавы и прочих восточных сладостей. Загрузили снедь в новую сумку Карагодина, где уже томилась пара «Обелисков», сэкономленных благодаря алаверды Фёдора, прихватили по дороге жену Серёги Нину и поехали в Порт-Фуад. Собственно, поехали к переправе, где перегрузились на небольшой паромчик, который перевёз их на другой берег канала в Порт-Фуад, уютный городок, построенный ещё французами для работников канала. Прошли по набережной, украшенной невысокими пальмами, мимо пустынных песчаных пляжиков. Наконец, расположились на тёмном песке в нескольких метрах от кромки воды. Расстелили «попонку», прихваченную Ниной, водрузили пляжный зонтик с неизменными верблюдами и принялись устраивать стол.

Нетерпеливый Карагодин сделал несколько шагов по тёплому песку, потрогал воду ногой и поморщился.

— Сезон, конечно, не купальный. Но при желании окунуться можно. — Серёга вынул из пляжной сумки флакон «Белой лошади» и пластиковые стаканчики. — Для этого у нас имеются спецсредства.

Через полчаса компания выглядела вполне по-сочински: из прихваченного Серёгой радиоприёмника лилась нескончаемая арабская песня, шумно дегустировали экзотическую базарную снедь, сдабривая блюда неизменным «Обелиском», фотографировались на фоне разноцветных танкеров. Пару раз Карагодин и Серёга с визгом влетали в средиземноморские воды, делали короткий заплыв и возвращались к столу, покрытые мурашками, дрожащие, но счастливые.

Два пожилых араба остановились на тротуаре набережной и что-то долго обсуждали, изредка бросая гневные взгляды в сторону развесёлого пляжного бивуака.

Савойский от водных процедур благоразумно отказался и составил компанию хозяйственной Ниночке, которую подробно расспросил о технологии

приготовления жареных корнишончиков, после чего на деликатном расстоянии от бивуака устроился принимать солнечные ванны, изредка приподнимаясь на локте и делая в блокнотике таинственные заметки.

Отважные купальщики вскоре тоже утомнились и разлеглись на полотенцах «напитаться праной», как высокопарно выразился Карагодин.

Светило достигло апогея и припекало вполне ощутимо. «Как велик и многообразен этот мир, — проступила сквозь золотистую дымку паров «Белой лошади» в голове Карагодина простая мысль, — как он покоен и гармоничен!.. Жаль только, Дарьи нет рядом».

— Хорош дрыхнуть, товарищ, — на лицо Карагодина легла тень склонившегося над ним маэстро. — И снова в бой, покой нам только снится! Вставай, поедем на точку. У меня кой-какие мысли образовались.

Через полчаса всей командой неспешно прогуливались по пирсу, дышали свежим морским бризом. Савойский деловито чиркал в блокнотике, отделился от компании, окидывал открывающуюся с пирса панораму города и снова чиркал. Следуя примеру маэстро, Карагодин достал свой блокнотик, задумчиво посмотрел на желтоватую страницу дешёвой бумаги, написал: «Международный бизнес-центр. Русский ресторан: уха по-монастырски, фаршированный поросёнок, щеки осетра, блины с чёрной икрой, кулебяка с визигой». Больше ничего в голову не приходило. Хлопнул себя по лбу, крупным чертёжным шрифтом вывел: «Звонок Татьяны — вечером!» И сунул блокнотик в задний карман джинсов.

Далее всё пошло без творческих отклонений, по утверждённому плану. Покатались по нарядному центру города, поехали в его западную часть. На улице Волгограда сделали остановку, чтобы Карагодин смог пройтись по горячему асфальту и восстановить искомую психологическую симметрию, крутанули по площади Волгограда и снова остановились. В небольшой лавке, пропитанной пряной смесью экзотических ароматов, делегаты прикупили по порядочному флакону масла «Пять секретов пустыни» и массу колбочек с рекомендованными Ниной парфюмерными эссенциями.

— Я вас сейчас заброшу к Сергей Юричу, — сказал Серёга, — он очень приглашал, вам у него очень понравится, и через часок приеду. У нас с Ниной кой-какие дела по хозяйству.

Вице-консул жил совсем неподалёку в просторной трёхкомнатной квартире, полной книжек и шикарных альбомов по истории Египта, здоровенных анубисов из чёрного дерева по углам и устрашающего вида масок на стенах. Миловидная стрижаковская жена Алёна заварила кофейку. Вполне по-семейному присели на диван к низкому, но просторному столику, на котором стояло чеканное блюдо с фруктами и ещё одно, поменьше, с орешками ассорти.

Выслушав рассказ о визите на финиковую плантацию, хозяин немедленно достал из бара в форме глобуса на деревянной подставке красивую бутылку местного финикового ликёра, который вначале добавляли в кофе, затем просто пили из узких ликёрных стопок.

— Шикарный напиток, — сказал Карагодин, — не хуже «Абу-Симбела».

— Это всё-таки разные вещи. — Стрижаков снова обратился к волшебному глобусу, и на столике появилась початая бутылка «Симбелы». Занялись сравнительным анализом.

Час пролетел как одно мгновение. Появился пунктуальный Серёга. Прощаясь, Стрижаков сказал:

— Вы, как я помню, улетаете через день, вечером. На обратном пути вам надо обязательно заехать в Гизу, на пирамиды. Без этого ваша культурная программа будет неполной.

— Иного не дано, — рассмеялся маэстро, — генерал-губернатор дал нам по этому поводу строжайший наказ.

У мужчины только одна родина

— Какой длинный день, — вздохнул Савойский, присаживаясь к ротанговому столику на лоджии, где с бокалом «Обелиска» в руке расположился Карагодин. Тот оторвал взгляд от огоньков, мерцающих на горизонте, молча плеснул в бокал маэстро немного вина, подвинул латунное блюдо с финиками.

— Ты какой-то задумчивый, товарищ. Нечасто такое наблюдаю. Тревоги? Очистительные мысли о бренности сущего? Абу-Симбел не пошёл?

— Жду звонка, Татьяна обещала позвонить. Вот, жду.

— Понятное дело, разделяю, — тон друга был вполне серьёзен. — Я сегодня тоже буду на родину звонить.

— Экий ты пафосный, — улыбнулся Карагодин, — на родину... В Волгоград, что ли?

— У мужчины только одна родина — его женщина. Его любимая женщина. А географические координаты — это дело постное, к художнику прямого отношения не имеет.

«Что-то в этом есть, — подумал Карагодин, — собственно, самое главное и есть...»

Разговор маэстро с Аныванной долетал до лоджии в форме пассажира неразборчивого, но полного эмоциональных модуляций гула, перемежающихся долгими паузами. Казалось, он не закончится никогда. «О чём они говорят? — пытался понять Карагодин. — Они ведь совсем недавно расстались, о чём можно так долго говорить? Ну как долетели-устроились, ну о встрече с губернатором. О лайковом плаще, наконец... Нет, тут какая-то тайна. Что-то у маэстро с Аныванной есть такое, что требует этих страстных диалогов, и вряд ли бизнес-проекты занимают в них большое место».

Наконец, разговор завершился. Но Карагодин ещё долго сидел в свете высоких звёзд, слушал шелест волн, гадал, о чём же его друг так долго говорил с «родиной».

Наконец, посмотрел на циферблат «Ролекса», осторожно прошёл в спальню, взял с тумбочки маэстро трубку радиотелефона. Послушал, как тот посапывает во сне, как бормочет невнятные указания, прошитые уже знакомым рефреном «Аныванна, Аныванна...», и вернулся на лоджию.

Он вылил в бокал остатки «Обелиска», сделал глоток, откинулся на спинку кресла.

Его одолел приступ какой-то грустной зависти к другу. Он рассматривал гирлянду мерцающих в ночи корабельных огоньков, думал: вот так и моя жизнь, в каком-то смутном ожидании... И даже непонятно: кого? чего?.. Или всё-таки кого?

Накатило воспоминание: волшебные годы, полувзрослая юность, поездка с классом на юг. Портовый город Потти. Заморские корабли на рейде, солоноватый запах гниющих водорослей. Хрустящий целлофан нейлоновых носков, купленных у какого-то грека. Первая затяжка фирменными «Marlboro», приобретёнными у назойливого абхазского хлопца. Тот после сделки не отбыл, как бы полагалось, по своим делам, а назойливо крутился около классных красавиц, которые высокомерно не желали его замечать. Вдруг прыгнул к красотке Голубкиной, прихватил её за шею и неожиданно

поцеловал. Та не успела увернуться от наглеца, но рефлекторно плеснула в него из гранёного стакана горячим кофе, который расплылся по белым джинсам абхаза бурыми пятнами. Однако джигит превозмог боль, сверкнул в темноте белыми зубами, засмеялся: «Красивая, а злая, злая!» Увидел Карагодина, тайно влюблённого в одноклассницу, и его друга Жеку, двинувшихся к нему с явно недобрыми намерениями, прошипел какое-то местное ругательство и исчез в иссиня-чёрной тени разлапистых туй.

Карагодин пошевелил ступнёй, так неосмотрительно припечённой на пляже, и поморщился.

«Чёрт, почему же она не звонит? Ну, да ладно, разные могут быть обстоятельства...» — примирительно подумал он, опёрся о ротанговые подлокотники кресла, и тут раздался звонок.

— Привет, — в голосе Тани прозвучала трогательно-нежная нотка.

Сердце Карагодина радостно подпрыгнуло.

— Привет... А я тут сижу на лоджии, жду твоего звонка... Такой красивый, тихий вечер. Так жаль, что тебя нет рядом.

Послышался негромкий смех.

— Врёшь, наверное...

— Вру... Просто услышал твой голос и... подумал, карамба, почему тебя нет рядом!

— Я рядом...

— Прошлый раз как-то... нервно поговорили. Как-то нехорошо на сердце было. А сейчас услышал твой голос...

— Да, у меня то же самое. И ужасно хочется к тебе на лоджию.

— Я тебе «Пять секретов пустыни» купил. Ароматы тайны. Если развести несколько капель в спирте, получатся роскошные духи.

— Не хочу тайну ничем разводить, пусть будет как есть, стопроцентная.

Карагодин принялся рассказывать о том, как маэстро нашёл фантастическое место для монумента, о поездке в Порт-Фуад, и как душевно их принимал вице-консул Сергей. Таня ахала, требовала деталей, напоследок сказала:

— Давай прощаться. Я от подружки звоню, а уже поздно. Позвони мне в среду утром, хорошо? Целую тебя.

Карагодин ещё долго сидел на лоджии, выстраивал взглядом непривычно яркие звёзды в созвездия, знакомые по учебнику астрономии, и был счастлив, когда это удавалось. И вообще был счастлив от ощущения какого-то душевного равновесия.

«Аныванна...» — донеслось на лоджию из темноты спальни. Карагодин понимающе улыбнулся, подумал: «Интересно, какое у Татьяны отчество?»

Это просто невероятно — три встречи за неполную неделю!

Сладкий сон делегатов был разрушен самым варварским образом — настойчивыми трелями телефона в гостиной. Савойский, не открывая глаз, пробормотал:

— Кто здесь? Который час? — Повернулся на другой бок и снова провалился в нирвану.

В тяжёлой голове более реактивного Карагодина запрыгало: «Татьяна? Фёдор? Серёга? Который час? Кто это там с ума сходит?» Глянул на часы — была половина десятого.

— Алле, — недовольно сказал в трубку и почувствовал накат освежающей адреналиновой волны.

Звонил архитектор господин Ряз. После вводных извинений сообщил, что генерал-губернатор приглашает делегатов к одиннадцати часам на встречу. Хотел бы увидеться, так как срочно уезжает в Каир. Карагодин осторожно напомнил, что по плану аванпроект должен быть представлен завтра утром. Выслушал ответ — адреналиновая волна медленно откатилась. Конечно же бумаги ждут до завтра, просто генерал-губернатор хотел попрощаться, так как в Каире задержится на пару дней. Архитектор ещё раз извинился за ранний звонок, сказал, что через час сам заедет за делегатами.

Карагодин растолкал маэстро, обрисовал ситуацию.

— Это хорошо, — зевнул Савойский, — приглашает, значит уважает. Я, признаться, думал ещё раз махнуть на толчок — шарфик-то мы для Аны-ванны не прикупили... Да ладно, уважим губера, парень он вроде неплохой.

Позвонили в консульство. Секретарь соединил с Пал Петровичем.

— Это просто невероятно, — обрадовался тот, — три встречи за неполную неделю. Молодцы ребята!

Договорились, что после randevu делегаты заедут в консульство обсудить что и как.

«Неплохой парень» встретил делегатов как родных. С удовольствием выслушал избирательный рассказ о культурных обретениях дорогих гостей, довольно кивал, когда речь зашла о военном музее. Нажал золочёную кнопку на столе. Вошёл секретарь с подносом, на котором стояли три чашки кофе и сахарница. «Спецкнопка, — подумал Карагодин, — кофейная. Хотя прошлый раз он ей архитектора вызывал... ну да ладно — Восток!»

Генерал-губернатор сообщил, что основная идея маэстро ему очень нравится, но требует согласования с высшим руководством. Возможно, и даже очень вероятно, объявят тендер.

— Мы тендеров не боимся, тендер — святое дело, — сказал Савойский.

Карагодин перевёл, и лицо генерал-губернатора выразило высшую степень удовлетворения таким пониманием дела.

Договорились, что подготовленные документы делегаты оставят в консульстве.

По возвращении генерал-губернатора их немедленно ему передадут. Ещё раз поинтересовался, довольны ли делегаты гостиницей, есть ли у них ещё какие-нибудь пожелания, и, коли таковые возникнут, господин Ряз их немедленно удовлетворит.

Маэстро произнёс слова благодарности за чудесный и плодотворный приём. Аудиенция закончилась прочувствованными и дружественными рукопожатиями.

Архитектор остановился у здания консульства, ещё раз напомнил, что всегда к услугам дорогих гостей, и угнал на своём белом «мерседесе».

Пал Петрович и Стрижаков внимательно выслушали рассказ делегатов о встрече, переглянулись.

— Молодцы, да и только, — сказал Пал Петрович. — Губернатор редко кого таким вниманием балует. Как понимаю, осталось подготовить проект?

— Проект готов, — поправил Савойский. — Осталось его оформить на бумаге.

И маэстро объяснил, что будет очень признателен, если Пал Петрович предоставит возможность воспользоваться его ресурсами, собственно, выделить компьютер и принтер и определить, когда будет удобно ими воспользоваться.

— Да хоть сейчас, — с готовностью откликнулся консул, — садитесь и работайте.

Решили не суетиться, сначала съездить в «Норас», пообедать, забрать материалы, то есть почеркушки маэстро, и уж тогда приступить к трудам.

Обед прошёл на подъёме, предстоящие труды кулинарных амбиций делегатов не смущали, обедали с привычным размахом.

Маэстро, не глядя в меню, затребовал «Аиду» — местное шампанское, которое в день приезда делегаты получили от администрации «Нораса».

— Смелое решение, — оценил Карагодин.

— Мой талант расцветает только в роскоши, — пояснил Савойский.

— Чувствую, мой тоже.

Вспомнили о шарфике для Аныванны.

— Чёрт с ним, с шарфиком, будет повод ещё раз сюда вернуться.

Термоядерный кофе с обильной пенкой, которым делегаты завершили обед, проветрил мозги наркотическим сквознячком и настроил на трудовые подвиги.

Аванпроект обрёл искомую солидность

В три часа пополудни прибыли в консульство. Нина, жена Сергея, которая, как оказалось, тоже работала в консульстве на каких-то третьих ролях, — по всей видимости следила за чистотой и порядком, — принесла поднос с кофейником, чашками, сахарницей и парой бутылочек колы. Положила на столик с компьютером трубку радиотелефона, сказала:

— Если проголодаетесь, наберите семнадцать, я вам принесу перекусить. В город звонить через девятку.

Савойский присел к компьютеру и указательными пальцами обеих рук, однако довольно резво, периодически сверяясь с блокнотиком, стал набирать текст. Карагодин со своим блокнотиком устроился в кресле у журнального столика и стал грызть кончик шариковой ручки с логотипом «Нораса», понуждая притупленный обильным обедом и шампанским мозг к действию. Когда пластиковый кончик ручки потерял форму и превратился в подобие крошечного совочка, процесс пошёл. Прерываясь на кофеиновые инъекции, Карагодин строчил что-то в блокнотике и вскоре исписал его до обложки. Пересел к канцелярскому столу с электрической машинкой «Оливетти», заправил лист писчей бумаги и застрекотал короткими очередями.

— Мил-друг, сделай мне распечатку, чтобы я ощущал результат, — попросил Савойский. — Ты же продвинутый пользователь как-никак.

Мил-друг зарядил в принтер стопку листов, и через минуту результат трудов маэстро обрёл вещественную форму. Савойский выровнял об стол листочки, аккуратно положил по левую руку. И снова принялся тыкать указательными пальцами в клавиатуру.

Вдохновенные труды делегатов были прерваны появлением Пал Петровича и Стрижакова. Оказалось, что пришли попрощаться — рабочий день закончился и им пора по домам. Уважительно смотрели на разбросанные по столу Карагодина листы с многочисленными пунктами и подпунктами. Заверили, что как только генерал-губернатор вернётся в Порт-Саид, немедленно передадут ему документацию и если возникнет нужда в их помощи, всё сделают на высшем уровне. Заверили также во всемерном уважении и вечной дружбе и отбыли, оставив на дежурстве Ниночку.

Выпили второй кофейник. Сделали короткий перерыв. Принялись сводить экспликацию монумента Савойского и бизнес-фантазии Карагодина. После решительных правок маэстро «Сады Семирамиды-9» Карагодина обрели наглядность и весомость. И в целом аванпроект обрёл искомую солидность.

Позвонили Ниночке.

— Ещё кофе? — спросила она.

— А не найдётся ли у вас пары бутылочек пивка? — смущаясь, спросил Карагодин.

— Найдётся, у нас всё найдётся!

Было очевидно, что Ниночка этой неожиданной просьбе обрадовалась, видимо, полагая, что работа близится к завершению, и через несколько минут принесла ледяную «Стеллу» и пару бокалов.

Однако надежды Ниночки оказались напрасными. После пивного тайм-аута работа закипела с новой силой. Карагодин набирал на компьютере текст своего раздела, неуёмный маэстро вносил новые и новые правки, а когда документ был готов, сказал:

— Ваше слово, товарищ маузер.

И отсел в кресло с бокалом пива.

Карагодин погнал перевод.

Вскоре появилась Ниночка. Картина, которую она увидела, её не обрадовала: Карагодин бешено печатал на компьютерной клавиатуре, периодически закидывал голову назад, закатывал глаза, что-то шептал бледными губами и снова печатал. Савойский, устроив бокал с пивом между ладоней, как птенца в гнезде, мирно посапывая, дремал в кресле.

— Простите, пожалуйста... вам ещё много осталось?

— Ниночка! — Савойский открыл глаза. — Как вы вовремя!

Оказалось, что бутылка пива — не проблема. Но проблема есть: ей нужно домой укладывать ребенка. Договорились: как только всё будет готово, делегаты позвонят ей домой, за ними приедет Серёга и отвезёт их в гостиницу. А бумаги пусть оставят на журнальном столике. И пусть ни о чём не волнуются.

Доставив около полуночи делегатов до спящего «Нораса», Серёга сказал:

— Мне Сергей Юрич сказал, что вы на пирамиды хотите. Так что выедем пораньше, часов в десять. Сергей Юрич прав, быть в Египте и не увидеть пирамид, это...

— Нонсенс! — подсказал Карагодин.

— Вот именно — нонсенс! Так что в девять ровно я у вас.

Всё боится вечности, а вечность боится пирамид

«Жигулёнок» цвета «вишня» с делегатами на борту летел на юг по прямой магистрали вдоль канала, с неожиданным проворством пожирая километры горячего асфальта, в дальней перспективе которого плавилось серебристо-синее облачко дорожного марева. Обсудили план финальной части культурной программы.

— Пересекаем «Каср», то есть Город, — именно так, объяснил Серёга, местные именуют и Каир и собственно Египет. — Далее едем на пирамиды, в Гизу. Это район Каира на левом берегу Нила.

Там путешественники уходят в свободный полёт, а Серёга выполняет в Каире поручения Стрижакова, наказы супруги Ниночки, в назначенное время забирает делегатов и везёт в аэропорт.

Вскоре утомлённые полуночными трудами делегаты задремали. А когда проснулись, машина уже неслась по пригородам огромного коричнево-серого «Касра». Дома пошли плотнее, отлетали за окнами прочь сплошной серой стеной. Серёга сбавил скорость, машина вышла на кольцевой разворот и оказалась на широкой оживлённой улице. Савойский опустил стекло, и в салон накатила волна — дыхание большого города.

В нем смешались ароматы кофе, парфюма, табачного дыма, шаурмы, прочей уличной снеди, автомобильные выхлопы, запахи уличной пыли и каких-то пряностей.

— Да, покруче Порт-Саида будет, — в голосе Савойского звучало восхищение.

— Восемнадцать миллионов человек, четверть всего населения Египта, — с гордостью сказал Серёга. — А сколько с пригородами — вообще никто не знает. Столица Северной Африки.

Он перестроился, сбавил скорость, медленно барражировал в правом ряду.

«Какой колоритный город, — в голове Карагодина оживали картины его давнего знакомства с Каиром, когда он был совсем молодым человеком, с длинными патлами «а-ля Beatles» и распахнутым настезь сердцем. — Боже, как я изменился. А Каир остался прежним — городом арабской сказки...»

Между припаркованных машин сновали разносчики чая с маленькими подносиками, на тротуарах продавцы всякой всячины выкрикивали на всю улицу гортанные призывы купить их пёструю товарную разносорицу, бешено работали щётками чистильщики обуви. Миновали несколько роскошных бутиков, у одного из них истошно бляла привязанная к ветхой повозке коза.

По магистрали, засаженной редкими пальмами, выехали к Гизе. Открылись верхушки пирамид.

— Через пять минут будем на месте, — сказал Серёга.

У тикет-офиса делегаты выгрузились. Неподалёку кучковалась группа арабов в грязноватых национальных хламидах, к решётке ограды были привязаны несколько сонных осликов и пара антисанитарных верблюдов.

— Построже с погонщиками — они тут наглые, как черти. Если решитесь на верблюдов, цену сразу делите на три. Встречаемся на этом же месте через полтора часа, то есть в половине третьего. Ну, до встречи.

Серёга прыгнул в «жигулёнок», дал два коротких сигнала на прощанье и полетел по делам.

Делегаты приобрели билеты, проигнорировали призывы погонщиков и отправились в свободный полёт по канонической истории древнего мира.

Сфотографировали друг друга у Сфинкса с изъеденным безжалостными веками лицом: Карагодин увидел пару отколовшихся от группы скандинавских девиц, стал совать им камеру. Девочки камеру взяли, залились смехом, щебетали «бакшиш! бакшиш!» Сошлись на бартере. Девушка постарше щёлкнула делегатов, а Карагодин, после старательного кадрирования, сфотографировал веселух их здоровенным зеркальным «Кэноном», и те вприпрыжку побежали догонять группу.

Минут за двадцать под палящим солнцем добрались до пирамиды Хеопса. По дороге отбивались от лошадиников и верблюдинок, животные которых, украшенные живописными сёдлами и затейливой сбруей, источали малоприятное амбре.

Второй бедой были чумазые и наглые дети, которые пытались впарить делегатам гипсовые пирамидки, выточенные из песчаника гробницы фараонов и наборы аляповатых открыток. Или прыгали рядом и нудили «бакшиш! бакшиш!»

Главная и самая старая пирамида, единственное из семи чудес света, дожившее до наших дней, подавляла общими размерами и размерами блоков, из которых неведомые великаны её сложили. Савойский принялся мерить шагами сторону пирамиды, насчитал триста шагов, сбился. Чертыхнулся и полез по ярусам блоков наверх, к прямоугольной дыре, зияющей на высоте

нескольких метров. На минуту исчез в чёрном провале и вскоре появился, зажимая нос пальцами.

— Миссия невыполнима, — объявил он, спустился на ярус ниже, раскинул руки, вполне по-авторски представляя пирамиду коллеге, и тот запечатлел выгодный ракурс на фотоплёнку.

Пристроились было к подошедшей группе, среди которой были знакомые скандинавки. Помахали друг другу ладошками. Попытались слушать гидесу, но быстро наскучив цифрами, которыми та не переставая сыпала, решили самостоятельно двинуться дальше к пирамиде Хефрена, однако дойти до неё не получилось.

На полпути пересеклись с интеллигентного вида египтянином. У него были грустные глаза больного спаниеля, неплохой английский и холщовая торбочка, из которой после краткой вводной части он извлёк головку Нефертити из грязно-серого камня, «настоящий артефакт», только что найденный на раскопках. Доверяющий своему эстетическому чувству Савойский поинтересовался, не продаётся ли головка царицы и если да, то за сколько.

— Он хочет двадцать фунтов, — смущённо перевёл Карагодин, после чего Савойский немедленно вынул деньги, забрал артефакт, спросил, нет ли других находок.

Почуввав настоящего знатока, египтянин сообщил, что он ассистент археолога, что находки действительно есть, и увлёк делегатов к палатке возле порядочной ямы, похожей на воронку от фугаса. На противоположной стороне ямы делегаты увидели фрагмент обнажившейся полуразрушенной кладки, что придавало яме вид начальной стадии раскопок. В палатке оказался собственно археолог, довольно пожилой дядька, который с опасливой готовностью выложил из картонных коробок на деревянную лавку древние артефакты, покрытые патиной тысячелетней грязи.

Савойский, не торгуясь, купил Анубиса из чёрного камня, сплошь в сизых потёках минувших веков. Карагодин, не желая отставать от товарища, выбрал из коллекции здорового скарабея, довольно искусно вырезанного из плотного песчаника, и птичку, похожую на сокола, с фрагментом головного убора на плоской головке. «Бог Гор, — почтительно объяснил археолог, — двадцать фунтов».

Торговаться за бога показалось Карагодину неприличным.

— Всего тридцать пять.

Карагодин отдал архитектору деньги. Ассистент аккуратно упаковал приобретения делегатов по отдельности в плотную коричневую бумагу, перетянул скотчем, попросил:

— Пожалуйста, никому не говорите, где вы их купили.

И депутаты волшебную палатку покинули.

Карагодин посмотрел на свой новенький «Ролекс» — время поджимало, нужно было возвращаться. Ассистент архитектора, который вышел вместе с делегатами, этот взгляд заметил. Спросил, куда они направляются, издал гортанный крик, и этот громкий зов был услышан. Из-за полуразрушенной стенки в полусотне метров от палатки как по волшебству выплыла пара верблюдов с помпезными сиденьями на горбах в сопровождении закутанного в белую хламиду погонщика.

Вспомнили наказ Серёги — цену делить на три. Погонщик назначил по пятнадцать фунтов с человека. Карагодин предложил пять. Погонщик воздел руки, как бы призывая небеса в помощь против такой несправедливости. Ассистент строго сказал ему что-то по-арабски. Погонщик недовольно про-

ворчал в ответ, однако взял одного верблюда за узду, слегка ударил его палкой по ноге, и тот покорно присел на жёлтую землю.

— Всё будет хорошо, через десять минут будете на месте, — успокоил ассистент и ушёл в палатку.

Савойский взгромоздился на сиденье, верблюд встал. Карагодин влез на другого верблюда, и караван тронулся в путь.

Делегаты покачивались на горбах, обменивались впечатлениями: высоко, страшно, но конечно же здорово. В памяти останется. И оказались недалеко от истины. Действительно, через десять минут они были у тикет-офиса.

Погонщик щёлкнул карагодинского верблюда по коленке, тот неторопливо присел, и седоку удалось сползти на твердь. Его слегка покачивало.

Погонщик жестом показал, что надо расплатиться. Тот протянул ему мятую десятку.

Погонщик воздел руки к небу:

— Thirty pounds, thirty pounds for two! Fifteen and fifteen! Thirty!

Было ясно, что без этих денег Савойского на землю он не спустит.

Возмущённый наглостью погонщика, Карагодин начал яростный торг.

— Да чёрт с ним, с этим дундуком, отдай ты ему эти деньги. Меня реально укачало, — взмолился Савойский.

Не желая сдаваться без борьбы, Карагодин добавил ещё одну мятую десятку.

Погонщик снова воздел руки к небесам, выдал бранчливую тираду, неожиданно выдернул бумажки из руки Карагодина, и через мгновение Савойский был на земле.

— Good, good, — погонщик щёлкнул верблюдов по задкам, поросшим свальной и грязной шерстью, и погнал их к ограде, где кучковались собраты по бизнесу.

— Вот сволочь, — сказал Савойский, — но вообще неплохо прокатились, будет что рассказать.

Пунктуальный Серёга прибыл точно в срок. Сообщил, что по пути в аэропорт ему нужно тормознуться в Каире, не успел купить кой-чего по списку супруги Ниночки. По дороге делегаты восторженно делились своими впечатлениями о Сфинксе, пирамидах.

— Да, без Гизы культурная программа была бы неполной, — соглашался Серёга.

Почему-то опустили историю с археологами. Зато подробно костерили подлого верблюдика.

— Я вас предупреждал, — смеялся Серёга. — Ушлый народ. С ними нужно держать ухо востро. Но молодцы, что хоть частично отбились.

Остановились у магазинчика с детскими колясками и пластмассовыми игрушками в стеклянной витрине. Делегаты тоже решили воспользоваться остановкой. С уличного лотка на колесах купили и с аппетитом съели по сосиске, залитой огненным соусом и упакованной в свежайший рогалик. Выпили по стаканчику каркаде. Прошли по тротуару мимо сувенирных развалов.

— Стоп, — неожиданно сказал Савойский, остановившись у очередной лавчонки. — Это интересно.

— Что интересно? — спросил Карагодин и окоченел.

Из-за пыльного стекла витринки пустыми выпуклыми глазами на него смотрели головки Нефертити в окружении скарабеев, анубисов и прочих древних артефактов, полчаса назад приобретённых в археологической палатке.

Под переливчатый звон бронзовых колокольцев на входной двери вошли в помещение. На длинном деревянном столе в аккуратных картонных коробочках со снятыми крышками рядком лежали миниатюрные клоны цариц и богов.

На сигнальный звон колокольцев из проема за прилавком появился улыбчивый арабский молодец с перепачканными белесой пылью руками.

После взаимных салам алейкумов Карагодин ткнул пальцем в коробку с богом Гором:

— How much?

Оказалось, что недорого, два фунта за штуку, если берёшь больше пяти — то фунт.

Савойский всё понял без перевода. Сумрачно сказал:

— Это мастерская. Они их здесь и клепают. Ты ему скажи, что я скульптор, хотел бы посмотреть производство. Скажи, что русский скульптор.

Визит такого важного гостя явно обрадовал молодца. Он готовно откинул боковую часть прилавка и провёл делегатов в пыльное помещение, где за низкими столиками тройка мастеров в грязных фартуках в поточном режиме трудилась над созданием пантеона богов. Один из них маленьким долотом из куска белого камня делал грубую болванку, другой стамеской формировал божественный лик, третий при помощи резцов доводил продукт до товарного вида.

Молодец взял со столика готовую головку Нефертити, с видом фокусника сунул её в кастрюлю с какой-то мутной жижей, подставил под струю горячего воздуха электросушилки для рук, укрепленной на стене, и через минуту вручил Савойскому точный клон артефакта, приобретённого в палатке археолога.

— Present, — молодец обнажил в улыбке ряд кукурузных зубов, — Egyptian souvenir.

Из мастерской делегаты вышли обременённые парой пластиковых пакетов.

Савойский прикупил пять статуэток бога Гора, Карагодин — пять головок Нефертити.

— Ну и сволочь археолог — надул русского скульптора, — смущённо посетовал Савойский.

— Нет худа без добра, — утешил друга Карагодин, — на круг не так уж дорого и получается. Зато всех задарим по самое не горюй!

До аэропорта домчались птицей. Серёга проводил делегатов до стойки регистрации. На прощанье те поочерёдно приобняли хорошего человека, обменялись телефонами, звали, если случится возможность, в гости, грозились устроить «совершенно нереальную» рыбалку на Дону.

— Думаю, мы скорее здесь увидимся, — смеялся тот, — вы тут уже такой мастер-класс показали!

Домой!

Москва встретила делегатов нехорошими позёмками, которые после лилейных средиземноморских бризов вызывали чувство какой-то вселенской неустойчивости. В автобусе Шереметьево — Домодедово почали фляжку «Ballantine's», прикупленную в duty free каирского аэропорта. Пара глотков эликсира волшебным образом примирила путешественников с несовершенствами отечественного климата. Утешало и то, что по прилёте в Шереметьево без каких-либо проблем удалось купить билеты на последний рейс в Волгоград.

Из Домодедово, несмотря на поздний час, решили позвонить Короляшу. Среди египетских пиастров Карагодин нарыл в кошельке несколько корич-

невых жетонов. Пару из них автомат тут же сожрал, третья попытка оказалась удачной.

— Ну, вы даёте, орлы, — голос Короляша звучал недовольно. — Мы тут целую программу для вас сверстали. А вы вон чего удумали. Так порядочные люди не поступают.

Сумбурные извинения Карагодина — измаялись, дела требуют немедленного присутствия в Волгограде, привезли для вас море презентов, особый для тебя — реальный артефакт, с раскопок на пирамидах, скоро приеду, голову даю на отсечение... — наконец-то были приняты.

Карагодин сунул в шель таксофона последний жетон.

— Ладно, ладно, — сказал Короляш, — а то я расплачусь. Привет Савойскому, отличный мужик. Ну а вообще — удачно съездили?

— Ещё как удачно, — в ажитации начал было Карагодин, но тут автомат щёлкнул и связь оборвалась.

— Хорошо сделали, что позвонили, — сказал Савойский, — достойные ребята. А презенты они получают. За нами не заржавеет. Главное, что они у нас есть.

Гулкий и невнятный женский голос объявил о начале регистрации, делегаты подхватили сумки и двинулись к стойке № 8.

«Убить топтыгина»

По возвращении домой жизнь не сразу вошла в привычное русло. Некоторое время приятную нервозность в неё приносили депеши, которыми обменивались администрации городов-побратимов: определились участники тендера, назначены сроки представления макетов, предварительные сметы. Наконец, стала известна дата конкурса.

Люсиль держала свою изящную лапку на пульсе событий, сообщая маэстро обо всех движениях по проекту.

Савойский безвылазно пребывал в своей мастерской, расположенной в цокольном этаже дома по улице Мира и похожей на подземные владения короля Бофаро, щедро плодил всё новые и новые сущности и тут же разрушал их не знающей жалости твёрдой рукою.

Карагодин по призыву университетского друга, а ныне кинопродюсера, полетел в Москву, где был назначен рулить на съёмочной площадке коневозками, каскадёрами, дождевальными машинами, реквизиторами, улаживать летучие локальные свары внутри российско-итало-американской команды, которая была задействована в вестерне «Убить топтыгина». Вестерн из экономических соображений снимался в подмосковном Алабино, на территории Кантемировской дивизии, где по красивой иллюстрации из монументального альбома «История среднего запада США» был построен вполне натуральный фрагмент городка с гостиницей, баром, парикмахерской и даже небольшой церковкой.

Карагодин жил на два дома. Один — полулюкс в гостинице «Мосфильма», другой — просторная квартира Дарьи. Как-то приволок к ней чуть не всю актёрскую команду — показать русское гостеприимство. На полученный аванс закупил вина и прочих деликатесов. Дарья замесила бадью утинового салата — свою кулинарную фишку, напекла блинов, выставила хрустальный туюсок красной икры, шведскую, очищенную от костей селёдку, филигранные нарезки из свинокопчёностей. Итальянцы клялись в верности Берлускони и вообще вели себя националистически. Пели итальянские песни. Пили итальянское вино, политесно закупленное Карагодиным, но тоже политесно пили — без комментариев. Франко скромно сидел в углу.

Дарья с подругой Инной тоже пели русские романсы на два голоса. Когда гости почувствовали усталость, стали собираться. Наконец, ушли.

— Шикозные ребята, — сказала Инна, — а кто это в углу сидел, знакомое такое лицо.

— Франко, — простодушно сказал Карагодин.

— Франко?

— Ну, Франко Неро.

Глаза Инны округлились...

— Почему мне никто не сказал? — слёзы навернулись на её ореховых глазах. — Почему мне никто не сказал, вы, сволочи?

— Почему я — сволочь? — пытал ночью Дарью Карагодин.

— Тебе не дано понять наши девичьи тайны, — отвечала московская красавица.

«Господи, и после этого мы говорим о какой-то духовной близости ...» — негодовал Карагодин.

Мой друг гений!

По возвращении в город на Волге Карагодин, распираемый любопытством о ходе проекта, а также впечатлениями о работе с голливудцами и местными кинозвездами, нанёс Савойскому визит. И вовремя нанёс. Макет был готов.

К своему удивлению, ожидаемого триединства — солдата, рабочего и крестьянки — Карагодин не увидел: на базе стилизованной пирамиды ввысь устремлялась мощная колонна, которую венчала женская фигура с поднятыми к небу руками.

— Вот так-то, — сказал маэстро, читая мысли друга. — Это будет правильно. Это будет жить.

— А триединство?..

— Триединство, ну... триединство, так — разговор затеять. У искусства свои законы.

Впрочем, одного взгляда на макет монумента было достаточно, чтобы понять, как трудно будет конкурентам переплюнуть масштабную аллегория маэстро.

— Мама родная, ты гений, — прошептал Карагодин, — мой друг гений! Ни острый галльский ум, ни сумрачный немецкий гений такого не достигнут!

— Возможно, ты и прав. Хорошо бы, чтобы ты был прав, но — конкурс покажет.

Олег, племянник Савойского, прилаживал к замысловатому штативу фотокамеру, изготавливая запечатлеть овеществлённый полёт дядиной фантазии на плёнку. Как выяснилось, днём позже макет отбудет с очередной делегацией в Порт-Саид.

— Я готов, — сказал племянник и щёлкнул тумблером фотолампы: под земелье озарилось каким-то горным светом, и макет воссиял в нём неземной красотой.

— Становись вот здесь, справа, — сказал маэстро Карагодину. Сам же принял симметричную позицию и слегка опёрся рукой о фундамент макета.

— Поехали, — командовал Савойский, и племянник с небольшими паузами несколько раз щёлкнул камерой.

— А теперь со всех ракурсов, не торопясь и подробно, а мы тут пока поболтаем.

Поболтали душевно, перебивая друг друга и пренебрегая хронологией. Воспоминания валились пёстрыми детальками «лего», восстанавливая целостную картину бытия.



— Завтра отправлю своё детище в Порт-Саид и недельку отдохну, — сказал маэстро, когда съёмка макета закончилась. — Буду ждать конкурса.
— Святое дело, — поддержал Карагодин.

Когорта смелых и... смена галса

Однако отдохнуть не получилось.

Набравший большую энергию творческого полёта, Савойский всё не мог остановиться, заполняя вакуум ожидания созданием бизнес-сущностей, частью которых немедленно стал и Карагодин.

Один из проектов предполагал создание плавучего ресторана. За столиком шашлычной «У дяди Миши» под охлаждённую «Посольскую» сплотился квартет единомышленников, который с лёгкой руки Карагодина тут же окрестили «Когортой смелых».

Неожиданно вспомнили про камышинский порт, где, по сведениям Коли и Виктора, старых друзей Савойского, бездарно разрушаются от времени и безысходности несколько отслуживших свой ресурс дебаркадеров, которые могли бы сгодиться для благородной затеи.

Через день Савойский, Карагодин, Коля и Виктор уже прохаживались по палубам двухэтажного сорокапятиметрового дебаркадера, прикидывали планировку ресторана, возможность дополнения его VIP-гостиницей на втором этаже, припаркованной плавучей платформой для кафе, прочими сопутствующими конструкциями и сервисами.

Довольный появлением таких деятельных господ замдиректора порта сулил «остаточную стоимость», лишь бы эту громоздкую развалину сдыхать подальше и навсегда.

На обратном пути распалённые страстными фантазиями, которые на трассе обросли почти осязаемой плотью конкретики, решили остановиться в первой же более-менее приличной корчме, которой оказался ресторан «Бавария». Остановились, чтобы ничего не упустить, занести все эти важные озарения на бумагу. Попросили официантку принести искомую бумагу, а заодно бутылку «Посольской», три кружки «живого» пива, «баварских» копчёных сарделек и разнообразных солений.

Между тостами исписали пунктами и комментариями две страницы. Каждый вписывал очередное озарение собственноручно. По какой-то необъяснимой странности если озарения на первой странице ещё как-то отличались по почерку, то на второй строки приобрели некое каллиграфическое единообразие, хотя и шли вкривь и вкось.

Закончив с работой, двинули в центр города. Отъехав пару километров, обнаружили, что заляпанные жирными пятнами листы забыли на ресторанном столике в стойке для салфеток. Возвращаться не стали, потому как не к добру. Да и без записей всё было замечательно ясно и понятно.

Через день Карагодин сидел в кабинете главного городского ресторатора г-на Горного.

— Пару недель — и мы его подтянем. Ну, тройку месяцев на ремонт и обустройство.

— Отличная идея, — соглашался Горный, который на всё смотрел через призму ресторанного дела. — А то глупо получается, город на реке Волге — есть, а ресторана — нет. Какой-то театр абсурда получается.

Карагодин склонил голову набок и вывернул ладони вверх, как бы говоря: ну вы меня понимаете.

— В этом деле кадры решают всё, — рубил Горный. — На первое время я дам вам своих ребят — вышколены, будьте любезны. Кстати, насчёт обучения персонала: есть у вас кадры для подготовки?

— Конечно есть! Шикарные девчонки! Да они, считай, обучены!

Горный заинтересовался, что за девчонки, где обучались.

— Господи, да здесь же и обучались. Чудные создания, пару раз я их приглашал обслуживать чайные церемонии. Они такие улуны заваривали, любодорого!

— Ну, улуны улунами, а провести VIP-банкет на полста персон — это другое дело, — засмеялся Горный. — А впрочем, лиха беда начало.

Плоды, которые принесла кипучая деятельность «Когорты смелых» в течение последующей недели, оказались совсем неутешительными. Превращение девчушек с чайных церемоний в официанток VIP-класса незаметно отступило на задний план. Но большие сомнения стали вызвать швартовка дебаркадера в районе Центральной набережной, организация снабжения «Замка на воде» (так решили назвать заведение) электричеством, получение разрешения от санэпидстанции и тысяча прочих мелочей, которые подпадали под определение «обстоятельства непреодолимой силы».

Но главный удар последовал позднее: в организации «Волжское пароходство» выяснилось, что дебаркадер-гигант, построенный в пятидесятых, технически невозможно отшлюзовать через плотину гидроэлектростанции, расположенной выше города.

Известие о том, что бетонный корпус конструкции имеет трещину и без её ликвидации вообще неплавоспособен, вызвало у «Когорты смелых» единодушный вздох облегчения, так как снимало вообще все проблемы. Собрались у «Дяди Миши», выпили «Посольской», резюмировали — не судьба. И вообще что Бог ни делает — всё к лучшему.

Неудача с дебаркадером несколько остудила деловой запал маэстро. «Надо отдохнуть, — сказал он Карагодину. — Хочешь, поедем на Байкал? У меня там знакомый скульптор есть. Нормальный мужик, всё организует. У него там дача. Разместит по высшему разряду — третий год приглашает. Для тебя уединиться, закончить свои долги по переводам».

«И то верно! На байкальских берегах, вдали из соблазнов мегаполисов оно, глядишь, побыстрее пойдёт», — подумал он. Действительно, переводческие долги порядком накопились. Уже несколько лет Карагодин в качестве внештатного переводчика работал в Институте мозга человека, обслуживая своими дарованиями психофизиологов-моноглотов, чьи знания языков дальшего родного русского не простирались.

А нужных для понимания трендов статей в американских журналах было великое множество. Это давало Карагодину регулярный и приличный прикорм, а также определённую свободу жизненного распорядка. Порой Карагодин возводил эту свободу в абсолют, что напрягало отношения с моноглотами.

— Дай мне пару дней на раздумья. А вообще идея грандиозная.

Вечером этого же дня Карагодин получил звонок от своего кинопатрона: есть вариант продолжить киноэпопею. Но для этого нужно написать 12 синопсисов для сериала и сделать их перевод на английский язык. Финансирование — тема патрона. Материалы лучше готовить в Москве, что облегчит согласование и правильное течение мыслей автора.

«Главное сразу разогнаться, — убеждал себя Карагодин, — я ж талантливый. Заодно и переводы закончу. С мозгарями буду общаться, живое общение их успокоит».

Когда на следующий день Карагодин набрал номер маэстро, чтобы сообщить о своих обстоятельствах, тот с места в карьер сообщил:

— Байкал откладывается. Баяр на полгода уехал в Комо, в Италию. Не знаю, что уж там делать бурятскому скульптору, но, видно, дело нашлось.

— А у меня вот какой расклад...

— Ну и ладно, — сказал маэстро, выслушав ситуацию друга. — Ты, кстати, заскочи ко мне перед отъездом. Племянник фото распечатал — возьмёшь несколько. Тебе понравится.

Жизнь в почти семейной конфигурации

Для создания синопсисов Дарья выделила Карагодину гостевую — небольшую комнату с роскошным фикусом Бенджамина в полтора метра высотой, книжным шкафчиком, диваном-раскладушкой и низким туалетным столиком. Комбинация дивана и туалетного столика мгновенно сложилась в голове Карагодина в некую конструкцию, позволяющую разумно сочетать труды и отдых. На столик была водружена югославская портативная пишущая машинка «Unis», а на диване разместились пара нарядных гобеленовых подушечек и аккуратно сложенный плед из шотландской шести.

Как и планировалось, Карагодин взял резвый старт: набросал первые заголовки серий — «Озеро Золотой головы», «Со мной пришёл закон!», «Винчестер и кольт», «Ранчо «Тихая пристань». Для вхождения в тему прилёг на диван-раскладушку с томиком рассказов Джека Лондона «Смок Белью», который неожиданно обнаружил на книжной полке по соседству с «Процессом» Кафки, да так увлёкся, что вывести его из этого прельстительного состояния смог только нервический звонок из Института мозга.

— Да-да-да, практически всё готово, осталось распечатать набело... Ну, я имею в виду материалы Всемирного конгресса по психофизиологии, то, что вы мне в сборнике отметили. Нет, на этой неделе не смогу, машинка в ремонте. Вот-вот починят.

Пришлось вернуть увлекательное чтение на полку. Карагодин погнался перевод, перемежая скучный труд разными приятными реминисценциями, среди которых не последнее место занимала потенциальный секретарь-референт Танечка.

Жизнь с Дарьей в почти семейной конфигурации притупила остроту чувств к московской красавице. Самокритичный Карагодин называл этот присущий ему синдром «что имеем — не храним, потерявши плачем». Борьба с синдромом он считал делом бесполезным, да и ненужным. Впрочем, долговременные романтические чувства требовали неперемнной географической дистанции между Карагодиным и предметом его симпатий.

Как то вечером Дарья, вернувшись из Академии народного хозяйства, где преподавала французский язык, сообщила:

— Слушай, я тут в почтовом ящике нашла какой-то странный счёт. За телефон — звонок в Нигерию,

— Это не я, — расторопно защитился КРГ.

— Да я и не говорю, что ты. Но кто-то же позвонил...

— Может, сантехник, который отопление чинил. Он тут раз пять звонил, какие-то фитинги искал.

— Ну, в Нигерии вряд ли он эти фитинги нашёл бы. Там вообще отопления в домах нет, круглый год лето.

— Ну да, ну да... А ты откуда знаешь?

— По рассказам. Во время оно я преподавала русский одному орлу из нигерийского посольства, так что кое-что о стране знаю.

— Понятно... — Карагодин взял со столика счёт, повертел в руках, хмыкнул.

— Не бери в голову, мне завтра бандероль мозговикам отправлять, переводы статей. Так что я на почте и с этим счётом заодно разберусь. Наверняка какая-то ошибка.

Оплошность с телефонным счётом Карагодин действительно уладил быстро и без проблем, просто оплатив его.

Спонтанный звонок, о котором Карагодин так недальновидно забыл, спровоцировали кадры с набирающей известность Кэтрин Зета-Джонс в телевизионной программе «Кинообозрение», которую после трудов праведных

Карагодин рассеянно просматривал с бокалом «Чинзано» в руке. Подогретый ароматными парами вермута, он вдруг увидел неоспоримое сходство входящей звезды с Таней, образ которой потихоньку размывался временем и терял чёткость контуров.

«А вот я ей позвоню и порадую таким престижным сходством!» — подумал он и тут же это сделал.

О Кэтрин Зета-Джонс Танечка не слышала, но за спонтанный звонок отчитала, после чего стала расспрашивать о проекте. Карагодин вдохновился, рассказал о конкурсных делах, вдруг вспомнил о фото, где они с маэстро запечатлены с миниатюрой будущего монумента, сказал:

— Хочешь, я тебе фото макета пришлю?

— Конечно, хочу! Пришли обязательно! Авиапочтой пришли! Пиши адрес.

Адрес оказался неожиданно прост: страна, город, код отделения и номер абонентского ящика.

— Это и всё?

— Всё, всё. Не волнуйся, до сих пор всё доходило. Посылай быстрее. А вообще звони мне, как договаривались, в любую среду после девяти утра.

«А с абонентским ящиком это умно, — подумал Карагодин, — нужно и мне такой завести». Вечером того же дня, спускаясь по Тверской вниз, он завернул на Главпочтамт, купил красивый конверт с косыми красно-синими полосками по периметру, вложил знаменательную фотографию, на обороте которой написал «Скульптор Борис Савойский и... — на секунду задумался — директор международных проектов Дмитрий Карагодин у макета монумента «Свет Египта». Написал короткий адресок и опустил послание в щель монументальной почтовой тумбы для зарубежных отправок.

Ему представилось, как Таня открывает письмо, смотрит на фото, возможно, ощущает себя хотя бы косвенно, самым краешком, пусть не напрямую, а через него, своего... возлюбленного, причастной к большому международному делу. «Хорошо для повышения самооценки», — подумал Карагодин и помчался к ресторану «Пекин», где его ждала Дарья для совместного похода на юбилей Короляша.

Ку-ку!

Через пару недель в назначенное время из переговорной будки почтового отделения Карагодин набрал Танечкин номер, и когда трубку сняли, сказал:

— Ку-ку.

— Ку-ку, — ответил мужской голос. — Здорово, Дэмис! Здорово, ковбой!

Карагодин потерял дар речи — ковбоем Дэмисом его называл лишь один человек, Джо Аволаби, его однокурсник, чернокожий плейбой и напарник в походах по разным модным местам. Их хорошо отработанный дуэт, который завсегда этих мест окрестили black & white, всегда производил одинаково неотразимый эффект как на продвинутых столичных дам и девиц, заседающих в ресторанах Дома кино журналистов и прочих подобных персонажей, так и на Дульциней из ближнего Подмосковья, залетающих в «Метелицу» на Калининском пошуршать крыльями на предмет поиска достойных идеалов.

— Джо... — голос Карагодина дал дребезг, мысли запрыгали как черти на сковородке: «Ой, как неловко получилось! Ах, как здорово получилось!»

— А то кто же, — заржал Джо. — Надо же, тесен мир! Открываю телефонную книгу, а в ней фото — ты с каким-то мужиком около... — чувствовалось, что некогда прекрасный русский язык Джо слегка подсел и он подбирает правильное слово, — около башни!

— Монумента, монумента, — услышал Карагодин Танечкин голос, отметил его уверенную учительскую интонацию. Сверстал, что у неё какие-то надёжные позиции.

— Ну да, монумента. Мне Таня говорила, что летела с какими-то интересными ребятами, но в подробности не вдавалась. Как увидел фото, сразу понял, почему! Чувствую, произвела на тебя впечатление, я твои вкусы знаю, плейбой. Но она у меня девушка домашняя, её смутить легко — стилия пикирующего бомбардировщика не понимает.

— А ты, чувствую, мастерство поддерживаешь.

— Ну, если серьёзно, горжусь тобой, Дэвис. Директор международных проектов... И скульптор твой молодец. Завтра покажу фото Патрику, это мой брат, ему интересно будет. Отличная башня получилась!

— Монумент, монумент, — послышался императивный голосок Танечки. — Ну, хватит, наговорились.

— Жена трубку отнимает. Ты, кстати, не женился?

— Да пока нет.

— И не торопись, всегда успеешь, а то и по телефону с другом не поболтаешь. Соскучишься, звони, ковбой. А ещё лучше приезжай в гости, я тебе Лагос покажу.

Таня взяла трубку, и разговор пошёл в непривычной для Карагодина нарочито дружеской манере, лишённой аромата каких-либо интимных эмоций.

Она расспрашивала о конкурсе, о его участниках, когда всё это произойдёт. Попросила сообщить о результатах.

— Конечно-конечно, — с готовностью заверил он и вдруг осознал, что вскоре место секретаря-референта можно будет объявить вакантным. Вот только в связи с чем? Но экс-плейбой Джозеф при всем гротеске здесь ни при чём.

«Ладно, после разберусь, — подумал он, — мало ли какие могут быть обстоятельства». Вспомнил фразу Дарьи: «Тебе не дано понять наши девичьи тайны». «И слава Богу!» — внутренне воскликнул он и почувствовал облегчение, как бывает, когда отпадает необходимость в мелком, не особо нужном и хлопотном вранье.

«Чувство, похоже, ушло», — констатировал он, перебежал через Газетный переулок в кафе-стекляшку, с ходу треснул сто грамм «Арарата» и почувствовал себя вполне счастливым человеком. Накрутил из автомата номер Дарьи, и — о чудо! — она оказалась дома.

— Ты куда это удрал спозаранку? Я ж сегодня не работаю. А ты удрал.

— Столик заказывал в «Национале».

— Не ври, они в одиннадцать открываются. Ну ладно, ври. Зачем столик заказывал?

— Хочу пригласить тебя на романтический ужин.

— Пригласи меня на романтический обед, холодильник пустой, до ужина я не дотяну. Ты что, гонорар получил?

— Нет, — с большим удовольствием сказал правду Карагодин, — пока не получил, как раз за ним еду.

И помчался в Институт мозга, где и в самом деле его ждал гонорар. И большой пакет с ксерокопиями статей для нового перевода.

Наша взяла, коллега!

Романтический обед прошёл на ура. Опытный Карагодин заказал столик у окна, где, по преданию, любил сживать и писать Юрий Олеша, князь «Националя», как он сам себя называл. Дарья в стильном прикиде от Лакруа притягивала одобрительные взгляды солидных дядек из соседних междуна-

ных контор и откровенно неприязненные от компании довольно колхозных тёток, шумно обмывающих сдачу какого-то отчёта. Это контрастное внимание к Дарье Карагодину ужасно льстило. «Какая женщина, — подумал он, — а любит меня. Ростом и фигурой я, конечно, удался, но Аленом Делоном не назовёшь. Зато талантлив и разнообразен. Зато со мной не соскучишься. Но главное, похоже, она чувствует, как искренне я её люблю. Чувствует, какой я ... надёжный, что ли».

За десертом возникла тема Порт-Саида.

— Э-э... В самом деле, как там наши дела с проектом? — встрепенулся Карагодин. — Времени прошло уже порядочно.

— Здорово, бродяга, — приветствовал Карагодина Савойский, когда тот наконец организовался и позвонил маэстро. — Ты куда спрятался? Хоть бы телефон оставил. А у меня новость! — Последовала эффектная пауза. — Наша взяла, коллега!

— Победа?!

— Она самая — победа. Прислали письмо — тендер наш. Так что мы с Люсиль и Аныванной по этому поводу устроили маленький фуршет с фейерверком. К стати, как там наш секретарь-референт, готова участвовать в стройке века? Пусть девушка пакует чемоданы.

— Да-да-да, пусть это делает.

— А как твой сериал?

— Идёт потихоньку. Пару недель я с ним точно ещё провожусь. Постоянные корректировки — это пройдёт, это не обязательно, а вот этого не надо. Требования жанра, тут ничего не поделаешь.

— Ладно, пока время терпит. Они там в Порт-Саиде сейчас определяют с генподрядчиком, вроде бы нашли серьёзных итальянцев, спецов по портовым сооружениям. Ребята с опытом. Короче, как вернёшься, сразу звони. У меня для тебя масса тем имеется. Почти все сериала будут. Настоящая индустриальная работа. Ты смотри, к моему дню рождения будь как штык, отгуляем в «Маяке», как положено.

— Очень на это рассчитываю, — засмеялся Карагодин. — Ну, до скорого. Как приеду, сразу отзвонюсь.

— Береги себя, товарищ.

Радость победного тендера Карагодин не замедлил разделить с Танечкой. Сделал это с учётом глупых ошибок недавнего прошлого из кабинки соседнего переговорного пункта.

— Здóрово, — сказала она, — да я почему-то и не сомневалась. Жалко, что не смогу поучаствовать.

— Это ещё почему? — фальшиво удивился Карагодин. — Международный проект, временная, хорошо оплачиваемая работа. Джо наверняка против не будет...

— Джозеф здесь ни при чём, то есть он-то как раз и при чём, — она хохотнула. — Я беременна.

— То есть? — не понял Карагодин.

Татьяна рассмеялась:

— Даже не знаю, как тебе объяснить... Ну, готовлюсь стать матерью.

— У вас с Джо будет ребёнок? — вдруг понял Карагодин.

— Надеюсь. Если будет мальчик, Джо хочет назвать его Дэмис, представляешь?

— А если девочка? Таня?

— Почти. Аданья, как его маму зовут.

Распрощались чуть не по-родственному.

— Звони в любое время и вообще держи нас в курсе событий.

— Целую тебя, Танюша.

Повесил трубку, ощутил лёгкость необыкновенную.

«Какая умница! Будет матерью», — подумал он.

Уверенность интонаций экс-референта во время последнего разговора стала понятной и вызывала сейчас у Карагодина полное одобрение: чего там сравнивать — секретарь-референт странствующего гусара, пусть и влюблённого, или мать семейства!

Comedia продолжается!

Карагодин вернулся в конце января. Недовольный и простуженный. Синописисы вроде бы наконец срослись в сценарную канву, но требовали согласования в прочих киноинстанциях, откуда планировалось получить финансирование на собственно сценарий и съёмку. Институт мозга за сделанное расплатился, но потерял юридическую возможность выплачивать авансы совместителям. Целую неделю до отъезда Дарья была мрачнее тучи, диалога не поддерживала, на прямые вопросы отвечала односложно.

Как-то спросила:

— Ты «Маленького принца» читал?

— Читал, — удивился Карагодин, — только давно. А при чём здесь «Маленький принц»?

— Мы в ответе за тех, кого приручили... Ну да ладно, рано тебе ещё о таких вещах думать, — сказала Дарья и как-то слишком поспешно вышла из комнаты.

На прощанье сказала:

— Береги себя, юноша. Потеплей одевайся, а то я ведь далеко буду, не смогу за тобой присмотреть... — И чмокнула в щеку.

В автобусе на Домодедово Карагодин порядком замёрз, в самолёте почувствовал нехороший озноб и домой прилетел совсем больным.

Три дня он валялся на софе, пил оздоровительные глинтвейны, слушал музыкальные опусы минималистов. Перечитал «Маленького принца». Вдруг понял, что имела в виду Дарья, говоря о «маленьких девичьих тайнах».

И тут раздался звонок из горсовета. Звонила секретарь иностранного отдела.

— Дмитрий Александрович, нам письмо пришло, адрес наш, а на конверте стоит вниманию г-на Карагодина, директора международных проектов. Вы у нас директор международных проектов? Людмила Сергеевна в Москве, не знаю, что делать...

— Ничего не делай, я через полчаса за письмом забегу.

Замок подземного короля Бофаро производил тягостное впечатление. В углу подземелья на пыльном экране «Панасоника» без звукаплыли кадры фильма «Молчание ягнят». На столике стояла бутылка из-под шампанского, на горлышко которой красиво оплывала седыми потёками витая новогодняя свеча. Маэстро сидел в винтажном кресле-качалке. Когда Карагодин выплыл из тени предбанника в залу, маэстро попытался было встать, но не смог.

— Дай руку, — сказал он. — Вот купил старинную вещь, да кривую. Центровка какая-то ненормальная. Сесть ещё получается, а вот встать — хрена с два. Короче, надо тренироваться.

Обнялись.

— Ты чего так рано? Ты же знаешь, в семь в «Маяке». По традиции, как положено.

«Господи, о чём это он?.. Ах да, день рождения», — сообразил Карагодин.

Присели на кожаный потёртый, но без каких-либо подвохов диванчик.

— Рассказывай, — попросил сгоравший от нетерпения Карагодин.

И Савойский с интонацией ещё не совсем оправившегося от тяжкого недуга немолодого человека принялся рассказывать. Дик и странен был этот рассказ.

Первая его часть, некая симфоническая «Песнь счастья», была окрашена фанфарами мажорного оптимизма — победа в тендере, удачное решение с исполнителем грандиозного замысла, мощной итальянской строительной фирмой.

И вторая часть — триумф какого-то дьявольского форс-мажора — кризис в Италии, лира перестаёт быть конвертируемой, в результате — отказ от проекта.

— Какой кошмар... Представляю твоё состояние.

— И ни хрена не поделаешь, обстоятельства непреодолимой силы.

— Губера кондратий не хватил?

— Кондратий не хватил, но и губера больше нет.

— Это как? — не понял Карагодин.

— Убрали нашего губера, правдолюбцы долбаные. Поручили человеку жизнь.

— За что? — прошептал Карагодин, поражённый кошмарными новостями.

— А кто их знает?! Пойми их восточные разборки.

Так что — *finita la comedia*.

Карагодин задумался. Затем вынул из портфеля бутылку «Арарата», два пластиковых стаканчика, расплескал по ним коньяк.

— С Новым годом, с новым счастьем!

— Ты что-то с этим тостом припозднился.

— Не-а. Вторая часть вполне актуальна. *Comedia* никогда не *finita*! *Comedia* продолжается!

Он сунул руку в портфель, как будто готовился вытащить оттуда кролика, но вытащил конверт с каким-то штампом вместо марок, извлёк из него бланк, украшенный яркими гербами, и протянул Савойскому.

— Что это? — растерянно спросил тот.

— Это приглашение администрации порта Лагос в Нигерию, хотят, чтобы мы сделали там проект. Подобный порт-саидскому.

Маэстро смотрел на друга круглыми глазами, и в них всё более отчётливо читалось восхищение. Наконец спросил:

— Этого не может быть, но если это так, как тебе удалось это сделать?

— Я тут почти ни при чём.

— А кто при чём?

— Танечка, наш секретарь-референт, у неё такие ломовые связи! Плюс она настоящий гений лоббирования.

— Я её люблю, — пропел маэстро. — Да ведь и ты тоже?

— Не могу на это претендовать, мы просто хорошие друзья, хотя внешне она мне очень нравится. По экстерьеру она будет покруче... — он сделал секундную паузу, — Кэтрин Зета-Джонс.

— Это кто ещё такая?

— Новая кинозвезда. Английская.

— А, английская... Ну, Татьяна-то покруче будет, тут ты прав, это ж очевидно.

По дороге домой Карагодин забежал в горсовет.

— Светочка, золотко, сделай мне копию, плиз. — Он вынул из конверта приглашение из Лагоса, передал секретарше. — Завтра я принесу ответ. И не забудь зарегистрировать письмо.

Банкет в «Маяке» прошёл в стиле «высокий ключ»: блистал именинник, одушевлённый замечательной утренней новостью, блистала его супруга, просто рождённая блистать, сам Карагодин сыпал удачными экспромтами, полковник Листопад красивым радиоголосом зачитал поздравление Короляша, гости были инициативны, вся атмосфера — приятно электризована.

Часть этого электризованного облака Карагодин принёс домой.

Сбросил куртку-алюску, туфли, нацепил тапочки и тут же накрутил номер телефона Дарья.

— Ты знаешь, который час? — спросила она.

— Счастливые часов не наблюдают, — автоматом сообщил Карагодин.

— Ты действительно счастлив?

— Ну, это я так, погорячился. Как я могу быть счастлив без тебя?

Дарья хохотнула.

— Правильный ответ.

— Слушай, тебе работа не надоела?

— А что, можешь предложить что-нибудь интересное?

— Могу, должность секретаря-референта.

— У кого же?

— У меня, — сказал Карагодин голосом, в котором Дарья услышала некую трогательно горделивую интонацию.

— Через пару недель мы с Савойским будем в Москве, а оттуда транзитом летим в Лагос, в Нигерию. Будем делать вторую версию Порт-Саида. Ты говорила, что страну знаешь. Это для дела очень пригодится.

— Ну, ты даёшь, — восхищённо прошептала Дарья. — Главное, про меня не забыл.

— И не мечтай, — голос Карагодина неожиданно дрогнул. — Ужасно по тебе скучаю, солнце моё.

— Хорошо, что всё так оперативно у тебя складывается. Позже я бы не смогла.

— Что так?

— Похоже, я беременна.

Карагодин онемел: «Что за должность такая — секретарь-референт, кому ни предложишь, все тут же беременеют!»

После секундной паузы сказал:

— Если будет мальчик, назовём Джо.

— А в этом что-то есть, — хохотнула Дарья... — Джо Дассен, Джо Карагодин, пуркуа па!

— Ну а если девочка — назовём Таней, как мою маму.

THE END

Автор многих книг стихотворений, известный журналист, прозаик, недавний главный редактор московского публицистического журнала «Региональная Россия», волгоградская писательница Наталья БАРЫШНИКОВА в нынешнем году отметила свой юбилейный день рождения. Мы печатаем стихи из ее новой книги «Домашний кит», которая находится в производстве. И, конечно, желаем нашему автору творческих успехов.



ПОЭЗИЯ

Наталья БАРЫШНИКОВА

«Нас не покинет родство»

* * *

Как высок небосвод
В очертаниях прожитых лет!
И мой посох дорожный суров,
Чтоб чужим опереться.
Но доверчиво так
На плече твоём спит арбалет.
Нам бы святость предметов согреть,
Коль грехом не согреться.
Позади материк.
Впереди, обреченно маня,
Старый сад, где покой
С вдохновением трепетно дружен.
И растёт твоё дерево там же,
Где выжгли меня.
И я выстрою замок свой там,
Где твой напрочь разрушен.
Пусть сулит млечный дождь
Нам одежды с чужого плеча,
Пусть поверят в обман
Обновления ладные кроны.
Нам осталось — идти,
Вспоминая глаза палача.
Упокой его сон,
Панихида залётной вороны.

* * *

Не жить, а на виду у света
Творить библейские обряды,
Не замечая орден деда

И партизанские обряды.
Твердить три главные молитвы,
Просить прощенья и свободы
И находить штыки и бритвы
Там, где когда-то были воды.
Где, не братаясь и не ссорясь,
Бесповоротно и абсурдно
Они приходят в руки, то есть
Без них бессмысленно и трудно.
Не жалит шмель в пути бесправном
Былые имена и даты:
На берегах о самом главном
Воркуют ангелы-солдаты.
И не клянут судьбы дырявой
Их прародители. Иною
Они проходят год кровавый
Вневременною стороною.
Ржавеет день, темнеет панцирь
Планеты, засыпают вишни.
Смолою склеенные пальцы
Не в силах разрубить Всевышний.

* * *

За щепотку жизни неурочной,
За шершавый камешек греха
Мне морочат дешёво и прочно
Голову четыре старика.

Мы знакомы были молодыми,
Путались в обыденных вещах:
Горы представляли золотыми,
Выпивая кофе натошак.

А теперь, щадя себя кефиром,
Морщась от вселенской кислоты,
Мы смеёмся над бесполом миром
У могильной крошечной плиты,

Над которой памятью о разном —
Близок и невысказанно далёк —
Машет алым шарфиком атласным,
Покорив вершины, мотылёк.

* * *

Движенья яблок по столу
Беспечно и необъяснимо.
А это значит — лето мимо.
А мимо лета — не к добру.

Я, может быть, игру пойму,
Когда капканы стиснут горло.
Я мимо лета шла покорно
И пытку с радостью приму.

Я, может быть, войду в поток
Душистых яблок. Мне по силе,
Пока ещё не надкусили
И не прославили итог.

* * *

Обожжённая дождями
Жизнь. И — скалы, скалы, скалы.
В обездоленных долинах
Эволюция планеты.
Над московскими мостами
Пролетали аксакалы,
И звенели в римском цирке
Старорусские монеты.

Как исчезнувшие виды,
В янтаре дичали люди.
От улыбки Гераклита
Соловели водолазы.
Увядая, дозревали
Волчьи ягоды на блюде.
А дожди в ковчехах молний
До чего ж голубоглазы.

* * *

Небо ясно, солнце рыже —
Дочь вернулась из Парижа!

Но у нас и в январе
Грязь и лужи во дворе.

А она хоть и ранима,
Нищета такая мнима:

Распаковывает подарки
И твердит, что в старом парке

Кроме брошенных деревьев
Рай живёт не устарев,

Между строгостью степной
И послушностью грибной...

Все лопочет, все хлопочет —
Точно жить в России хочет.

* * *

Когда б не знать, что праздник и услада
Закончатся, мне свято имя брата.
И жизнь, которой помню только треть.

Он удивлен визиту. А в палате,
Где говорят священно брат о брате
И не дадут друг другу умереть,

Нет зависти и злости — нет изыска
Искать червя в подобии огрызка.
Но может ли святая ложь согреть

Меня, сестрицу? Мы в больничном сквере
Воркуем об Алене и о Вере
И о любви, которой быть бы впредь.

Так в сумерках становятся роднее,
Хотя себя ведут чуть холоднее,
Придуманные нами жизнь и смерть.

* * *

Немудрено заблудиться в потёмках зимы.
Мятные сны и чернильный оскал фонарей
Отодвигают застенчиво день, когда мы
Станем беспечностью птиц и лукавством зверей.

Если о пользе, ты встретишь меня невзначай
Там, где оттаивать вместе нам не суждено.
В сердце фарфоровом можно заваривать чай.
Может, глинтвейн? Не купить ли покрепче вино?

Может быть, встретив под новой звездой Рождество,
Снегом всенощным укроем обитель обид.
И бестолковое нас не покинет родство
В час, когда ангел отбой чудесам протрубит.

* * *

Нежность, жалость — не порок,
Если шлют дурные вести:
Впал в отчаянье пророк,
Потеряв заветный крестик.

А всего-то от тоски,
От надуманной тревоги
Заскорузлые пески
Заняли его дороги.

И, обочиной шурша,
Горделиво и коварно
Мы проходим не спеша
Нашу родину бездарно.

Пыльной вотчины спина,
Профиль юности, кокетство,
Где взрослеет глубина
И стареет твоё детство.

* * *

Шиповник, завещанный грустным отцом, —
Раскидистый куст в огрубевшем сугробе.
Возможно ли ветки коснуться лицом
И с мёртвой улыбкой пройти по Европе?

Дозволено нынче смотреть из окна
На жизни коварство. Смотреть, ужасаясь,
Что низкое небо, как будто стена,
Стоит между нами, сердец не касаясь.

Бессилен шиповник, а кажется — горд
Своим пребыванием в мире суровом,
Где мартовский снег, как минорный аккорд,
Покажется музыкой, скажется словом.

* * *

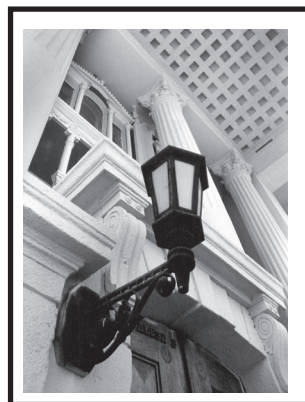
Заката горестное тленье,
Скворца почудившийся всхлип,
Печальное на удивленье
Молчанье ясеней и лип.

В тиши старинных поселений
Шаги людей покрыты тьмой.
Мы, наломав букет сирени,
Бредём счастливые домой.

Не спорим о чужих дорогах
И свой не удлиняем путь.
И жизнь вослед глядит нестрога,
Боясь нечаянно спугнуть.



В октябре нынешнего года Волгоградский молодежный театр открыл юбилейный десятый сезон. За это время он занял заметное место в культурной жизни региона, обрёл своего зрителя. Сегодня в репертуаре «Молодежки» двадцать постановок, охватывающих весь спектр театральных жанров и рассчитанных на любую аудиторию. Каждый сезон выпускается несколько премьер, которые ставит не только художественный руководитель, но и приглашённые режиссёры. Театр с успехом участвует в российских и международных фестивалях и, конечно, смотрит в будущее с оптимизмом. Одним словом, «десятка» сезонов получается вполне великолепной, вопреки всем «непопутным» ветрам и безо всяких скидок на молодость.



ТЕАТР



Великолепная «десятка»

В сентябре 2006 года премьерой спектакля «Моё загляденье» по пьесе Алексея Арбузова в нашем городе заявил о себе новый театр — Молодёжный. Его возглавил Алексей Серов, к тому времени покинувший Театр юного зрителя и уже успевший вместе со своими соратниками вдоволь помыкаться по различным, в том числе и импровизированным, сценическим площадкам. Наконец был найден постоянный «приют» — бывший кинотеатр «Волга», известный старожилам города как «Новости дня», на Аллее Героев. Капитальный ремонт кардинально изменил пространство помещения. Оно стало своего рода уникальным: исчезла традиционная сцена, барьер между арти-

стами и зрителями. Однако еще долго происходили различные трансформации, связанные с попытками увеличить вместимость зрительного зала.

Но не место красит театр... С первых сезонов Молодежный стал приобретать особую репутацию: его постановки были более рассчитаны на интеллектуалов, знатоков театра, в частности, зарубежной драматургии. Неизменным успехом пользовались у публики «Ещё один Джексон моей жены», «Любовь до гроба», «Крик за сценой», «Три сестры», «У войны не женское лицо»...

Однако в какой-то момент началась стагнация. Алексей Серов, видимо, поняв, что его возможности на данной сцене исчерпаны, покинул театр. Перемены на капитанском мостике сами по себе не являются гарантом успеха. Но принявшие Молодёжный в мае 2012 года директор Дмитрий Куделькин и художественный руководитель заслуженный артист России Владимир Бондаренко сумели в короткий срок сплотить коллектив, вдохновить на воплощение нового репертуара, начать действительно иной этап творческого развития. Это проявлялось даже в чисто внешних атрибутах: обновили фасад, придумали новый логотип, изменили интерьер фойе, информационные щиты в кассовом зале, появились яркие фотографии труппы, выполненные в оригинальном дизайне.

Владимир Бондаренко, известный в городе как ведущий актер НЭТа и постановщик, приступил к реализации своей программы. По замыслу художественного руководителя, Молодежный должен был развивать лучшие традиции российской театральной школы, и в то же время быть площадкой для нового и неординарного. А это, прежде всего, «хорошие и разные» режиссеры, что должно «будоражить» труппу, заставлять искать новые пути совершенствования своего творчества. Бондаренко был убежден: театр не имеет права скатываться до откровенного заигрывания со зрителем, но и скучным при этом быть не может. С такой отправной точки и начался новый период.

На первых порах следовало рассчитывать не только с финансовыми, но и с творческими долгами предшественников. Так, средств, предоставленных Гёте-Институтом для постановки пьесы современного швейцарского драматурга Лукаса Бэрфуса «Тест», не хватило. Но и обязательств перед этой организацией, пропагандирующей зарубежное искусство, никто не отменял. Отрадно, что петербуржцы — режиссер Виктория Луговая и художник Кирилл Пискунов, начинавшие работу над данной постановкой ещё с Алексеем Серовым, охотно откликнулись на предложение нового руководства, создав в короткие сроки волнующий спектакль. После премьеры представитель Гёте-Института Василий Кузнецов отметил органичное слияние жесткой современной западной драмы с классической отечественной театральной традицией.

Актерские работы Владимира Захарова, Игоря Мишина, Дмитрия Матыкина, Натальи Стрельцовой и Наталии Колгановой были исполнены глубокого психологизма и надолго запомнились зрителю. О качестве «Теста» говорит и то, что на петербургском международном фестивале «ART-Окраина» он получил высокую оценку зрителей и критики.

К моменту выхода этого спектакля коллектив уже работал над осенним сюрпризом для публики: приглашенный из Воронежа режиссер Вадим Кривошеев готовил инсценировку по рассказам Чехова — «Жизнь в вопросах и восклицаниях». Актёры репетировали с воодушевлением, трактуя историю любви во всех метаморфозах — от первого юношеского чувства, пылких признаний, сватовства и свадьбы — к устоявшемуся семейному быту. Спектакль действительно удался, чему немало способствовали сценография и костюмы художника Михаила Викторова, тонко прочувствовавшего атмосферу давнего времени и чеховскую драматургию. Чего стоит только изящный фэтон, разъезжающий по сцене и превращающийся то в снежную горку, то в берег реки.

Получилась ажурная, пастельная вещь с чеховской грустью в моменты веселья и мягкой улыбкой в мгновения печали.

Вадим Кривошеев рискнул оставить на сцене от начала до конца действия всех занятых в спектакле актеров. Зритель порой теряется, не зная куда именно смотреть: на главных действующих лиц или на «массовку», выдающую уморительные репризы. Был создан органичный актёрский ансамбль: ветераны театра и молодежь. Игорь Мишин, Наталья Стрельцова, Гозий Махмудов, Вероника Куксова, Юлия Мельникова, Андрей Тушев, Артем Трудов, Максим Перов, Тамара Матвеева, Анастасия Фатеева, Нодари Вешагури, Яна Артамонова (Водовозова) — все они полюбили зрителя в этой чеховской истории. А стилизованные под дагерротипы открытки с персонажами «Жизни...» уходили нарасхват.

Радовал волгоградцев яркими премьерными, по традиции приходящимися на открытие сезона, этот режиссер и в дальнейшем. В спектакле «Чудики» творческий дуэт Кривошеева и Викторова удачно соединил нарочитую театральную условность с бытовой точностью рассказов Василия Шукшина.

Юмор писателя здесь изрядно сдобрен ностальгическими мотивами. Викторов не пошёл на поводу у конкретного времени. Советская символика — серп и молот или звезды на комбинезонах — безусловно, относит нас к определенному периоду истории. Однако милицмейская форма соседствует с тюремной фуфайкой, больше напоминающей куртку-дутьш, а костюмы советского времени столь яркие, что в соседстве с изумрудным газоном создают атмосферу неугасающего праздника. А еще, к примеру, магнитофон, намеренно сделанный грубо, из неокрашенных досок, хотя и весьма точно. То и дело в зал из него врывается голос Владимира Высоцкого. Автомобиль и вовсе представляет собой пару табуретов, установленных на досках.

Все эти моменты явно отсылают зрителя к определенной эпохе. Одновременно легкая романтизация ее («что пройдет, то будет мило») несет в себе «вневременность» чувств и отношений. Символом спектакля стало огромное колесо из того же некрашеного дерева. Это и «перпетум мобиле» Сеньки Громова по прозвищу Пуля, и мельничный вертящийся круг, и некое «колесо жизни», сквозь которое персонажи выходят на сцену и покидают ее. И, в отличие от Сенькиного изобретения, его не остановить.

Роль Сеньки — несомненная удача молодого актера Максима Перова. Его герой — легкий, непредсказуемый. Он всем и всегда старается нести заряд позитива: брату, любимой девушке, сопернику, соседям и, конечно, зрителям. Максиму удается без нажима и наигрыша передавать душевную чистоту своего персонажа. Носясь по сцене, отмахиваясь прутником от надоедливой мошкары, Сенька словно отгоняет все наносное и неискреннее...

Спектакль буквально пронизан юмором. В этом отношении особенно показательны сцены разговора Сеньки с инженером Голубевым (Артем Трудов) или сватовства (Микола — Андрей Тушев, Тимофей — Игорь Мишин, Северьян — Федор Болотин). Однако замысел вполне серьезный: создатели «Чудиков», отставив излишнюю патетику и плакатный патриотизм, вызывают любовь к родной деревне и её людям. Среди удачных актёрских работ выделяется беглый зэк Степан Воеводин в исполнении Нодари Вешагури. Мощным и волнительным финальным аккордом звучит гоголевская «Птица-тройка» из уст обретающей речь немой девушки (замечательная работа Тамары Матвеевой). Не удивительно, что многие зрители покидают зал с не стыдными слезами... Данная постановка Молодёжного была по достоинству встречена публикой и жюри на Шукшинском фестивале «Светлые души» в Тольятти.

Осенью прошлого года Вадим Кривошеев порадовал волгоградского зрителя постановкой по пьесе Славомира Мрожека «В открытом море». В фарсовом спектакле по произведению польского классика театра абсурда ощущается, тем не менее,

вполне определенная сегодняшняя действительность, что живо воспринимается залом. Особый шарм в действо привносят обаятельные мимические этюды Тамары Матвеевой.

Помимо постановок Вадима Кривошеева, волгоградские зрители смогли познакомиться с работами калужского режиссера Александра Баранникова — например, спектаклем «Цилиндр» по пьесе Эдуардо де Филиппо. Порадовал молодой выпускник ГИТИСа Владимир Карпов из Пензы, поставивший современную пьесу «Завтра будет новый день» одаренного представителя новой драмы Ярослава Пулиновича.

Нельзя не отметить спектакль «Драйзибенас» по пьесе Николая Коляды, написанной на основе пушкинской «Пиковой дамы». Маститый абхазский режиссер Адгур Кове и художник из Санкт-Петербурга Кирилл Мартынов создали целое театральное полотно. На сцене просто кипят человеческие страсти: алчность, жажда бессмертия, любовь. Они пылают на фоне чего-то мистического, демонического... Интригует зрителя и то, что роль графини поочередно играют заслуженная артистка РСФСР Вера Семенова и... хорошо знакомый театральному Волгограду Игорь Мишин. Приближенные к историческим, но осовремененные костюмы, декорация в виде огромного окна в просцениуме, необычное световое решение, эстетские танцевальные миниатюры от Дениса Постоева — всё это создает требуемый эмоциональный и художественный фон для должного восприятия действия.

Предложено поработать с Волгоградским молодёжным театром и представителю литовской театральной школы Линасу Зайкаускасу. Ему предстоит поставить спектакль «Бумажный патефон» (другое название пьесы — «Счастье мое») Александра Червинского.

Особо стоит отметить совместный российско-французский проект с «Theatre de chambre 232u» (г. Ольнуа-Эмери). Уже и старожилы города не припомнят, когда в последний раз случалось подобное сотрудничество. Не говоря о том, что для театра молодежного всегда заманчиво и интересно знакомиться с современными тенденциями европейского театрального искусства. Более двух лет велись переговоры, консультации и творческие дискуссии, в результате которых родилась пьеса «Знаешь... Все эти границы...». Её автор — руководитель французского театра Кристоф Пирэ, осуществивший постановку с оригинальной живой музыкой. Десять показов спектакля с участием наших актеров Юлии Мельниковой, Анастасии Фатеевой, Дмитрия Матыкина и Игоря Мишина, русской француженки Елены Арвье-Жиловой и самого Пирэ прошли в нашем городе в феврале этого года. Дальнейшая жизнь «Via Stalingrad» («гастрольное» название постановки) продолжится в турне по городам Европы, с возможным участием в престижном фестивале в городе Монс.

От режиссерской «палочки» Молодёжного конечно же не отказывается и художественный руководитель Владимир Бондаренко. Свою постановочную миссию в театре на Аллее Героев он начал с приуроченного к 70-летию разгрома фашистов под Сталинградом спектакля «Прежде чем пропоет петух» по малоизвестной ныне пьесе словацкого автора Ивана Буковчана. Постановка эта не просто о войне — она о выборе, который на ней приходится делать каждому. Одиннадцать горожан разного возраста, социального положения, так или иначе знакомые друг с другом, оказываются в ситуации, когда от их решения зависит и собственная, и чужая жизнь.

Война прокатывается железным колесом по судьбам людей, их жизненному укладу. Художник Михаил Викторов нашёл сценографические решения, позволившие ощущать в спектакле основные постулаты христианской морали. Перед зрителем предстает актерский ансамбль, где каждый тонко чувствует друг друга. Вместе с артистами Молодежного в спектакле занят и представитель НЭТа Олег Блохин. Этот спектакль, как и «У войны не женское лицо» в постановке Алексея Серова, был удостоен Государственной премии Волгоградской области.



Сцена из спектакля «Как вы это объясните, Холмс?». Актеры Артем Трудов и Юлия Мельникова

На суд горожан театр представил и работу совершенно другой стилистики — пьесу «Мой век» французки Мишель Лоранс, драматургический материал которой основан на событиях жизни Коко Шанель. Владимир Бондаренко пригласил принять участие в спектакле солиста Музыкального театра Романа Байлова, исполняющего на сцене шансон на французском. Звучит и «живой» саксофон. Особое настроение придают танцевальные мизансцены от Дениса Постоева. Важно, что в спектакле участвуют давние любимицы волгоградских зрителей Вера Семенова и Зоя Соколова, а молодежь с интересом и удовольствием знакомится с подлинной советской актерской школой. Изящная работа художника Михаила Викторова, украсившего условность сценического быта элегантными костюмами и декорациями, придает еще большее очарование этой печальной и смешной «комедии со скрипом». Отсюда и теплый прием на фестивале «Волга театральная» в Самаре, куда театр был приглашен и в этом году.

Новым этапом истории Молодёжного стала постановка спектакля «Банкрот» по пьесе Александра Островского «Свои люди — сочтемся». В рамках проекта на губернаторский грант в номинации «Актуальная, социально значимая драматургия» Владимир Бондаренко и Михаил Викторов создали и едкую сатиру на нынешнее время с его исключительно материальными приоритетами и одновременно уморительную комедию с показом сочных типажей Замоскворечья Островского. Зрелище получилось остроумное и яркое. Постановщик протянул ниточки из настоящего в прошлое. Это и некое средство передвижения Большова, напоминающее велосипед с головой льва на руле (Самсон же Силыч!), запирающееся на электронный замок с сигнализацией, и условные тренажеры, на которых занимается во время монолога о танцах Липочка. А чего стоит сваха непонятого пола в исполнении Артема Трудова! И это не режет глаз, оригинально вплетено в сюжетную канву.

В зрительском восприятии актерское обаяние Кристины Вербицкой — Липочки и Максима Перова — Подхалюзина только обостряют хищные повадки их персонажей.

Обстоятелен в роли Большова Олег Блохин. В сцене возвращения купца домой из долговой ямы режиссер заставляет фактурного актера вести диалог из маленького окошечка, неудобно согнувшись — это воспринимается как фиаско человека, обманутого родной дочерью и доверенным лицом. Убедительны работы Вероники Куксовой и Татьяны Браженской (Аграфена Кондратьевна), Анастасии Фатеевой (Фимка, в которую волею режиссера превратилась резко помолодевшая Фоминишна).

Удачно дебютировал в театре Вячеслав Мидонов в роли Тишки. Заслуженным уважением зрителей уже много лет пользуется Игорь Мишин, на этот раз сполна приложивший свой юмористический талант к созданию образа стряпчего Рисположенского. Интересной находкой Бондаренко стали восточные слуги-гастарбайтеры (Гозий Махмудов и Нодари Вешагури). Они существуют на сцене практически без текста, но запоминаются зрителю, являясь к тому же дополнительной «привязкой» к современности.

Вместе с удачно подобранной музыкой, выразительными танцами в постановке Елены Щербаковой все происходящее предстает почти карнавальным зрелищем. Как, например, финал первого действия, когда на торжествующего героя Перова буквально обрушивается блистающий в лучах света дождь из монет (их собирали не один месяц всем театром и даже при помощи зрителей!). Или явление самовара-кальяна в преобразованном на восточный лад доме молодоженов Липочки и Лазаря.

Качаются денежные мешки-колокола, беззвучно отбивая такт очередному жизненному витку. Обманувший да будет обманут! И уже Тишка за спиной Подхалюзина, объявляющего об открытии магазина, ласкает его жену...

У этого спектакля хорошая фестивальная судьба. Он с успехом прошел в Армении: в Алаверди и Ванадзоре, который местные жители называют «наш армянский Паневежис», намекая на театральность этого красивого местечка на берегу горной реки.

Получение очередного губернаторского гранта дало возможность поставить яркую, на грани бурлеска, комедию по пьесе Гольдони «Забавный случай». Однако веселый спектакль не лишён и социального посыла. Владимир Бондаренко вместе с художником Екатериной Гельперн и хореографом Еленой Щербаковой придумали для зрителей множество забавных и неожиданных «зацепок». Здесь и костюмы-трансформеры, по мере танцев-переодеваний приближающие героев к нашему времени, и неожиданные иные привязки к современности, и почти акробатическое освоение сложного пространства декораций. Впрочем, не будем раскрывать всех секретов совсем еще «молодого» спектакля.

Не забывает театр и маленьких зрителей. Лубочный, открыточный «Морозко» уже третий год пользуется неизменной любовью ребятни. А прошлогодний «Кот в сапогах» побил рекорды посещаемости. Владимир Бондаренко в содружестве с московским художником Константином Терентьевым и хореографом Еленой Щербаковой создали удивительный мир, пронизанный песнями, танцами и шутками. И, конечно, верой в победу добра!

Планы театра обширны. Тут и осенняя премьера «Как вы это объясните, Холмс?» по пьесе-шараде авторитетного Тома Стоппарда в постановке столичного режиссера Сергея Тютюна. И повторные поездки в Самару и Армению. Наконец, коллектив готов к выезду в Европу со спектаклем «Знаешь... Все эти границы...».

Но самое главное, что небольшой зал на Аллее Героев всегда полон.

Что здесь кипит жизнь.

В вопросах и восклицаниях!

Валерий БЕЛЯНСКИЙ

Время летит, и в разгаре уже восемьдесят четвёртый сезон вечно молодого, всегда удивляющего Волгоградского музыкального театра. Ярким и запоминающимся было открытие этого сезона: артисты и постановщики представили на суд зрителей не просто комедию или концерт, а самое настоящее мюзикл-шоу! Произведения разных композиторов — классиков и современных, отечественных и зарубежных — совершенно неожиданно обрели новую жизнь в прочтении местных аранжировщиков, дирижёров и исполнителей. Сегодня любимый волгоградцами театр на творческом подъёме: в репертуаре более двадцати спектаклей — традиционных, забытых и восстановленных, для взрослых и детей. Труппу украшают не только известные имена, но и начинающие таланты. В театре полноценный, сыгранный оркестр, профессиональная балетная труппа.



МУЗЫКА



**Лоу, Уэббер, Брейтбург –
на сцену!**

...Открывается занавес, и — о боже! — на сцене старенькое пианино с открытой крышкой, а за ним — дирижёр: похоже, репетировали-репетировали, да не успели, а тут и публика собралась! Хотя чему удивляться — театр-то комедийный! И зрители — в предвкушении моментов светлых и радостных, хорошей музыки, шуток, неведомых арий, песен и сцен в исполнении любимых артистов. Ожидания, как чаще всего бывает, оправдались. Это была необычная премьера, открывшая нынешний сезон — мюзикл-шоу из фрагментов известных и немного забытых мюзиклов, комедий, оперетт. Почему именно такой жанр избрали для премьеры?

«Идея зародилась ещё пять лет назад, — рассказывает главный режиссёр театра Александр Кутявин. — Однако поставить мюзикл-шоу гораздо сложнее, чем спектакль. У конкретной пьесы есть свой сюжет, автор, написавший либретто, есть музыка. Нужен только творческий подход, своё видение, интерпретация. Здесь же около тридцати произведений, и важно было определить, из каких именно взять отрывки и как объединить их одной идеей и в одном сценическом пространстве. Правда, прошло время, и многое за эти годы изменилось — появились другие мюзиклы, отечественные и зарубежные, на которые тоже невозможно было не обратить внимания. Нам хотелось, чтобы это был не просто концерт, где ведущий объявляет: следующий номер такой-то. Мы сделали два самостоятельных акта. В первом — зарубежные мюзиклы с ведущим, являющимся персонажем из «Кабаре». Во втором — отечественные комедии, где «пружиной», объединяющей номера, является Остап Бендер, с известной целью добывающий пресловутые стулья. Короткие скетчи ведущих и связывают музыкальные номера в единое целое, придают им драматургию.



Второй акт. Роман Байлов (справа) и Олег Улитин



Дуэт из комедии «Труффальдино из Бергамо». Валерия Головкина, Александр Кутявин

Особо следует сказать о балете. Именно балетмейстеру, пожалуй, пришлось сложнее всех. Если бы это был просто концерт с отдельно поставленными танцевальными номерами, как это делал когда-то замечательный мастер Константин Ставский, было бы проще и понятнее. В мюзикле же должен быть некий дивертисмент: каждый номер имеет свою стилистику и оформляется балетной сценой, причём танцуют не только солисты балета, но и актёры. Получилось, что нужно было поставить более двадцати номеров, совершенно не похожих друг на друга».

А музыка? Например, известные мюзиклы, такие как «Чикаго» или «Кошки»? Те, кто видел их в оригинальном исполнении где-нибудь, скажем, в Лондоне, наверное, могли бы разочароваться: и аккомпанемент не тот, и оркестр не так звучит! Но дирижёр-постановщик Юрий Ильинов, разумеется, предвидел это.

«Пришлось переработать много произведений, в том числе зарубежной музыки, сделать аранжировки. Часто это было непросто, так как для исполнения их нужен другой состав оркестра, другой подбор музыкальных инструментов. Например, некоторые произведения требуют участия четырёх саксофонов сразу. У нас таких возможностей нет, а значит — нужно было менять оркестровки, чтобы адаптировать партитуры под особенности именно нашего театрального оркестра. Правда, саксофонист у нас появился новый — очень хороший музыкант, который владеет саксофоном как солист. И ещё: все тексты переведены на русский язык — это наша принципиальная позиция».

Усилия оказались не напрасными — публика оценила. Мюзикл остался в репертуаре и успешно идёт весь сезон. Впечатление от той премьеры не забывается, не гаснет со временем. Кажется, знакомые номера, но смотрятся совершенно по-новому. Вот фрагмент из мюзикла «Моя прекрасная леди» Фридерика Лоу «Я танцевать хочу»: в исполнении Татьяны Колявкиной, Надежды Сытиной и Валерии Головкиной получилась не просто песня Элизы, а некое воспоминание о прожитом героинь трёх поколений. Самое юное из них, кстати, представляет дебютантка театра Валерия Головкина — нынешняя выпускница Саратовской консерватории, обладательница свежего, юного, высокого сопрано. Валерия сама выбрала волгоградский театр, приехала на прослушивание и была принята, к обоюдному удовлетворению начинающей исполнительницы и художественного руководства театра. И, конечно, публики, что стало очевидным уже на премьеры. В нескольких номерах этого театрального шоу актриса щедро делилась со зрителями своим многогранным талантом. А два дуэта — Салли и Эмси «Деньги, деньги» из мюзикла американского композитора Дж. Кандера «Кабаре» и Смеральдины и Труффальдино из комедии Александра Колкера «Труффальдино из Бергамо» — в исполнении Валерии Головкиной и Александра Кутявина просто привели зал в восторг. Оба дебютанта пели и танцевали так зажигательно, лихо, с чисто русским азартом, что даже не хотелось задумываться, где происходит действие — то ли в российской глубинке, то ли на Бродвее, в кабаре прошлого века.

Встречи с хорошо известными, любимыми артистами театра в том же шоу вызывали не меньшее удивление. Оказывается, нашим актёрам по силам не только классическая оперетта! Лада Семёнова, например, словно родилась для джаза: песню Пегги из мюзикла Гарри Уоррена «42-я улица» она исполнила, как истинная звезда Бродвея, изысканная и обаятельная. Зритель вместе с ней словно оказался в лондонском Вест-Энде, а кто-то, видимо, подумал: как бы хотелось посмотреть весь этот мюзикл! А что, наверное, и такое возможно в родном театре, где такая изобретательная, креативная, талантливая труппа!

Менее всего завсегдатаи театра ожидали увидеть в этом мюзикле ведущую солистку Анну Стрельбицкую. И когда на сцену вышла Велма, героиня «Чикаго», с песней «Весь этот джаз», изумлению не было предела: это она или не она? Сама актриса рассказывает о своей необычной работе так: «Прежде я никогда не сталкивалась с подобным репертуаром, такого опыта у меня ещё не было. Но получила огромное удовольствие! Сама даже не ожидала. Это совершенно новое — пришлось полностью менять манеру пения. Когда Александр Александрович предложил мне роль из мюзикла Дж. Кандера «Чикаго», я сначала решила, что он погорячился. Думала, для меня это будет невозможно — оказывается, всё возможно, тем более, если очень нравится и очень хочется что-то сделать. А дальше — всё на суд зрителя. Но моё личное впечатление: это глоток свежего воздуха, внутренней свободы, раскрепощённости. Многие зависело и от постановщиков, от их вкуса, умения чувствовать полутона».

Действительно, постановку, которую прежде даже невозможно было представить на сцене нашего музыкального театра, удалось весьма талантливо и оригинально осуществить — и актёры, и постановщики, и музыканты доказали это. Замечательно прозвучала песня Гризабеллы из мюзикла английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» в исполнении Светланы Османовой. В небольшом фрагменте актрисе удалось ответить на вопрос: о чём это произведение, о жизни кошек? Нет, конечно, — о любви!

Запоминается работа Максима Сытина, который по своим вокальным и сценическим данным, безусловно, интересен как сольный исполнитель, но не менее хорош в дуэтах и трио. Куллеты Дулиттла «Если повезёт...» из комедии Фридерика Лоу «Моя прекрасная леди» в его исполнении с Анатолием Дербенцевым и Владимиром Коляв-

киным неизменно обожаемы зрителями. А уж без такого номера, как «Короли ночной Вероны» из мюзикла Жерара Пресгурвика «Ромео и Джульетта», который подготовили тот же Максим Сытин, Александр Кутявин и Андрей Жданов, вообще не могла бы обойтись эта постановка. Может, артисты, рискнувшие на отчаянный шаг взяться за мюзикл, поют о себе?

Короли ночной Вероны,
Нам не писаны законы.
Мы шальной удачи дети,
Мы живём легко на свете!

Романс Гренгуара из театрального шоу Риккардо Коччанте «Нотр Дам де Пари» словно специально написан для волгоградского певца Игоря Шумского, для его прекрасного лирического тенора. В последнее время этот артист утвердился в своём амплуа, обрёл некую сценическую уверенность. Слова арии в его устах звучат почти философски:

Пришла пора соборов кафедральных...
Пришла пора пиратов и поэтов...
Пришла пора загадок и ответов...

К радости зрителей, в театр вернулся Андрей Жданов — обаятельный, ироничный. Настоящий артист оперетты, владеющий даром перевоплощения, он никого не копирует, никому не подражает. Песня Министра из комедии Геннадия Гладкова «Обыкновенное чудо», та самая «А бабочка крылышками...», обычно ассоциируется с образом, созданным на киноэкране незабвенным Андреем Мироновым. Но в исполнении нашего артиста всё по-своему — тонкий юмор, элегантность и в голосе, и в движениях присущи именно ему, и только ему.

И, конечно, вне конкуренции — ведущие солисты театра. Появление на сцене Натальи Мещеряковой, первые ноты, звуки её голоса — и сомнений нет: вот королева и этой премьеры, и многих других постановок театра. Взяться за исполнение романса Роберты «Дым» из известного мюзикла Дж. Керна «Роберта» после Тамары Синявской, Ольги Куличевой и Карела Гота — это смело. Но наша Наталья Мещерякова оказалась на высоте: голос сильный, зрелый, лиричный, чувствуется тонкая музыкальность и личный вкус певицы, и это произведение исключительно идёт ей. Фокстрот в исполнении балетной группы придал номеру особую огранку и очарование. А дуэт Кристины и Призрака из романтической мелодрамы Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы» в исполнении Натальи Мещеряковой и Романа Байлова только усилил успех.

Кстати, первый тенор нашего музыкального небосклона Роман Байлов участвовал в мюзикле не только как певец. Выяснилось, что литературные переводы некоторых произведений зарубежной музыки принадлежат именно ему. Он же в роли Остапа Бендера — харизматичного, в традиционном полосатом пиджаке — был и ведущим второго отделения, завершив свою миссию неподражаемо ироничным исполнением песни «Белеет мой парус» из комедии Геннадия Гладкова «12 стульев».

После джаза и рока, после бродвейских интонаций второе отделение мюзикла открылось... балалайкой. «Светит месяц», «Ой вы, сени, мои сени» — незатейливое попури на темы народных песен исполнил Олег Улитин, задав совершенно другой тон всему действу и вернув зрителя из заокеанских фантазий на родную землю. Исаак Дунаевский, Александр Зацепин, Максим Дунаевский, Ким Брейтбург — хорошо знакомые и давно любимые мелодии этих композиторов в исполнении волгоградских певцов заиграли какими-то новыми, неведомыми красками. И, конечно, завершали

постановку фрагменты из «Юноны и Авось» Алексея Рыбникова. «Я тебя никогда не забуду!» Кто только не пел эту известную композицию на сценах российских театров — от профессиональных певцов до драматических артистов. Но столь проникновенно, лирично, трепетно, как волгоградские артисты Леонид Маркин и Елена Шелтыганова, не пел никто! В заключение хор всех участников — «Аллилуйя», гимн любви, слава величайшему из человеческих чувств! А запеваёт (ещё одно удивление!) оперный исполнитель, он же директор театра Станислав Малых. Действительно, этот номер и должен был звучать именно в заключение — как апофеоз всего...

Ощущение творческого единства руководства театра и труппы рождает оптимизм и надежду. По мнению нового руководителя, несмотря на очевидные трудности, коллектив театра, имеющего такую славную историю, способен вносить новое в музыкальную культуру города:

«Может быть, нынешняя премьера выглядит как некоторое отступление от традиции, — говорит Станислав Малых, — ведь зритель привык видеть на сцене нашего театра в основном классическую оперетту. Но можно взглянуть на это и по-другому: традиции нужно обогащать. Неведомые прежде жанры дают новые возможности самовыражения, расширяют перспективы роста самих артистов, развития репертуара. Задумок много, надеюсь, что впереди и новые оригинальные постановки. Правда, наши планы часто разбиваются об отсутствие внимания со стороны учредителей театра, убогое финансирование. Но выручают объединяющие коллектив творческие порывы, единомыслие».

Да, трудности есть, они очевидны. Например, декорации к номерам мюзикла могли быть интереснее и разнообразнее. И это отнюдь не вина сценографа, когда фрагмент из оперетты М. Дунаевского «Алые паруса» оформляется лишь маленьким, с лоскутком красной ткани, корабликом, который исполнители вынуждены держать в руках, либо пошлые стулья на сцене, примитивно изображающие коней мушкетёров — увы!

Недостаёт в труппе и молодых исполнителей-мужчин. Это беда многих театров, когда в партиях юных героев можно видеть весьма солидных актёров, у которых уже и тембр голоса зрелый, и внешность претерпела соответствующие изменения. Тем более это заметно в таком жанре, как мюзикл. Но в то же время отрадно, что артистов в нашем театре ныне ценят по их талантам и заслугам, а не по принципу личных симпатий. В этом году не получилось набрать юных певцов для театральной студии, может быть, в будущем это удастся, так как театр вполне может и сам готовить смену артистов.

Пожалуй, эта постановка в Волгоградском музыкальном театре останется в истории как пример новаторства и творческой смелости. Вот ещё одно авторитетное мнение.

«Я сторонник музыкального театра как такового, во всех его разнообразных воплощениях, — говорит главный дирижёр Вадим Венедиктов. — В его репертуаре должны быть все жанры: классическая оперетта, опера, рок-опера, концерт, музыкальная комедия и, наконец, мюзикл. Конечно, риск есть: справятся ли актёры, хватит ли сил и примет ли публика? Но это риск благородный. Пусть впереди будет интересное, неизведанное. Если бы мы успокоились на достигнутом и утратили способность экспериментировать, тогда нам просто было бы нечего делать на сцене».

Кстати, обращает внимание необычная афиша премьеры: на стилизованном автомобиле, конкретно напоминающем «Волгу» (конечно, что же ещё, живём-то на Волге!), — все участники шоу в костюмах и образах своих персонажей. Как выяснилось, это не просто фотоколлаж, а самостоятельное художественное произведение живописи — картина главного художника театра Ирины Елистратовой.



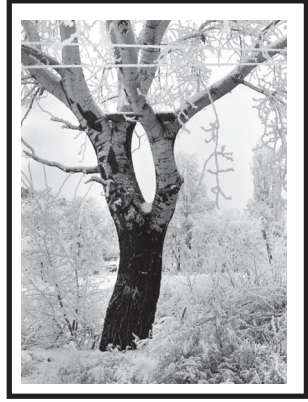
«Аллилуйя». Финал

Планы труппы на нынешний сезон, как выясняется, не исчерпываются этим мюзикл-шоу. В репертуаре восстановлены и успешно идут многие постановки прежних лет: это и «Севастопольский вальс» Константина Листова, триумфально завершивший предыдущий сезон, и полюбившиеся зрителям «Подлинная история поручика Ржевского» Владимира Баскина, «Американская любовь» Вальтера Колло, «Небесный тихоход» Марка Самойлова, и, конечно, классические оперетты, многие годы украшающие афишу театра. Будут и новые спектакли. Прежде всего, новогодняя сказка — это уже традиция, от которой невозможно отступить. В этом году местные «сказочники» сочинили либретто музыкальной комедии для детей, в основе которой русская народная сказка «Царевна-лягушка». Но она, конечно, осовременена и в некоторых деталях остроумно приближена к действительности.

...И вновь для кого-то откроется занавес, и на сцене окажется старенькое пианино, а с первыми аккордами родится ощущение тайны и удивительных открытий, эстетического удовольствия, которые может сулить только музыка — вечное и самое красноречивое из искусств.

Любовь ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото из архива Волгоградского
музыкального театра



ПАМЯТЬ



Заливное озеро

Прогулки с самим собой

За подснежниками

Увидеть, как шильца подснежников пробивают мягкие лежалые листья — значит, встретить живую весну. В прибузулукских местах ими обычно заселены дубравы, меньше — берёзовые либо осиновые рощи, и ещё меньше — редкие, продуваемые ветром сосняки. Причиной тому — «подстилка», которая зимой под одними деревьями греет спящие луковицы, как пуховая перина, а под другими — как худая простынка.



Лядвенец



Хохлатка Галлера

Появляются подснежники неожиданно, первый день всегда пропускаешь. Вроде стоят холода, ещё белая крупа сыплет на землю — куда расти чему живому! Но вышел мартовским или первоапрельским волглым денёком за околицу, откинул ногой «слоёный пирог» прошлогодней листвы — они тут как тут, живы!

Подснежник, как явствует из названия, отнюдь не неженка. Глубоко в мягкой земле сидит луковица, которая полна солей, работающих в мороз как антифриз.

Я люблю при случае проведать заветные места у реки Бузулук, где по весне всё голубеет от подснежников. В то утро, когда я шёл через Перевозинский выгон к лесу, только-только проклёвывались первые травинки. Издали земля казалась по-зимнему мёртвой, поскольку зелёные ростки начисто скрывала прошлогодняя белесая овсяница. В лесу было влажно, но уже

не сыро. В бочажках, полных воды, дотаивал источенный теплом ноздреватый ледок; сквозь открытые оконца, образованные некогда вмёрзшими в лёд ветками и листьями, проглядывали высокие и зелёные стебли осоки. Сам подснежник, или, правильнее, пролеска сибирская, выпростал свой лист с фиолетовым бутонем.

У Бузулука и его притока Засеки, кроме подснежников, я нашёл распутившийся на солнечной стороне лазоревый цветок с милым названием брандушка разноцветная, зелёные листья горицвета весеннего, розетки одуванчика размером с воробьиные лапки. Тут же — отломанное крыло слишком рано пробудившейся бабочки-лимонницы. Жёлтое крылышко лежало на абсолютно чёрной земле экзотическим чудом и почему-то долго от себя не отпускало. В лесу я услышал, как запевали синицы и только что прилетевшие с юга зяблики, как делили пространство сумасшедшие вороны и сороки, крепко вспархивали, разрывая упругий воздух, две утки-матёрки, длинно долбил податливую древесину дятел, как покусывала нагонная речная волна намороженный за ночь ледок. У излучины реки, напротив старой Берёзовской церкви мне остался в подарок куст шиповника с не обобранными птицей ягодами. Их калили крепкие морозы, вымачивали долгие дожди, однако свой цвет и вкус они сохранили.

Когда же я возвращался, на Перевозинском выгоне выскочила трава и земля зазеленела. Прошло-то всего пять часов, а громадное крыло ветряной мельницы сезона под названием «весна» перевалило мёртвую точку и начало отсчитывать часы животворного пробуждения природы.

Оказавшись невольным свидетелем этого события, я нёс какое-то мягко-восторженное, затаённое чувство причастности к этой тайне природы целый вечер и целую ночь, пока следующим полднем не увидел вокруг дома выкрашенные свежей зеленью полянки и не услышал, как скворец, прочищая горло, что-то проскрипел спящим воробьям и нырнул в тёмное отверстие враз отяжелевшего скворечника.

Лядвенец

Этот луг я знаю лет тридцать. Исходив его вдоль и поперёк, до сих пор люблю посидеть на его атласно-мягкой овсянице и послушать воздух вокруг. В разные годы, дождливые или засушливые, в разное время издали, с высокого места, видится он то ровно зелёной, сочной куртиной, то цветастой скатертью-самобранкой, то порыжелым, выгоревшим на солнце одеяльцем. Также я знаю, что на лугу с весны до осени найдутся цветущие растения, и самое стойко-зелёное среди них — лядвенец, а точнее, лядвенец рогатый из семейства бобовых. Его цветки и листочки так сильно насыщены острыми алкалоидами, что ими брезгуют даже козы, срезающие любую траву, как бритвой.

Весною это растение, пока не распустилось его соцветие, неказисто и неприметно: крохотные листья, тонкий округлый стебель, несущий на цветоносах по пять листочков. Три из них, сближенные на конце длинного черешка, образуют трилистник, а два оставшиеся в основании больше схожи с прилистниками. Три, четыре, а иногда и пять бутончиков проклёвываются среди листочков. Длинный цветонос изгибается, опираясь о землю, и выносит их вверх на вершок.

Бутон лядвенца тоже сперва неказист. Он имеет тонкий слоистый профиль, напоминающий лодочку. Нераскрытый цветок всегда красноватого цвета. Но вот наступает день, когда этот «младенческий» оттенок полностью исчезает и цветок, представая во всей красе, становится шёлково-жёлтым. Он выпрастывает вверх округлый, с прошитыми красноватыми полосами, лепесток-парус.

Поэты и художники видят в цветке лядвенца нечто византийское: округлое, воздушное. Действительно, на расстоянии локтя его верхние лепестки видятся уже не лодочкой, а куполом, который имеет столь совершенную форму, что приходишь к открытию:

именно её воплотили византийские архитекторы в милых сердцу куполах православных церквей.

Лядвенец — цветок формы и цвета, он почти не даёт запаха.

В жаркий день солнечный ветер волнами обдувает степь. Тонкие стебельки лядвенца неустанно раскачиваются. Рядом резво кланяются тысячелистник и цикорий, шелковисто выгибается австрийская полынь. Эта полынь перебивает запахи всех растений, она же, густо растущая и бессмертная, нередко заполоняет всё земное пространство.

Может быть, именно поэтому в степи лядвенец не образует зарослей. На сухом лугу он разбросан пятнышками, чередуясь в полынной тверди то с тысячелистником, то с голубой колючкой, то с куртинками овечьей овсяницы. Эти пятнышки даже в самое сухое лето зелены и свежи. В июле и августе рядом с соцветиями соседствуют длинные и тяжелые стручки-плоды.

Секрет летнего долголетия лядвенца довольно прост: растение постоянно нарастает новыми стебельками, а те закладывают новые соцветия, и потому цветёт он все три летних месяца, прихватывая ещё и сентябрь. Даже в самом конце жизни растения его листочки всё ещё сохраняют изумрудную свежесть, цветки упруги и совершенны — лишь одни стебли выдают свой возраст. Ребристо завиваясь, отяжелевшие, они лежат на земле и привстают на кончиках едва-едва. А чуть выше их — невесомые купола золотого цветка.

На горе Берёзовской

Берёзовская гора прикрывает наш городок Новоаннинский прямо с севера — всю ночь запрокидывается над нею Большая Медведица.

Издали гора видится пологим зеленым холмом, на макушке которого темнеют сосны, ниже их до самой Первой Берёзовки тянется широкий красноталовый пояс. В солнечные дни от краснотала исходит веселый глянец и, кажется, со свежим вечерним ветром долетает до города терпкий ивовый запах.

Вблизи же, с высоты человеческого роста, гора распадается на травы, деревья, песчаные бугры и впадины, но везде, будь то заросли метельчатых злаков, прикорневая розетка бессмертника, раскидистые кусты лозняка, намусорившие отжившей листвой, — везде просвечивает тёмный песок. Когда-то в незапамятные времена полноводная река, праматерь нынешней, намыла эту песчаную гору. С тех пор она хорошо обжита. Сегодня это царство множества муравьев и пристанище городских сорок. Вечером, на закате осторожная птица тянется сюда на ночевку. Днем дежурные по сорочиной колонии сторожат гору, и на нее не попасть незамеченным. В летний день рассерженные сороки могут так расходиться, что замолкает свист дальних перепелов, а серые совы, таившиеся в рожице белой акации, куда и путнику-то не пробраться, тяжело вспархивают и лениво улетают куда-то.

И все же гора — вотчина муравьев. Тысячи лет они «пашут» сыпучий грунт, образуя подземные купола и наземные кратеры, миллионами умирают, передавая энергию жизни следующей животворной цепочке.

Песок и солнце определяют, каким травам расти и какой живности скакать или ползать по Берёзовской горе. В жаркий день песок нагревается градусов до пятидесяти! Только сухостойные растения могут выдержать без воды многодневный зной, и поэтому здешние травы имеют корявые, витые стебли и мелкие, словно опущенные войлоком листья. Только молочай гол телом и сухо блестит, а побег его снизу доверху наполнен густым горьким соком. Сам краснотал тоже бережет от ожогов свои молодые побеги: его тонкие ветви как бы выбелены густой извёсткой.

Среди цветущих трав самые заметные — бессмертник и чабрец. В жгучий полдень ярко-желтые сухие «шишечки» соцветий бессмертника чуть слышно источают тонкий

полынный запах. К вечеру начинает остро пахнуть чабрец, его стойкий аромат стекает в прикрытые от ветра ложбины, и там его, кажется, можно пить, как душистый чай. Удивительно, как деревянистый, перекрученный стебель этого степного растения рождает такие нежные, распахнутые горячему небу сиреневые цветки.

В сосновой роще после спорых летних дождей выскакивают маслята. Тот, кто бродил здесь ясным августовским днем, наверняка запомнил дурманящий смолистый запах сосен, перемешанный с терпкими ароматами краснотала и степных трав, сухой жар песка, яркую нежную бирюзу неба в разрывах легких облаков, посвист перепелов и монотонные сторожевые песни саранчи. Запомнил мир, полный движения снующих муравьев, скачущих голубокрылых и краснокрылых кобылок, порхающих тяжелых перламутровок и невесомых огневок, высматривающих добычу сильных стрекоз и медлительных, слетевшихся со всей округи на зимовку божьих коровок. Запомнил, как легко дышалось и не было ни капли усталости...

Бочаровский пруд

Сегодняшний ветреный день. Облака густо-серые, низкие, по бокам ватно-белые, быстро тянутся по всему окоёму.

Земной мир зелен. Хотя зелень приглушена облачной тенью, она окрест неоднотонна.

Светлыми и сочными выглядят луга вдоль берега пруда и по отрогам балок. Их желтит люцерна и донник. По ним же фиолетовыми куртинами разбросаны острова шалфея, оттеняющие свежесть зелени.

Вдали от пруда, на косогорах, где мало влаги, травяная степь сухо-жёлтая. Такой она обычно видится в августе и сентябре.

Бочаровский Поливной пруд, извиристо тянувшийся вдаль на километры, суров под серыми облаками. На просторе волна высока и рябит; вот-вот ветер, гоня её к берегу, вывернет белые гребешки. На заросших травой усынках вода волнуется, как в слабом ключе. Три нежно-белые птицы — лебеди — кормятся в устье. Ветер мерно качает их в такт бегущим волнам, убаюкивая взгляд.

На просторе ветер силён. Прудовые птицы рыбники, рано утром барражировавшие вдоль пруда, сидят где-то, спрятавшись. Они не в силах держаться на ветру на своих узких крыльях. Лишь сильная чайка да коршун-разбойник отваживаются идти против ветра.

Воздух наполнен звуками. Сегодня главную музыкальную партию исполняет ветер. Он прерывисто гудит в ветках корявого серебристого лоха, достигая то струнно-звенящего напора, то ровного и усталого гула. Когда порывы на секунды стихают, слышно, как бархатно-нежно, ручьиисто шелестит тростник. В лесополосе за прудом отрывисто стрекочут молодые сороки. В зарослях тростника вторят им камышовки. Время от времени взлетает ввысь заливистый голос иволги. Когда же весь превращаешься в слух, можно уловить и дальний посвист жаворонка. Ему, несмолкающему колокольчику летнего неба, даже сильный ветер нипочём.

Большие коромысла

На лесной прогалине, у берёзовой рощи, предвечерняя тишь. Солнце ещё высокое, но уже мягкое и желтит. Небо ясное, глубокое. Здесь, в затишьи, над выбитой в прошлогодней листве дорожкой, всегда мир и покой.

Я остановился, чтобы оглядеться. Вдруг показалось, будто блёсткие лучики, зацепившись за что-то, как на качелях, раскачиваются над дорожкой. На чём они держатся,

по чему скользят? Или кто-то пускает зайчики? Не отрывая взгляда, ступил шаг — и попал в хоровод стрекоз.

Сильные летуны гонялись по кругу наперегонки, источая неведомую силу. Слышно было, как на виражах потрескивали их слюдяные крылья, как упруго, будто ключом, волновался вокруг них воздух.

Завороженный, замер. Стрекозы, не видя опасности, стали зависать прямо у моей головы. На близком расстоянии они выросли до исполинских размеров, и мне почудилось, что на мгновение я очутился на мезозойском лугу, когда стрекозы достигали в размахе крыльев двух метров. Испугавшись исполинских хищников, я инстинктивно заслонился от них рукой и тем отогнал стрекоз.

Понадобилось не меньше минуты, чтобы вернуться из мезозоя в несравнимо более мягкий и спокойный наш сегодняшний мир. Я выдохнул: то были стрекозы — Большие коромысла, а я стоял на исхоженной прогалине у знакомой-презнакомой реки Бузулук.

Август. Зной

Этим летом от земли до неба стоит знойный, как никогда, август. Под солнечной парилкой съёжились тенелюбивые огурцы, обвисли пыльные тёмные листья георгинов, оцетинились плодоносящими скелетиками высокий укроп и ветвистый сорняк — клоповник. Душный ветер взлохматил куст водосбора, и он стал похожим на застывший всплеск.

А рядом с умирающими от зноя гладиолусами, маками и высокой хатмой всю радуются солнцу растения-сухолюбцы: пышут ярчайшей разноцветицей звёздочки астр, жеманно склоняет цветки нежная петуния, привстал на носочки львиный зев, повернулись цветками к солнцу, вбирая его жар, жёлтые ноготки.

Всё небо понаплыли только к полудню. Им бы с утра захороводиться в тяжёлые тучи, а они понаплыли только к полудню.

Целый день цепной пёс Жулька лежит в тени за будкой. Жмурится, вздрагивает ушами, лениво отмахивается от злых мух.

Не к жаре раскудахтались у соседей куры — это семидесятилетний глуховатый «молодожён» дед Андрей, выйдя на двор, на всю катушку врубил динамик. Повесил его на грушу, а сам укрылся с новой бабкой в прохладной горнице с закрытыми ставнями.

И разносятся вокруг на десять дворов пионерские песни, ария Каварадосси Пуччини, шуточные железнодорожные.

Никак не соскучишься, даже в такую жару...

Лес в предзимье

Колёсико времени, плавно и незаметно ползущее черепахой в середине сезона — будь то лето, осень, зима или весна, — на стыках этих сезонов вдруг начинает менять колено, разворачиваться, путая нас в погоде. В предзимье оно ныряет то в снежную круговерть, то в дождь, а то и замирает лениво на день-другой среди обмануто растущей под октябрьским солнцем зелёной травы.

Многие годы я наивно стараюсь поймать тот момент, когда осень кончается и наступает зима: как чёрная земля превращается в белую, как трепещет последний лист, как стынет и замерзает река, а утренний воздух, отволгнув, стекает прозрачною каплей на мягкий снег.

В пору предзимья лес уже гол. Из всех листопадных деревьев один серебристый лох, сторожащий опушки либо коряво раскинувшийся на брошенных землях, ещё держит осенний наряд. Его листья, закрученные первым морозцем в трубку, невесомо качаются на лёгком ветру.

Приречный лес пахнет дубом. Его запах свеж и немножко остёр. Дубовая листва светла и, даже прибитая дождём или стаявшим снегом, всегда излучает коричневое тепло и коричневый свет.

Утренние луга и поляны припорошены снегом. К полудню, подтаивая, он обнажает стебли последних осенних растений: сухого тысячелистника, зубчатки поздней, цинория и подорожника. На тёплых ветрах снег пропадает совсем. И тогда снова ставшие голыми луга и лесные поляны возвращают свой унылый образ блеклых лоскутов. При взгляде вдаль кажется, что серая вуаль забвения укрыла и малый, и дальний окрест!

Под ногами же луговая земля почти всегда зелена. Среди сухого былья жива нежной зеленью овечья овсяница, живы розетки обманно проклюнувшегося тысячелистника, будры плющевидной, шалфея или татарника. Кое-где на чёрных лентах дороги светится вскатившая месяц назад нежно-салатовая полынь.

В низинах, на рыбачьих дорогах, матово стыннут прижатые ледком лужи. Мороз день ото дня отжимает из них влагу, заполняя пространство серебряно-белыми воздушными пузырями. В солнечный день, обманутые цветом, на них присаживаются длинноногие комары, а посидев и, кажется, зачочнев, неожиданно отрываются и медленно уносят своё невесомое тело прочь. На дне луж, под прозрачным панцирем молодого ледка, ясно виден зелёный мох.

В безветренную погоду лес молчалив. Редкая сорока на день остаётся сторожить покинутое всеми пространство. За целый день ходьбы только раз или два можно встретить пролетающих низкой стайкой жирюющих свиристелей да услышать синиц.

Река Бузулук. Открытая вода всегда отражает небо. Если небо забито тучами и тучи низки, — река сера и тускло зеркальна, как закалённая сталь. Если в синей выси плавает солнце, она черна и блестяща, как вороново крыло; однако при сильном ветре меж тёмных волн проскакивают проблески синевы.

Первыми в прибузулукских лесах начинают замерзать — крыться ледком рукава-притоки большой реки и лесные озёра. Приток Бузулука Засека, стиснутый кугинотростниковой опушкой, лежащий глубоко среди высокого дубняка, стыннет одним из первых. Ночью зелёная плёнка ряски пупырчато схватывается и, если ветер тих и небо серо, простаивает ноздреватой коркой целый день даже при мягкой погоде. В застывшей плёнке хранятся узкие дорожки — следы некогда проплывших крысы или бобра.

Сам Бузулук — семидесятиметровая в ширину река — начинает стеклиться, если даже небольшой морозец устойчиво держится несколько дней. Я усмотрел: первый лёд в тихих затоках застывает круглыми островками-бляшками. Стекланный островок в стоячей воде нарастает вокруг воздушного пузыря, поначалу почти невидимого и заметного только тогда, когда лёд схватывается и становится тёмным. Вечерний воздух свежеет, час от часа вода укрощается, и ледяные бляшки сливаются. Если долго-долго смотреть, как мостится река, то обнаруживаешь, что на месте неслышно лопнувших пузырей вдруг проявляются округлые лунки воды. В таких лунках завивается невидимым гребешком течение и вода дышит-дрожит, как в малом живом ключе.

Ближе к морозной ночи река по-над берегом вся покрывается тонким и крепким, как каменная слюда, рифлёным ледком. На середине же волны ещё долго облизывают его острый, как у стальной косы, край и слышно пожёвывают его. Замерзающая на ветру река скрипит, будто жалуется.

...Если лёд пошёл расти с вечера, то к утру укрощается вся река.

Последний цветок ноября

В заброшенном, пустом палисаднике у родительского дома невесть как сохранился до последних дней ноября пышный сине-жёлтый цветок анютиных глазок. Чуть прикрытый снегом, он замерзал морозной ночью, хрустко вскидывался вверх от ветра и

почти оторвался от замерзшей земли, но чудом выжил. Когда в оттепель вытаял снег, я увидел крепкие зелёные листья, а задержав дыхание и наклонившись, кажется, услышал его пряный южный запах. Среди мокрой листвы и обветренных комьев земли цветок казался экзотическим мотыльком — уставшим и присевшим на зелёный стебелёк отдохнуть.

«Цветы последние милей роскошных первоцветов полей», — целый вечер декламировал я пушкинскую строку, а следующим утром отправился за город искать последний полевой цветок осени.

...Утро короткого дня. Околица. Серое небо, серый воздух придвинули горизонт и притопили солнце. Мёрзло выстукивает под шагами земля. Ночью пролётное облако обронило крупу. Снег не тает, и две чёрные ленты дороги присыпаны им, как солью.

В открытой степи голо и холодно. Обвисли скорёженные морозом пепельные листья татарника; задеревенели обтёртые непогодой стебли тысячелистника, зубчатки поздней, цикория и полыни. Зацепившись за низкий старник, сиротливо подрагивают в щетинистых балочках ломкие шары синеголовника. Ветер птицей посвистывает в них, силясь стронуть. Нет живой травинки на открытом пространстве.

Иду к берегу Бузулука. Урёмный лес облетел, и даже крепкий дуб оголился. Перина листвы спеклась и пожухла, и только залётные верхние листья, подсушенные, сухо рябят. В каждой роще свой цвет, шум и свой запах. Под шагами остро потрескивает палый лист в дубняке, но бархатно шелестит в осиннике. Дубовый лист тускл, он собирает свет, почти не оживляя пространства. Лист осинный сер, как предвечерний воздух. А лист кленовый, бледно-охристый, словно горит, подсвечивая воздух, и придает ему прозрачность и сочную желтизну.

На переломе дня не холодно и не тепло: в голом редком осиннике в чашечках медных опять плавают ноздреватый ледок, в гущине, в дорожных промоинах, отороченных зеленью мха, выпуская по краям водицу, стынут под коркой льда чёрно-дегтярные лужи.

Всматриваясь в каждый бурьянистый бугорок, в каждую земляную проплешину, нехотя возвращаюсь. Нет живого цветка и здесь, под сенью осеннего леса.

Близ опушки дорога то ныряет к просторным полянам, отороченным купами низкорослого бересклета, то выбегает к полю. Здесь, на воле, взгляд летит то за одинокой сорокой, то цепляется за лянало-бордовую плеть ежевики.

Еще сотня метров — и прости-прощай, дорогая осень. И вдруг, как у охотника, почувшего, но еще не увидевшего желанную птицу, внутри что-то дрогнуло, забилося сердце. Боясь ошибиться, я осматриваюсь в последний раз. И вижу чудо: здесь, как раз на опушке, среди продрогших шильцев овсяницы, присел-притаился серый шар одуванчика. Рядом, еле видный под залётным дубовым листом, выпростал тугой свёрток живого соцветия его собрат. Стебелёк с ноготок, а внутри зеленой обёртки соцветия скрыта жёлтая корзиночка венчика.

Я протянул руку и хотел было сорвать этот цветок, чтобы насладиться последним ароматом прошедшего лета, да вовремя спохватился — ведь это был последний в громадном природном пространстве цветок ноября.

Февральские снега

Весь январь валил и валил снег, и земная твердь стала дном огромного белого океана. По макушку затонули в сугробах бурьянные травы, по колено провалились деревья, спутались, надломилась прутья озёрной куги и исчезли из виду степные балки. Разгулявшаяся на просторе пурга напластала сугробы и на деревья. Но вот настал день, когда угас ветер, засияло небо и потеплело солнце.

Чисто, покойно стало в снежном лесу. Голубыми горностаями дремлет снег на поникших стволах осин, белыми шапками светится на сорочьих гнёздах, ватными облачками повисает на густых сучьях яблони. Там, где падает на ветку солнечный луч, волнуется талый воздух и остро пахнет намокшей корой.

Три краски пролиты в снежном лесу: белая, голубая и синяя. Белая затвердела, покрылась ветродуйными узорами на полянах, голубая затаилась в неглубоких ложбинках, синяя залила паводковые протоки и сомкнутые заросли осинника.

Среди корявых дубов и невзрачных осин величественны берёзы. Атласная, кипенно-белая кора их блестит на солнце. Небо над ними космически-чёрное, и только здесь, на контрасте, замечаешь в его глубине серпик месяца.

Малые поляны с выступающими из леса дикими грушами — перекрёстки звериных дорог. Снег здесь утоптан зайцами, лисами. Вот тонкую строчку следов мыши прервал мазок крыльев птицы. Вот под мягким деревом множество крошек — дятел молотил его клювом. На опушке под согнувшейся черной грушей валяются сбитые птицами твёрдые, как грецкий орех, плоды; птицы раслёвывали их, да за калёною мёрзлостью — бросили. Рядом под колючими шарами репейника намусорили щеглы, обобрали зонтики высокого купыря синицы. Выбитые семена и древесные крошки теплее снега; нагреваясь на солнце, они растапливают его и медленно тонут в пушистой купели.

Редкого путника давно провожают синицы. «Фити-фиу», — посвистывают они, шумно порхая, но разжившись семечкой, отлетают. Потревоженные, сочно простреливают воздух сороки.

Устав идти по целине, прислонившись к дереву, переводишь дух. В тишине, обрета глубинный слух, различаешь, как трепещет несбитый лист, как вдалеке жалостливо трётся замёрзшая ветка, как поскрёбывают сучьями неразминувшиеся дубки.

В чистом поле снега поменьше и наст покрепче. Лучистое солнце всё более подтапливает его, и вот уже на застругах блестит он яркой, как само солнце, слюдяной коркой, вот уже проблёскивают огнистые искры. Чёрные стебли цикория, почти до самой верхушки присыпанные снегом, стоят — не шелохнутся. Но чуть свистнет ветер, зябко вздрагивают травинки и долго, как отпущенная струна, струят на снегу своей тенью. Изредка проскользнёт мимо них изогнутый, как баркас, дубовый листок — и снова морозная тишь.

К шести часам вечера солнце клонится книзу. Расплываются, теряют резкость тени былинки. Снег розовеет, в складках сугробов проявляется сиреневый колер. В такую минуту стоишь посреди степи, наблюдая таинство затухания дня, как замороженный.

Вот солнце коснулось земли, и задрожала на настe розовая дорожка. Густо засинел снег, потяжелели, разом набрали фиолетовый дым облака. Вот стаял-пропал его малиновый краешек, и от лиловой черты горизонта вознеслась в небо нежная бирюза. Снег потемнел, дальняя опушка леса почернела и приблизилась. Пала тьма.

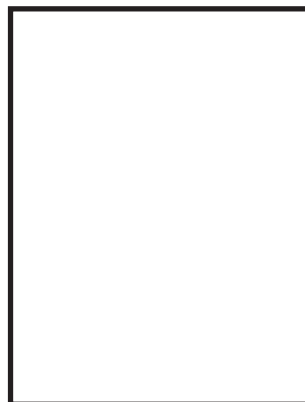
Одна придорожная берёза всех дольше хранила белизну прошедшего дня, но и она вскоре потускнела и растворилась.

Сергей ПОПОВ
Фото автора

В сентябре нынешнего года исполнилось 90 лет со дня рождения видного российского писателя Петра Ивановича СЕЛЕЗНЕВА (1925 — 2003) — автора романов «За колючей проволокой», «Крах», «Южный крест», «Боль», повестей «Бойкие дворики», «Гололед», «Сунали» и других произведений, опубликованных в Волгограде и Москве массовыми тиражами. В 2002 году ГУ «Издатель» выпустило четырехтомное собрание его сочинений.

Родившийся в селе Новоникольское Быковского района, он окончил в Сталинграде фельдшерскую школу, прошел трагические дороги войны, был участником движения французского Сопротивления.

В послевоенные годы П. И. Селезнев долгое время жил и работал в Дубовке, постоянно изучал ее историю, написал о ней книгу. Земляки присвоили писателю звание почетного гражданина Дубовки, имя Петра Селезнева носит районная библиотека.



БЫЛОЕ

... Расцвет Дубовки приходится на пятидесятые — шестидесятые годы 19-го столетия. Этот подъем словно упирается в Волго-Донскую железную дорогу. Посадский голова Тит Титович Пресняков, который держал огромный извоз, был едва ли не самым богатым человеком не только в посаде, но и во всем уезде. К тому же слыл человеком осторожным и благоразумным. Авторитет его был велик, и он легко склонил именитых земляков отказаться от строительства железной дороги. В Дубовке «пожалели бедных фурщиков», в результате посад надолго остался на обочине, в стороне от крупных дел.

Умные предприимчивые люди потянулись к Царицыну, капиталы потекли туда — железнодорожная магистраль вела напрямик в зарождающийся российский промышленный капитализм. Россия стояла на пороге грандиозных перемен, потому привычная, сытая Дубовка всё меньше привлекала внимание деловых людей. Как это нередко случается в истории, ко времени своего падения она поднялась на предельную высоту. Поднялась... Но тормоза уже включились: если к 1900 году население Дубовки составляло шестнадцать с половиной тысяч жителей, то к 1913-му оно увеличилось всего на одну тысячу семьсот человек, то есть фактически осталось на прежнем уровне.

Но я забежал вперед. К шестидесятым годам XIX века, к началу строительства Волго-Донской железной дороги, в Дубовке хоть и почувствовалась опасливая настроенность, но явной боязни не было. Привычный консерватизм действовал успокоительно, а хорошо идущие дела, прибыльная торговля и привычный размеренный быт гипнотически убаюкивали. Бог с ним, с Царицыном. В Дубовке живут и будут жить. Волга вспять не потечет, а делать деньги и тут умеют. Деньги — средство самое надежное, их не отымут, по железной дороге не увезут...

Не знали, не приходило в голову, что скоро, совсем скоро деньги станут делать из воздуха, а самое надежное — держать их не в кармане, не в купеческом банке в Москве или в Петербурге, а в Швейцарии. В кошмарном бреду не могло привидеться, что Россия неудержимо идет к «великим потрясениям», которые в революционном порыве борьбы за новый мир и справедливый вольный труд одновременно закружат ее в вихре злобы, разбоя, ненависти, смерти...

Но что Дубовка? В ту пору по всей России об этом мало ведали, хотя ростки грядущей революции уже проклюнулись. Даже те, кто обязаны были знать и знали, не придавали этим росткам серьезного значения. Дубовка жила широко и вольно. Одних только заводов насчитывалось два с половиной десятка — бондарные, кожевенные, маслобойные, пивоваренные, рогожные, лесопильные... Пусть мелкие, но было их все-таки четверть сотни, продукция имела надежный сбыт, завидное качество, спрос возрастал и возрастал.

Краевед и педагог Мария Ивановна Вережкина в своих публикациях о старой Дубовке упоминает «гусары» — женские сапоги. Я их не только видел — не раз держал в руках: в молодости гусары носила моя мать. Обувь красивая, изящная. Сейчас такую не встретить. Обычно видим сапоги не слишком «отёсанные», излишне высокие, иные выше колен. Некрасиво — напоминают офицерские ботфорты времен Петра Великого. То ли дело — гусары: великолепная натуральная кожа, умеренный каблук, цветная шелковая подкладка, шнуровка на всю высоту. Шнуровали как того просила форма ноги. Теперешние женские сапоги — просто босовики какие-то. Кстати, босовики тоже делали. Это грубая и крепкая рабочая обувь.

Почти все мастера-обувщики работали на Павла Михайловича Крючкова — он скупал и продавал обувь. Его магазин, хорошо известный всему уезду, стоял (здание существует и теперь) на углу Республиканской и Советской. Со стороны Республиканской в проеме, похожем на заложённое кирпичом и заштукатуренное окно, черной масляной краской были нарисованы штиблеты и сапог и такой же чернью написано: «КОЖЕВЕННЫЕ ТОВАРЫ И ОБУВЬ КРЮЧКОВА». Местную власть это раздражало, в канун Майских и Ноябрьских праздников надпись старательно закрашивали цветной набелкой. Но после очередного дождика Крючков со штиблетами и сапогом упрямо «выходил на люди»... Сейчас, кажется, соскребли. А жаль. Зачем убирать пусть малые, но памятки? В именах и зарубках — наша история. Убирать надо только то, что напоминает дурноту. Потому, когда пишу о Дубовке, стараюсь, чтобы из-под пера шли хорошие слова. Дубовка не только любовь, но и судьба моя.

...В 1870 году не где-нибудь, а в Дубовке появились первые лесопильные заводы с паровым приводом от локомотива. Основателем парового лесопильного производства был предприниматель Борисов. Механическое лесопиление представлялось настолько непривычным, что люди поначалу не приняли его. Утверждали даже, что доска из-под машины выходит плохая. На первых порах предпочтение отдавали пиломатериалам ручной работы. Но выгода от машинного пиления была настолько ощутимой, что и другие предприниматели — Жемарин, Грязев, Старцев, Федоров — тоже перешли на машинную пилёнку. Стало выгодно торговать не «кругляком», а готовым, «белым» материалом.

В богатых домах появилось электричество. Грязев Александр Миронович и Репников Иван Александрович заимели собственные автомобили. Любопытно: когда в Царицыне еще не было этого частного чудо-транспорта, землевладелец Андрей Романович Паничкин уже колесил на нём по Заволжью. Мой приятель Андрей Ольхов из села Новоникольского рассказывал, что за автомобилем Паничкина всегда неслась ватага голопузых сельских ребятишек. Когда отставали, а машина пропадала из виду, падали на пыльную дорогу и нюхали след. Резину в то время ставили натуральную, запах от нее был резким, казался удивительным. Если удавалось подойти к автомобилю вплотную, заглядывали внутрь и нюхали уже сами колеса...

Позже запах резины перестал удивлять, больше хотелось уловить хлебный душок. Люди узнали, что такое «норма», «пайка», «хлебная карточка»... Но до самого 1921 года Дубовка оставалась вполне сытой. В шестидесятых-семидесятых годах 19-го столетия, когда ремесленный, купеческий посад раздавался вверх и вширь, когда главенствовали тут купец, предприниматель и заводчик, голод не навевался даже в беднейшие дубовские семьи, в отличие от других поволжских краев. В канун праздников Александр Миронович Грязев обычно приказывал развезти по малоимущим дворам булочки, пышки, сладости для детей. Принимая просителей, начинал с того, что угощал их, даже предлагал пьющим водки...

О Небесчетове ходили слухи, будто делает тот фальшивые деньги... Иван Иванович соглашался:

— Деньги делаю. Плугами...

Именно в это время широко распространились в крестьянстве «небесчетовские» плуги, однолемешные и двухлемешные. Предприятие Небесчетова оказалось способным снабдить плугами почти все Нижнее Поволжье. Понятно, что прибыль была значительной, а имя предпринимателя сделалось известным и авторитетным.

Богатых, заметных людей в Дубовке значилось много. Но жизнь такова, что одни остались в тени, о них забыли, а другие живут в памяти вот уже третьего поколения, до сегодняшних дней. Василий Иванович Лукичев и Иван Александрович Репников оставили нам удивительную, я бы даже сказал «ласковую», память о себе, люди о них много рассказывали. Я, например, слышал эти рассказы от Константина Васильевича Токарева, который служил приказчиком в мануфактурном магазине Репникова, от Сергея Федоровича Плотникова... Старожилы помнили, как Василий Иванович Лукичев, будучи посадским головой, едва ли не каждый день обходил Дубовку, подмечал, где и что надо поправить, подновить, прихорошить... И все-то делал на собственные средства. Он ссуживал деньги, помогал человеку в беде, в нужде, случалось — вызволял мелкого, неопытного торговца из долговой ямы. Не объявляя себя, посылал деньги овдовевшей старой женщине, помогал доучиться способному студенту из местных, поддерживал церковь.

Я звал его белый двухэтажный дом — из окон был виден весь деловой волжский берег (во времена Лукичева, конечно же) — пристани пароходных компаний, бунты строевого леса, мешков, кулей, бочек и ящиков. Нередко я проходил мимо лукичевского

дома, сиживал на скамейке у калитки. Шли уже послевоенные, пятидесятые годы, и не было на берегу ничего похожего... Но воображение рисовало высокого, сутуловатого человека в потертом сюртуке, он покашливал, говорил глухо:

— Вот что, Степан... Долг я твой зачеркнул. Гляди — зачеркнул.

Долги бедных он забывал, ни единым словом не напоминал и, говорят, радовался в доверительном разговоре, что вовремя узнал про чужую беду, про нужду. Но если человек пытался зажулить долг, Лукичев обходился с ним круто — объявлял, что не считает его своим должником.

В деловом мире Лукичев слыл неподатливым и жестким, умел одерживать верх в конкурентной борьбе. Но к людям неимущим, к человеку, на которого наваливались тяжелые обстоятельства, относился не просто сочувственно, а по-отечески щедро одаривал. Благодарность принимал застенчиво, чуть ли не испуганно. Я слышал, что называется, из первых уст, что после громких благодарностей где-нибудь в присутственном месте Василий Иванович даже плохо спал. Понимая людскую признательность, всё же принимал ее трудно.

Братья Репниковы, Иван Александрович и Сергей Александрович, старообрядцы, особенно отличались благотворительностью. Неподалеку от собора Успения Божьей Матери Иван Александрович построил единовременную часовню. Сам приходил молиться сюда и тем подтверждал свое понимание, свое отношение к Богу и заповедям Христа. Иван Александрович не посещал православную церковь, но это никак не мешало ему почтительно относиться к православию, оставаться благочестивым и щедрым человеком. Константин Васильевич Токарев, о котором упоминал выше, рассказывал, что дубовчане относились к чужим религиозным убеждениям спокойно — считали, что всех должна объединять любовь к ближнему, готовность помочь друг другу. Рядом со «своей» часовней Репников открыл начальную школу для детей из малоимущих семей, столовую для бедных, помогал женскому монастырю — православному...

Не хочу рисовать идиллические картины, потому скажу, что богатое купечество в Дубовке не было одинаковым. Те же Павел Жемарин или его тезка Артамонов, владевшие огромными хлебными ссыпками, гнавшие зерно вплоть до заграницы, имевшие свои лесопильные заводы и богатейшую торговлю, — не отличались щедростью. Жемарина многие в Дубовке откровенно недолюбливали. Он не завел семью, был высокомерен. В частых разъездах повидал мир, на посадских поглядывал свысока.

Успех или неуспех делового человека определялся в первую очередь его способностью править избранным делом, профессиональными навыками. Конечно же, судовладельцы отец и сын Лапшины в Царицыне знали, что такое пароход. Компания «Русь» была едва ли не самой крупной на Волге, от устья Камы до Астрахани стояло около восьмидесяти пристаней, ходило 27 пароходов — гигантское дело! Ворочали огромными делами, но не только для того, чтобы пухли банковские счета, — поддерживали искусство, культуру. Понимали: будет жива Россия, останутся и их имена. И даже не ради собственного «памятника» работали — звал к делам и меценатству патриотизм (о котором неплохо бы поглубже задуматься небедным нынешним предпринимателям...).

Ловлю себя на том, что о русском предпринимательстве, промышленниках и купечестве мне хочется рассказывать и рассказывать, но — честно, то, что знаю сам, о чем слышан. И о деловом размахе, когда правдами, а нередко и неправдами наживали огромные деньги. И о том, как просаживали в карты, пропивали целые состояния, отдавали судьбу красивым хищницам... Одни капиталы возникали из трудов и талантов, другие были окутаны тайнами, замешаны на преступлениях и крови... И всё же купечество не обойти, ибо на его делах стоял посад со времен основания. Вспомним, что и золотоордынский Бельджамен, существовавший на этих землях, был торговым горо-

дом, Дубовка словно приняла от него эстафету. А еще точнее — Волга, переволока были той основой, без которой не поднялся бы Бельджамен, а значит, и не родилась бы в свой срок Дубовка.

... В 1860 году в Дубовке, если говорить точно, было 1028 домов, в том числе каменных 174. Жителей насчитывалось 12 844 человека. Разгружалось до 70 судов, не считая крупных плотов, переваливались грузы в Качалино, к Дону. Это был период наибольшего роста и расцвета Дубовки. Начиная с 1875 года Волго-Донская железная дорога притягивала многие хозяйственные дела и капиталы, но Дубовка продолжала строиться и развиваться — велика была сила инерции. К этому году посадские причалы принимали на разгрузку более 60 судов, разымали три десятка плотов, на берегу было занято более пятисот рабочих. Разымали и беляны, подробнее о которых чуть ниже. Но Царицын времён начала развития капитализма в России принимал уже до 600 судов и 180 плотов, разгрузкой-загрузкой занималось семь с половиной тысяч человек. То есть фактически перевалка грузов переместилась в уездную столицу. И все-таки к 1897 году в Дубовке насчитывалось около 4 тысяч домов, из них 730 каменных. Многие стоят доныне. К 1913 году в Дубовке обитало свыше 18 тысяч жителей.

Теперь о белянах, ибо ныне мало кто знает, что это такое. Беляна — не судно, а тот же плот, но огромный и своеобразный. Предназначенная для сплава леса, она состояла из разъемных частей — пролетов. Каждый пролет обшивался свежепилеными досками, они являлись чем-то вроде оболочки, чтобы удерживать целый ярус древесины. Потом эти пролеты сплавивали счетом от трех до шести. Беляна проседала на глубину 5-6 метров, сплавлялась только по Волге и только в половодье (в те времена весьма продолжительное, до начала июля, в отличие от нынешних «гэсовских»). В межень даже по Волге беляны сплавлять было невозможно, не говоря о Доне. Потому в Дубовке их разгружали-разымали, лес сортировали, складывали в бунты, а уж потом фурами везли в Качалино, на Дон.

Сооружения эти были трех-, четырех- и даже шестипролетные. Белянами назывались потому, что дощатая обшивка не конопатилась, не красилась, не смолилась — вся сплотка белая. Её украшали разноцветными флажками. И не надо обладать слишком уж богатым воображением, чтобы представить, как по волжской полои воде мимо зеленых берегов сплывает белая махина, даже с немалыми домами для сплавщиков на верхнем пролете.

...Одной из достопримечательностей Дубовки — ее торгово-промышленной части — была фабрика по обработке суслиных шкурок. В год обрабатывалось до полумиллиона штук, из них шили шубки, шапки, поддевки, множество других изделий, практических и изящных. Эти товары шли далеко за пределы Саратовской губернии. Суслиный жир широко использовался как целебное средство, им лечили туберкулез.

Русское купечество умело работать. Любило, чего греха таить, хорошо потрапезничать. В частности, было не прочь полакомиться вальдшнепами, «царской птицей». Осенью, когда перепадали дождички, в сырой лесистой пойме Волги всегда высыпал вальдшнеп. «Высыпками» называли время, когда птица перелетными стайками садилась на влажную землю подкормиться. Длинными клювами вальдшнепы извлекали из земли червячков и личинок. В эту пору дубовский рабочий люд — все, кто увлекался ружейной охотой, бросали свои дела и устремлялись заработать на вальдшнепе. В Дубовке поименно знали охотников, которые за две-три недели оправдывали годовой заработок. Битую птицу покупал-принимал купец Чулюканов. За каждую тушку соответственно «царскую» цену — полтину. Столько получал поденный работник на сборе вишни, поливе плантации или платили за распиловку сажени дров.

Магазин Чулюканова — деревянное неказистое строение, стоял до последнего времени на углу улиц Советской и Ленина, строго напротив дома Жемарина. А я жил на Мартыновской площади, над самой Волгой, находя в охоте отдушину от серьезных, обязательных дел. С ружьем я таскался еще мальчишкой, а уже после войны охота стала чуть ли не единственной отрадой. Так вот, на Мартыновской площади окружали меня ловцы и охотники, а братья Кузнецовы, люди бывалые, умели артистично рассказывать. Я слушал их с упоением — они-то и зарабатывали на вальдшнепах. Бросали свое сапожное ремесло, уходили на промысел. Да, это был промысел: за каждым стрелком шел с плетеной корзинкой помощник, приглаживал перышки на убитой птице, чтобы не была взлохмаченной, не теряла товарный вид. Стрелять предпочитали половиной заряда, выпускали птицу подальше — чтобы зря не окровавить ее, не испачкать... Полтинник за вальдшнепа был заработком серьезным, относились к нему строго.

Не был обойден благотворительностью и основанный в 1865 году Дубовский Свято-Вознесенский женский монастырь. Еще в период его возведения мещанин-заводчик М. О. Посохин пожертвовал из запасов своего предприятия двести тысяч штук кирпича на первый корпус и каменную ограду, а позже передал монастырю весь завод. Потомственная почетная гражданка Юлия Дмитриевна Репникова пожертвовала в вечное владение монастыря сад на десяти десятинах в Дубовке и 143 квадратных сажени с постройками в Царицыне. Купец Степан Васильевич Кириллов отдал монастырю двадцать пять десятин земли...

...Традиции старокупеческого посада Дубовка не были бунтарскими. Вольность жила в дубовчанах исстари, но повелась она от необходимости защищать себя своими руками, собственной силой. Подступившее время противостояния политических страстей и борьбы за власть было, как правило, чуждо здешним людям. От богатых, именитых и до самого скромного мещанина — все занимались своим делом, работали в будни, отмечали большие и малые праздники, постились, разговлялись, грешили, замаливали... Жизнь текла размеренно и привычно — под колокольный звон и пароходные гудки на Волге, под залихватские двухрядки и шальные песни мастеровых...

К началу 20-го столетия Дубовка заметно утратила свою деловую и торговую мощь. Она словно присела на корточки да так и осталась — в одной поре, с одними и теми же ломовыми извозчиками и пристанскими грузчиками, с лесопилками, кожевенными и маслобойными заводами, хлебными ссыпками и мыловарением, с плугами Небесчетова и мануфактурой Репникова... Все тот же печатался «Дубовский листок», все один и тот же извозчик-лихач Гриша независимо и гордо проезжал по улицам. Одинаково шлепали по воде пароходные плицы, на пристанях одинаково принимали и отдавали чалки, грузчики трусом бегали по мосткам с мешками и тюками на спине, покрикивали «Берегись!..»

Весь берег, от Водяной балки до лесозаводов внизу, за речкой Дубовочкой был завален бунтами строевого леса, в лабах лежали, дожидались своего часа оглобли, спицы, клепка, обручи и рейки. Пахло свежепиленным лесом, смолой и машинным маслом. Пароходные компании красили пристани каждая в свой цвет. Одни нанимали капитанов из отставных морских офицеров, другие предпочитали староверов, третьи ставили людей, знавших судовождение, но непременно из числа своих акционеров или их родственников.

По утверждению знающих людей, на берегу стояло чуть ли не двадцать пристаней. Но я все-таки плохо представляю, как можно было разместить их все на нашем посадском берегу. Ведь стояли еще баржи, рыбацкие лодки, «живорыбные» садки... Ставили под разгрузку беляны, тут же разымали плоты — челеньями подводили к берегу...

Думается, однако: не так уж важно, сколько именно стояло пристаней, достаточно перечислить крутые посадские взвозы — Московский, Воскресенский, Каменный,



Дубовские пристани. Конец XIX века

Калмыцкий... А как не вспомнить «обжорки» на том же берегу?.. Где за пятак наваливали тебе большую чашку пшенной каши с требухой — от пуза; предлагали варенье свиные ножки, пышки-пампушки с нардеком (арбузный мед), блины с постным маслом, а заплатишь дороже — с черной икрой... Совсем дешево стоили пироги с кашей, с картошкой, с тыквой. Обжорки исходили жирным чадом, рабочий люд, который в поисках сезонного заработка скитался по всей Волге и оставался, застревал до осени в Дубовке, на берегу ел, жил, развлекался и буянил. Тут же состязались в силе, случались потасовки, которые кончались иной раз трагически...

Народ был зачастую неграмотный, но физически закаленный, крепкий — играючи ходили под мешками, двухпудовую гирию кидал едва ли не каждый мужик, выпить полбутылки водки в обед считалось в рабочей артели делом обычным. Грузчики брали на себя ношу друг перед другом — как можно тяжелее, чтобы только показать на людях свою могучесть.

Иной раз, если лошадь не брала наизволок, хозяин выпрягал ее, становился в оглобли сам. Яков Степанович Бурденко, сторож прогулочных лодок Дома отдыха речников, а до революции ломовой извозчик, рассказывал мне, как однажды в Нижнем Новгороде дубовские возчики ввалились в чайную. Кроме чая там крепко пили водку, досыта ели. Рюмки не подавали, предпочитали стаканы. В тот раз в чайной завязался скандал. Нижегородцев полным-полно, дубовчан семеро. Слово на слово, матерщина на матерщину... Дубовчане поняли, что разумнее уйти. А нижегородцы приготовились бить чужих. «Поднялись и мы, — рассказывал Яков Степанович, — стали гуськом, пятимся спиной к двери. Лицом — к нижегородцам. А их, стервецов, много, все как на

подбор, крепкие. Ну, и мы — тоже. Приготовились бить. Один из наших глядит вправо, другой влево — в другую сторону. И как только нижегородец кидается, наш бьет. Тот летит, сшибает своих... Допянулись таким вот манером, ушли».

Помнится, я сказал тогда:

— Чему же удивляться, на вас-то глядя...

Якову Степановичу было под восемьдесят, он ссутулился, но оставался высоким, что называется, под притолоку, метровые плечи, тяжелые кулаки...

— Ну да что там — я. Из наших был я самым плохим.

«Плохим» означало — самым слабым. Я с недоверием подумал: если Яков Степанович — плохой, какими же были его товарищи?

... Жизнь в Дубовке текла по-прежнему размеренная, привычная, под колокольный гул и разноголосицу пароходных гудков, под машинный шумок маслбоек и колесный перестук ломовых подвод. И как-то не очень заметно было, что посад словно смежил веки и дремотно, нехотя смотрит окрест. Дубовка, похоже, устала от векового напряжения и рада была отдохнуть — от шума и гвалта, от трескучих ременных бичей на перволоке во время ходок. Она затихла, словно захотела оглядеться, хорошенько рассмотреть — куда пришла и зачем, захотела увидеть завтрашний день, мысленно проникнуть в кривую излучину своей судьбы.

Деловые тяготы, а вместе с ними и капиталы спустились по Волге на пятьдесят верст, зацепились, осели в Царицыне, а в Дубовке и впрямь воцарилась благодать под звон колоколов. Никому, повторю, не было особого дела до Царицына. Посадским купцам, ремесленникам и кустарям, извозчикам и лесопильщикам, пивоварам, маслобойщикам, бондарям — православным, баптистам, единоверцам — не было никакого интереса, как там растет, пухнет от богатства Царицын...

В Дубовке жили, как в отдельном государстве: посадская дума и посадская управа, Общественное собрание, ссудно-сберегательная касса и Общественный банк, отделение Торгово-промышленного банка и Кредитное товарищество... Два кинотеатра, «Модерн» и «Наполеон», земская больница, свой нотариус и даже сиротский суд... А уж если приспичит почитать — милости просим, пожалуйста: есть публичная библиотека. За два рубля в год будут приносить тебе «Дубовский листок». Хозяин этой газеты — грамотные господа называют его почему-то редактором — преподаст тебе всю правду и неправду в лучшем виде.

Одним словом, наплевать было дубовчанам, что там и как в Царицыне, в губернском Саратове или в ярмарочном Нижнем... И уж совсем не доходили мыслями до Москвы, тем паче до Петербурга. Никто слыхом не слыхивал имен, которые проступали все ясней и ясней в делах Департамента тайной полиции. Нерусские слова «интернационал» и «революция» были непонятными и далекими, оставались ненужными — шелупень какая-то, не слова... В тифозном бреде не могло привидеться, что Сергей, сын протоиерея Успенского собора Константина Минина, пойдет против царя и православия, против своего отца, станет ломать российские устои, возводить новую власть, неведомую дотоле форму государственного правления...

Дубовка жила государством в государстве, в привычных делах и заботах — нико-го не волновало — что там, за горизонтом. Дела шли по накатанной дороге: по-прежнему гнали через Дубовку деготь и смолу, хлеб и строевой лес. Она поставляла небесчеловеческие плуги и тележные колеса, железоскобяные и москательные товары, подсолнечное, горчичное масло и лучшие сорта муки, кадушки, самопряжи, мыло, ручной работы ковры, великолепные кружева и удивительно красивую обувь... А какую мебель умели делать в Дубовке! Столярные поделья тех времен дошли до наших дней, они поражают ювелирной чистотой работы и красотой. В нашей семье долгое время хранился



В центре посада Дубовка. 1894 г.

сундук. Я все пытался разглядеть пазы — где одна доска соединяется с другой. Но так и не смог найти...

...В Дубовке произошло событие, послужившее, как позже говаривали многие, знаком грядущих перемен: главный пятисотпудовый колокол на соборе Успения Божьей Матери дал трещину. Сто лет звонил, и вдруг трещина. Знамение Господне?..

Большой Успенский треснул. Малиновый звон дал хрипотцу, в нем послышались обида и жалоба. В ущербном звоне ощущалась боль, отзывавшаяся страхом: непонятное всегда страшит. Чудо-колокол сбросили, чтобы перелить...

Колокола других церквей теперь тоже звонили жиденько, немощно. Голос монастырского соборного колокола словно укорял посадских людей за разбойные старые дела, за греховность и сомнения... Дубовка сгорбилась и приникла к земле под тяжелой ношей больших и малых прегрешений, под страхом близкого возмездия. Именно в это время на крепостных стенах дома атамана Персидского дубовчане опять видели по ночам тень Степана Разина; иные утверждали, что по Воскресенской проходил Емельян Пугачев... Остановился возле дома Павла Ивановича Жемарина и погрозил пальцем... А с колокольни, с пятидесятиметровой высоты возглашал протоиерей Иоанн Покровский, обличал дубовчан в безбожии. Говорил, что это они загубили колокол, наплодили иудейских субботников... Люди божились, что видели все своими глазами, слышали собственными ушами.

На Соборной площади при стечении великого множества народа билась в истерике молодая мещанка Мария Подшибякина, звала людей молиться и каяться, а на Татаркином мосту повесился пришлый человек.

Народ в посаде жил неробкий, боязней тут не праздновали, испокон веку полагались на собственные кулаки и на булатный нож, грудью, напролом шли на врагов и недругов. Не утравал пистолет, не утравала власть. Но тут увиделся Божий гнев, оттого посадские прижухли. Купечество забеспокоилось, из Саратова привезли мастера колокольного литья. Чтобы придать колоколу «малиновое» звучание, надо было прибавить в литье чистого серебра. Много серебра. Дубовчане жертвовали не только серебро, но и золото. Богатые несли щедро и много, даже неимущие отдавали последнее. Инициалы многих дубовчан были отлиты по всей нижней окружности поднебесного исполина.

Праздничный, торжественный день, когда новый колокол поднимали на звонницу, представляю во всех подробностях. Потому что рассказывал мне об этом мой дедушка, Степан Михайлович Селезнев. Он оказался в тот день в Дубовке, приехал, чтобы купить какую-то мелочь для своего хозяйства в селе Новоникольском. Хорошо знамая Дубовка поразила: тысячи людей — от малого до старого, даже больные, немощные, даже иноверцы — запрудили не только Соборную площадь, но и прилегающие улицы. Сила притяжения была настолько велика, что проезжие останавливались на тракте, сворачивали на Московскую, торопились к собору. Всегда четко, минута в минуту выдерживалось расписание паромов, но в тот день пассажирские и буксирные суда задерживались у пристаней. Не только пассажиры, но и команда выходила на берег, все шли к собору, чтобы хоть как-то приобщить себя к торжеству.

Жители окрестных сел — Пичуги, Песковатки, Оленьего, Горно-Водяного, Стрельно-Широкого, Прямой Балки и Давыдовки, проезжие и случайные прохожие — вместе с дубовчанами ждали торжественного часа. Люди крестились, обменивались подарками и угощениями, давали деньги бедно одетым и нищим, целовали незнакомых. Колокол в Дубовке оповещал о начале и конце дня, с него начинались праздники. Первого удара его ждали не только в Дубовке, но и в соседних селах, он вселял в людей веру и надежду... Никто не знал, что не так далек день, когда взорвут прекрасное творение рук человеческих, творение душ людских — собор Успения Божьей Матери... Когда порушат монастырь, Воскресенскую церковь и Покровскую...

...По улицам посада тянулось какое-то неприятие, отрицание. Оно сквозило по шумному волжскому берегу, кружило по кожевенным и лесопильным заводам, по артелям сезонных рабочих, грузчиков, ломовых извозчиков... И ведь не Бога отрицали, не посадскую власть и даже не хозяина, на которого работали, — отрицали неизвестно что и зачем. Скорее, это было не отрицание, а недовольство, хотя никто и не мог толком сказать чего именно хочет. Недовольство и протест копились, зрели где-то очень далеко. В текущих документах тайной полиции замелькали незнакомые дотолы имена. Но всерьез их, похоже, никто пока не принимал. Лишь самые дальновидные предполагали опасность, которая зародилась в недрах Германии и начала просачиваться в Россию. Предполагали, но не боялись. Потому что не отошли от народовольческих акций, самым страшным виделся террор — отголоски его все еще докатывались волнами до глухих окраин России. Остальное пока что виделось шаловливостью взрослых образованных бездельников, которые ищут и не могут найти себе применения. Слово «революция» было достаточно знакомым, однако невозможно было представить революционеров в лаптях и поршнях...

...В 1914 году заполыхала война с Германией. Эту войну нарекут впоследствии империалистической, она вскинет на дыбы всю Россию. Царский манифест призывал, требовал, обещал победу: «Божьей милостью Мы, Николай Второй, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и прочая, прочая, прочая объявляем всем Нашим верным подданным...»

В Дубовке манифест читали на Соборной площади, на лесозаводах и пристанях.

После объявления мобилизации в посаде появилась листовка Сергея Минина: «Долой войну! Долой монархию! Да здравствует мир! Да здравствует всенародное правление! Встаньте же, товарищи, все как один — и это все свершится! Помните это!» Кстати, вроде бы тот самый печатный станок, на котором Минин печатал прокламации и воззвания, оставался целым в Дубовке вплоть до шестидесятых годов.

В связи с народными волнениями, вызванными войной и политическими действиями большевиков, Саратовская губерния была объявлена на «положении чрезвычайной охраны». Многие большевики были арестованы. Сергея Минина выслали в Енисейскую губернию. Там он пробыл вплоть до Февральской революции, а Октябрьскую встретил в Москве, принял в ней самое деятельное участие.

Казалось, смерть была где-то очень далеко, и маршевые роты шли через Дубовку на Царицын безустально, бодро — скатки шинелей, манерки, штыки... Все было новым и вроде бы не таким уж плохим. Офицеры были строгими, но по-отечески заботливыми, каптенармусы воровали пока еще умеренно, полковые священники сулили христоролюбивому воинству близкую победу, а враг, пока еще далекий, виделся маленьким и не страшным. Да кто это осмелился восстать против России? Вот дорвутся до наглого германца — стружки с него полетят!.. И солдаты так думали, и те, кто оставался дома. Не ведали, что после этого царского манифеста Российская Империя тронулась к своему концу...

Война вроде бы не сильно пошатнула Дубовку. Всё так же бұхал, отливая не то серебром, не то червонным золотом, главный колокол Успенского собора, вторили ему колокола других церквей, шла торговля, махали деревянными аршинами приказчики, все так же зудели лесопилки, швартовались и отваливали пароходы, тянулись ломовые извозчики, трусили под мешками грузчики на пристанях, гуртовались ватаги пришлых людей в поисках заработка... Вот только каша с требухой подорожала да лихач Гриша продал коляску и лошадь — возить стало некого. А еще появились в газетах — столичных, губернских и уездных — печальные столбцы фамилий убитых на фронте воинов. Списки становились все длиннее и длиннее. То в одном, то в другом посадском доме занимался крик по мертвому...

День ото дня колокола звонили уже как бы неохотнее, пароходы давали отвальные гудки торопливо, словно спешили удалиться, чтобы не заразить себя людской боязнью. Краснодеревщик Кисляков закрыл свое дело — заказов не было. Даже в большие базарные дни привоз становился все скуднее, из Царицына дубовчане приезжали испуганные: фабричные глядят бирюками, солдаты в строю шагают измученно, отовсюду несет дезинфекцией и сортиром. А возле хлебных лавок — очереди. Ходил слух, что мельница Гергардта вот-вот остановится, — зерна нет, молоть нечего.

Павел Трофимович Артамонов спрашивал Жемарина:

— Придерживаешь хлебец? Отчего не продашь? А, Павел Иванович?..

Жемарин морщился, похоже, не хотел показать своей веселости:

— А сам? Ты-то почему не продашь?

Артамонов откровенно смеялся:

— Пусть будет кошка душой. Цена поднимается каждый месяц — подождем.

Репников укоризненно покачивал головой:

— Ах, господа... Сердце чует — доиграемся мы... Самый злой человек — это голодный человек. Война затянулась, конца не видно, а у нас хлеба нет... Это в России-то!.. Мы придерживаем, чтобы продать подороже, и не думаем, что голодные толпы хлынут, разнесут амбары. И всех нас — к чертовой матери. Деньгами от голодных не откупишься. Еще полгода войны...

Жемарин отмахивался:

— Бог не выдаст — мужик не съест.

Репников сердился:

— Еще как съест! И хлебные ссыпки ваши, и всех нас — заодно. Помяните мое слово. Мужики не станут делить нас на плохих и хороших. Для них мы все одинаковые. И, представьте, они ведь правы: дивиденды свои вытаскиваем из чужих карманов.

— А ты, Иван Александрович, ступай к большевикам...

— Мы-то к ним не пойдём. А вот они придут к нам. И скажут...

— И говорить ничего не будут — удавку накинута.

Репников согласно наклонил голову:

— Вероятней всего. Так не разумней ли продать хлебец, чем дожидаться, когда заберут даром?

В шинке на Воскресенской говорили другое:

— Мы поглядим, как обернется. Ежели чего, своим судом управимся. Фабричные, погляди, что делают. Там себя в обиду не дают.

— Другой народ. Ты — не равняй.

— А мы что? Иль не постоим за себя?

Ни митингов в Дубовке, ни протестов. Но шатко и беспокойно. С закатной стороны тянуло страхом. Василий Иванович Лукичев говорил редактору «Дубовского листка» Семенову:

— Плохо воюем, неумно. Свернуть бы надо кампанию. Ведь все потеряем — боюсь.

Семенов отмахивался:

— Что вы, что вы! А долг перед союзниками? Франция, Англия — что скажут? Изменить союзническим обязательствам? Да ни за что на свете!..

— А если революция? В таком-то разе что скажут наши союзники? Пятый год — вон он, недалеко отошел. Боюсь. Начать-то начали — ума хватило. А выйти подобру не можем. Тут нашего ума не хватает. Я, конечно, понимаю... Государь, может, и хотел бы... Не дурак же он! Но ведь честь державы, нации, русского оружия... Понимаю. Но чем хуже идут российские дела, тем лучше большевикам. Для них — почва, так сказать... Мой грех — читал воззвания большевиков. Должен сказать, умные и страшные они, большевики. Чем глупее ведет себя правительство, тем легче им вершить свои дела. Ой, боюсь я, господин Семенов...

Шестнадцатый год в России встретили уже, что говорится, с голым тылом... Но в высших армейских кругах, в Ставке, в правительстве о мире никто не помышлял. Все бредили победным завершением кампании — никто не хотел видеть, что делается на соседней улице. А на ней уже готовили свержение самодержавия, разжигали недовольство, звали к бунту с новым названием — революция...

По сравнению с Царицыном и Саратовом в Дубовке по-прежнему было тихо. Улицы испятнаны шинелями списанных с фронта солдат. Среди них — безногие, безрукие, с черными повязками на глазу. Инвалиды и раненые, они косились на богатые дома мрачно и выжидательно, как будто особняки Крючкова или Чулюканова вот-вот провалятся в тартарары. Но богатые дома не проваливались — еще не подошел срок. По всему, однако, чувствовалось, что срок этот недалек, революция близится, и ничто не поможет, никто не сдержит — ни полиция, ни жандармерия, ни армия. Да армия и взбунтуется первой. А люди с винтовками, да еще изведавшие кровь, ощутившие дыхание самой смерти — страшные...

Но об этом больше рассуждали в домах именитых людей, в Общественном собрании, в городском присутствии и в Общественном банке. Посадские ремесленники, кустари, извозчики, грузчики мало что внятного слыхивали про монархистов, социалистов, про верховных большевиков или меньшевиков... Какой-то Ленин... Карл Маркс? — это еще кто такой? Про Минина — знали, потому что свой, посадский.

Недовольство в Дубовке тихое, но слова произносят жесткие. Да и как им не быть жесткими, если мобилизация добралась чуть ли не до стариков... Приходят с фронта искалеченные, рассказывают: солдат в окопах вошь съедает, интенданты воруют, министрами правит какой-то конокрад Гришка Распутин... Это как так, конокрад — над министрами? А вот так! — царь никудышный! В деле военном ничего не смыслит, а взялся командовать генералами. Скинуть всех к чертовой матери! И большевики все громче и громче: «Долой войну!».

...Январским утром, на рассвете, когда мороз сворачивает скулы на сторону, увидели на пожарной каланче красный флаг. Едва ли не вся Дубовка стеклась, сбежалась. Страшно было глядеть на запретное полотнище, а все-таки радость подмывала: ах, молодцы! Кого хвалят — не знали. Полицейские, понятно, стащили, изорвали флаг. А виновника не нашли. И наградные сулили, и грозили — никто никого не назвал. Флаг-то исчез быстро. А посад зашатался весь, словно люди спохватились найти свою потерю.

И вдруг — как зимняя гроза — неправдоподобная весть: царь отрекся от престола... Именно с первых мартовских дней семнадцатого года страх стал вольно бродить по дубовским улицам с ватагами пьяных мастеровых, с береговым, с пристанским людом. Он пойдет след в след с черными монахинями и даже со стайками посадских детей. Его понесут на солдатских штыках и на красных бантах, от него попытаются спрятаться за призывы и лозунги, иные попытаются отсидеться за чанными воротами и за каменными заборами — чтобы постигнуть трудную науку молчать.

Уже никого особенно не интересовал царь. В Дубовке не знали, что брат царя Михаил не принял чести быть регентом наследника — он тоже отрекся. До купеческого посада не дошло, что царя, всю семью и наиболее верных ему людей взяли под стражу, изолировали в Александровском дворце. Не будут знать и о ссылке царской семьи...

В революцию дубовское купечество словно растает. А может, сдует его суховейный ветер из Заволжья летом семнадцатого... Ближе к зиме в иных богатых домах еще оставались управляющие или доверенные, а то и дальние родственники. Потом и они куда-то подеваются. Потащат из богатых домов мебель, посуду, одежду. Вышибут двери, рамы, оторвут половицы. Ломай — все наше!..

Появились новые слова — «кулак», «уком», «ячейка», «комбед», «чека». В церквях теперь звонили реденько, опасно, большой соборный колокол молчал. На заметку стали брать тех, которые усердно ходят в церковь. Вины никакой вроде бы нет, а боязно. Власть пришла народная, но уж лучше не высовывать нос за калитку... Не угодить бы в Чеку. С перевозимья это слово сделалось устрашающим: забрали в Чеку — пропал человек. Про генерала Корнилова слухи ходили, про Дзержинского... Про белых и красных. С одной стороны и с другой. А где они, эти стороны, дубовчане не знали. Буржуи, которые, значит, богатыми были, затеяли войну против всей России. Новая, советская власть вынуждена обороняться, спешно создает Красную Армию. У буржуев армия белая, у рабоче-крестьянской власти — красная. Россия разделилась пополам, на два цвета. Одна сторона против другой. Сосед — красный или белый? А хрен его знает...

Революции — Февральская, а следом Октябрьская — свершились где-то очень далеко — неизвестно, что и как там было. В Царицыне, в Саратове, везде и всюду — революция. А Дубовку она обошла. Тут, до времени, все осталось опять-таки тихо. Только есть стало нечего. Магазины и лавки закрылись, ломовые извозчики словно попрятались — ничего не везли, маслобойки, лесопилки стояли. И мукомольные мельницы остановились — зерна не было. Винные погреба Захарченко частью разграбили, час-

тью уничтожили. Уничтожить новая власть приказала, чтобы не оставалось никаких соблазнов. Бутылки во множестве разбивали, вино выливали на землю. Очевидцы рассказывают, что многие жалостливые или пьяные люди, глядя на то, как пропадает добро, ложились на землю, лакали из лужиц.

Дом Василия Ивановича Лукичева был разграблен, а что не растащили, хозяин отдал сам. Предлагал и даже навязывал: возьмите. Иные жалели его, а кое-кто глядел подозрительно: денежки, мол, положил в глубокий карман, а барахло всякое — возьмите-заберите. Но Лукичев не оставил себе ничего. По характеру и душевному складу, по религиозному убеждению он не был стяжателем. Да, сколотил увесистый капитал. Но не корысти ради: немалые деньги вкладывал в благоустройство Дубовки, жертвовал церкви, бедным людям и начинающим предпринимателям. Потому-то в революцию его не тронули. А если не обошли грабежами, так пакостных людей всегда хватало, и из революции многие полезли во власть, зашагали впереди...

В Дубовке все оставалось непонятно и тревожно. В тревоге этой родилась безнадежность. Этой безнадегой и завершился самый интересный, насыщенный этап в истории старокупеческого посада. Жизнь пойдет серо. Даже Гражданская война, годы НЭПа, бурные и трагические тридцатые, Великая Отечественная война не стронут и не оживят ее — Дубовка останется практически с тем же числом населения, с прежними полукустарными предприятиями, старокупеческими особняками да почернелыми от времени посадскими домами. Ни взад, ни вперед — словно затвердела на семи ветрах...

...Революция прошла по Дубовке с красными флагами, с красными бантами на солдатских шинелях, овчинных полушубках и даже суконных сюртуках, прошумела митингами и малопонятными речами... Орала «долгой», а кого и зачем — мало кто разумел. Из именитых купцов в Дубовке остался доживать один Лукичев, монастырь опустел, в холодных кельях жались друг к другу старенькие немощные монашки — не могли дойти до посада за подаванием. Некоторые дубовчане сами шли к ним, сердобольно несли хоть что-нибудь из своих малых припасов. В церквях служили тихо, люди работали и не работали, пароход мог прийти и не прийти... Только ловецкие лодки оставались на Волге прежними — поднимались вверх до Водяной балки, а потом сплывали вниз до краснокирпичных крючковских домов, до застылых лесозаводов. Не было на Волге ни белян, ни плотов, дрова для себя возили лодками. Берег заметно обезлюдил, опустел, на всем лежала печать разрухи и развала.

Издали доходили слухи про генерала Деникина, атамана Краснова. На юге копилась белая армия, офицерские соединения шли на Екатеринодар. Но почему-то не дошли. План и вся стратегия Корнилова оказались ошибочными, неосуществимыми — генерал то ли застрелился, то ли был убит в бою. Деникин укреплял Добровольческую армию, повел ее на Царицын, Камышин. Это уже совсем близко, до Царицына, считай, полсотни верст, там разгорелось нешуточное. На защиту красного Царицына через Дубовку шла конница Азина. В сорока верстах, у села Садки с белыми рубились казаки Думенко и Буденного. Комендант левого берега Волги Колпаков объявил всеобщую мобилизацию для защиты Царицына, в Дубовке забрали всех способных держать в руках винтовку.

К середине января 1919 года белые заняли Дубовку. Вскоре взяли-таки Царицын. Приходили мрачные вести, что пленных красноармейцев они вешают — по улице Гоголя, возле Народного дома Артемия Яблокова, выходявшего фасадом на главную городскую площадь, которой не случайно потом присвоят имя павших борцов революции. Но красные полки сумели освободить Царицын. Опять заговорили про Сергея Минина, он был едва ли не самым главным в Царицыне ещё с лета семнадцатого возглавлял городскую думу, а потом горсовет, входил в реввоенсоветы. В городе во вре-

мя его правления проявились «автономные» настроения, даже печатали свои деньги, они были в ходу, в народе их окрестили «мининками». Рядом с Мининым называли Сталина и Ворошилова, Ермана и Руднева, Павина и Тулака. Но об этих в Дубовке толком не знали. Какие-то начальники.

Всё Заволжье — Быковы хутора и Луговодяное, Новоникольское и Рахинка, Безродное и Погромное, Заплавное и Царев, до самого Житкура и Джанибека — было охвачено белобандитизмом. Из Царицына, Дубовки, Горного Балыклея туда уходили красные отряды чрезвычайного назначения. Это были карательные отряды, они вершили скорый суд и расправу беспощадно, до полного уничтожения банд.

Белобандитизм в Заволжье не считался политически осмысленным движением. Конечно, капитан царской армии Сиволобов, командиры крупных отрядов Еркин, Шувалов или Рогачев лелеяли далеко идущие планы: в случае окончательного падения Царицына соединиться с деникинцами. А рядовые (чаще всего голь перекатная), запятнавшие себя невинной кровью, жили одним днем: жив пока, и ладно. А начинался бандитизм этот с малого — дезертирства. Приходил, допустим, молодой солдат с германской по ранению домой, а кончался отпуск — удалялся в глухую степь, затаивался, неохота было возвращаться на фронт, погибать за здорово живешь. Собирались так вот двое-трое, а потом и десяток, поначалу промышляли продукты разбоем. Из них выдвигался командир, потом их прибирал к рукам офицер, знавший, куда направлять силу...

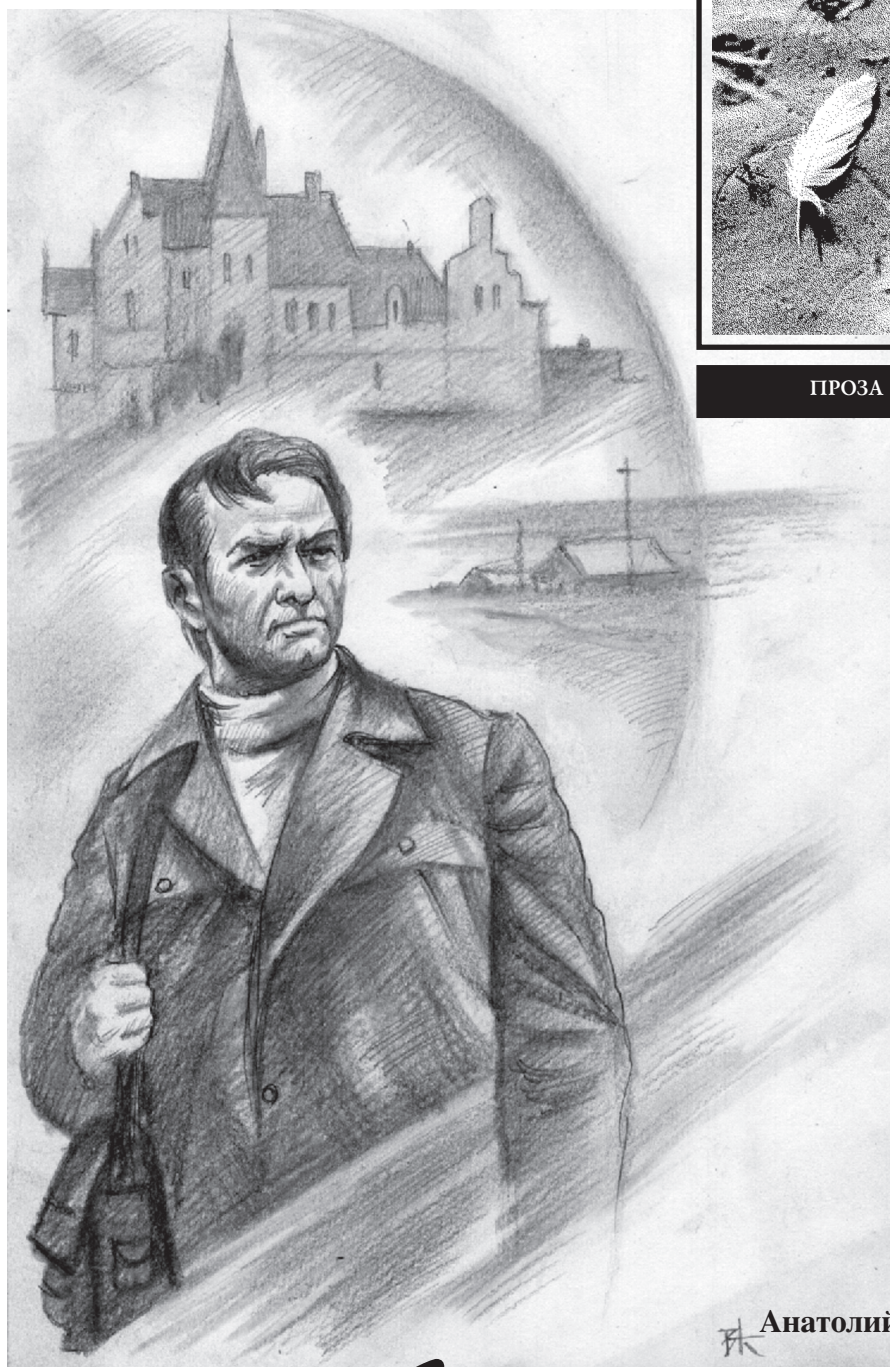
Но это всё было вокруг Дубовки или вовсе вдали от нее. Сама же она оставалась на обочине событий...

Фотографии Максима Дмитриева





ПРОЗА



Анатолий ЕГИН

В плену у жизни

Рисунок Вадима Жукова

Мэр Средневожска Виктор Сафронов летел из Москвы в Варшаву. Удобно устроившись в кресле, он ещё и ещё раз обсуждал сам с собой программу визита в Белотоцк — центр одного из воеводств Польши.

«Переговорю с мэром, побываю на текстильном комбинате. Но что из этого можно извлечь? Поляки тоже находятся в непростой экономической ситуации. Правда, они раньше России начали переходить к рыночным отношениям, может быть, уже нащупали что-то ценное. Дай бог, чтобы было так — тогда будет чему поучиться, что перенять. А если нет? Но ведь думают же и они над экономическими проблемами, наверное, есть у них какие-то мысли, авось поделятся», — рассуждал про себя Сафронов.

Тот, кто жил в девяностые годы XX века и самостоятельно пытался заработать на хлеб, прекрасно помнит, как это было непросто. Рушилось всё — промышленность, сельское хозяйство, бедствовали врачи и учителя, не получая вовремя заработную плату. Да и на те деньги, которые с большим опозданием попадали к ним в руки, едва можно было свести концы с концами. Народ стремительно нищал, а единицы ловкачей богатели, беззастенчиво «прихватизируя» народное имущество.

В 1993 году Верховный Совет Российской Федерации задумал было повернуть всё вспять. Но было уже поздно да и неправильно — в одну воду дважды не войдёшь. В сентябре противостояние между исполнительной и законодательной властью достигло апогея, и произошли события, о которых хорошо известно. За ними последовал роспуск Верховного Совета и всех региональных Советов — в России начался принципиально новый период современной истории.

Новые выборы Государственной думы и законодательных собраний регионов состоялись 3 декабря 1993 года. В то время от глав субъектов Федерации потребовали большей инициативы в вопросах построения рыночной экономики. Руководители на местах начали думать, читать, учиться, перенимать инородный опыт.

В один из мартовских вечеров 1994 года пригласил к себе губернатор Виктора Григорьевича Сафронова. Они долго обсуждали ситуацию вокруг градообразующего предприятия Средневожска — текстильного комбината. В итоге глава области предложил:

— Виктор Григорьевич, не съездить ли тебе в Польшу, ну, скажем, в Белотоцк? Я там бывал в советские времена, текстильное производство у них не меньше нашего. Ты — инженер-текстильщик, тебе и карты в руки. У поляков перестройка раньше лет на пять началась, уж сколько шишек они себе набили и пуд соли съели — может, чему-то у них поучимся? Давай прозондируй почву и готовься в командировку.

Виктор навёл справки о мэре Белотоцка Григории Гаевском и был приятно удивлён, что тот тоже инженер-текстильщик — значит, легче будет разговаривать с коллегой. Пообщались по телефону — и опять удивление: Гаевский прекрасно говорил по-русски, пожелал Сафронову хорошей дороги и добавил, что будет ждать его с нетерпением.

Самолёт приземлился в аэропорту имени Шопена точно по расписанию. Сафронова встречали, на выходе он увидел в руках чиновника табличку со своей фамилией и пошёл к нему. Чем ближе подходил, тем сильнее было заметно удивление встречающего.

— Добрый день! Сафронов — это я.

Чиновник какое-то мгновение был безмолвен, но вскоре пришёл в себя.

— Очень рад, пан Сафронов. Здравствуйте! Я Збигнев Ясносекирский — сотрудник отдела зарубежных связей мэрии Белотоцка. Прошу вас следовать за мной.

Двести километров по идеальной дороге проехали быстро. Сам же Белотоцк, город с шестивековой историей, был не богат, не помпезен, не многоэтажен, на фоне невысоких домов выделялись шпили костёлов да купола православных храмов. Город делила надвое небольшая река, через которую было переброшено несколько мостов без всяких украшений. Мэрия располагалась в здании старой ратуши, построенной в немецком стиле.

Когда путники вошли в мэрию, Сафронов почувствовал на себе какие-то странные, слишком пристальные взгляды. Один из идущих навстречу с толстой папкой в руках вытянулся в струнку и пожелал пану мэру доброго здоровья.

«Странно, — подумал Виктор Григорьевич, — неужели сотрудники градоначальника осведомлены о моём приезде? Что бы это значило?»

Вошли в приёмную, картина оказалась ещё более поразительной: секретарь испуганно вскочила с места, открытым ртом хватая воздух. Она смотрела то на дверь кабинета, то на Сафронова, и только когда увидела Ясносекирского, заулыбалась и приветствовала гостя.

— Я вас чем-то обескуражил? — с удивлением спросил Виктор Григорьевич. Ясносекирский перевёл.

— Нет, нет, что вы!

— И тем не менее, — продолжил Сафронов, обращаясь уже к Збигневу, — с самого аэропорта я обратил внимание на растерянные взгляды встречающих меня людей.

— Нет, ну что вы, господин мэр! Может, и есть небольшое смущение, но оно не вызвано чем-то странным с вашей стороны. Ответ на свой вопрос вы найдёте скоро. А сейчас вас ждёт наш руководитель.

Секретарь распахнула дверь, Ясносекирский громко объявил:

— Мэр Средневожска господин Виктор Сафронов.

Гость вошёл в кабинет и поздоровался с хозяином. Из-за стола поднялся человек, пошёл навстречу: та же походка, лицо, и, если бы не причёска, гость мог подумать, что к нему подходит его отражение. Гжегош Гаевский тоже был удивлён и поражён.

— Здравствуйте, дорогой коллега! Мы с вами, как два брата-близнеца! Подойдём к зеркалу?

— Да! Бывает же такое! Правда, цвет глаз у нас разный, и волосы у вас русые, а я блондин. Поразительно! Ну братьями мы быть не можем, зато двойники точно.

— Это так. И по профессии, и по служебному званию тоже. Вы какого года рождения, господин Сафронов?

— Я родился в июле 46-го.

— Выходит, я старше вас — в январе 45-го.

— Пан Гаевский, откуда у вас такой прекрасный русский язык?

— Я учил его с детства, мама так хотела. Вблизи хутора, где я родился, жило много белорусов, а потом в школе русский язык нам преподавала москвичка пани Нифонтова, жена вашего офицера. Моё произношение — её заслуга.

— Повезло вам. Я в школе немецкий учил, но знаю его плохо. Правда, английским специально в институте занимался, думаю, в англоязычной стране не потеряюсь.

После обеда была встреча с работниками мэрии. За несколько часов с интересом обсудили массу вопросов — о муниципальном образовании, здравоохранении, социальной защите населения, коммунальном хозяйстве. Выяснилось, что проблемы во многом схожи с российскими, но полякам некоторые из них уже удалось решить. Главный вопрос — инвестирование в экономику и городское хозяйство не обсуждали, оставили на завтра.

Ужин Гаевский предложил провести вдвоём в небольшом уютном шинке, где они отведали блюда деревенской кухни, выпили домашней водки на брудершафт и перешли на «ты».

Утро следующего дня было солнечным и по-весеннему тёплым. Сафронов вышел на улицу прогуляться по набережной реки и уже без удивления отвечал на приветствия прохожих, констатируя, что горожане хорошо знают своего мэра и уважают, ибо каждое приветствие сопровождалось доброй улыбкой. Воздух в городе был чист и прозрачен, погода придавала гостю хорошее настроение и предвещала удачный день.

День действительно был насыщенным, профессионально-текстильным. Осмотр комбината не открыл для Виктора ничего нового. Ткацкие и отделочные фабрики почти ничем не отличались от наших. В ту пору все предприятия социалистических стран, входивших в Совет экономической взаимопомощи, покупали оборудование из одного источника, технологии во многом совпадали, да и сырьё если не всё, то уж точно наполовину шло из азиатских республик СССР.

Всё старое производство белотоцкого комбината работало на 20-30 процентов от своих мощностей. Изюминку Сафронову показали в конце: это был новый ткацкий цех, полностью автоматизированный, включая отделку. Обслуживала процесс производства смена из пяти наладчиков и дежурный программист. Оборудование закупалось в Германии и работало практически без сбоев.

— Это производство даёт нам немалую прибыль, ещё год — и все затраты окупятся, продукция станет дешевле, реализация увеличится, прибыли тоже, а значит, и в городскую казну налоговых отчислений прибавится, — пояснил Гаевский.

— Это так. Но как же рабочие места для горожан?

— Проблема есть, однако и это мы продумали, через год открываем швейное производство, опираясь на китайский опыт. Китайские текстильщики закупают оборудование и сдают в аренду частникам, те массово шьют одежду для всех категорий и возрастов. Россию они ещё не завалили своими товарами?

— Дальний Восток почти завалили и в европейскую часть везут активно. Но мне хотелось бы вернуться к вашим делам. Я так понял, что всех бывших работников комбината вы не трудоустроите?

— Да, думаю, это невозможно. К сожалению, это реалии нового времени, и мы от них не отмахнёмся, старые методы здесь не годятся. Нужны инвестиции в новые производства и в другие отрасли. В наших странах есть преимущество не очень дорогой рабочей силы, но для новых производств нужны грамотные работники или хорошо переученные старые, а это опять деньги. Мы не боимся пускать к себе инвесторов из Европы и Азии: пусть строят предприятия, готовят рабочих, обеспечивают их местами, а цеха хозяева с собой ведь не унесут. Только вот не очень спешит к нам бизнес с инвестициями — боятся, не повернём ли мы вспять, для того-то и нужна твёрдая, чёткая позиция государства.

Они ещё долго обсуждали экономические вопросы, каждый искал свой ответ. Вдоволь наговорившись, пришли к выводу, что экономические законы не обманешь, надо следовать им и добиваться результатов.

— Как вы, русские, метко говорите, «под лежащий камень вода не течёт». Нужно пробовать, дерзать, больше доверять молодым в решении серьёзных дел, они смелее и решительнее нас, — заключил мэр Белотоцка.

— Да, наша интересная беседа, безусловно, имела пользу, — отметил Сафронов.

— Не мешало бы поужинать.

— С удовольствием.

— Я на сегодняшний ужин хочу пригласить свою жену, ты не против, Виктор?

— Дарю тебе в твой арсенал русских поговорок ещё одну — «хозяин-барин». К тому же в компании с женщиной пища вкуснее. Буду очень рад познакомиться с твоей женой.

Сафронов был уже почти удовлетворён результатами поездки, цель достигнута, он убедился, что мыслит в правильном направлении — это тоже результат. Но вместе с тем в душе сидела какая-то заноза, Виктору казалось, что-то остаётся неясным. Но что? Этого он пока понять не мог.

Ужин был не только вкусным, но и очень интересным. У Гжегоша Гаевского была удивительная жена, она отличалась не только прелестной внешностью, но и «подвижным» умом, тонким юмором. Любовь Гаевская, в девичестве Пашкевич, была родом из Белоруссии, и не удивительно, ведь треть жителей Белотоцка относилась к той же национальности. За ужином общение шло на русском языке. Единственное, что поначалу смущало Виктора, это типично белорусское произношение мягких русских слов, ему странно было слышать из уст утонченной интеллигентки вместо верёвка — веровка, вместо порядок — порадок, а слово *тряпка* звучало как *трабка*. Однако ощущение это как-то быстро прошло. Люба была начитана, хорошо знала историю, разбиралась в живописи и музыке и, конечно, в правоведении, поскольку по специальности была юристом.

Ближе к концу ужина заговорили о родителях. Люба рассказала, что её отец был дворянином, строго относился к воспитанию детей, старался с детства прививать им любовь к познанию мира.

— Ваши предки тоже были дворянами? — спросила она Виктора.

— Вообще нет. Мои родители были крестьянами. Отец и мать родились в деревне Лысогорка, где потом родился и я. Мама волею судеб стала трактористкой. В ту пору когда все мужики ушли защищать Родину, она села за рычаги трактора, надо же было кому-то пахать и сеять. А отец Григорий Сергеевич был мастером на все руки, жизнь

В ПЛЕНУ У ЖИЗНИ

заставила. Рано осиротел, остался в семье за старшего, и на его попечении было два младших брата. Вот тогда и стал он поваром и пекарем, полеводом и конюхом, кузнецом и плотником. С детства любил музыку, в нашем доме всегда были гармонь и скрипка. Мой папа был очень талантливым человеком, за что ни возьмётся — всё получается.

Вот только не повезло ему однажды — во время войны попал в плен, бежал, прятался на каком-то хуторе у польских крестьян. С приходом советских войск служил в штрафном батальоне до победы, а потом с 1945-го по 1953 год ежемесячно ездил в районный центр, отчитывался о своей жизни, о том, не совершил ли каких антисоветских поступков.

Собеседники притихли и внимательно слушали.

— Да, нелегко пришлось твоему отцу и моему тёзке, — после паузы произнёс Гжегош. — Скажи, а в каком лагере он был?

— Ты знаешь, он не любил рассказывать об этом, редко когда говорил о плене, потому точно сказать не могу, как лагерь назывался — Терebinка или Тебалинка, помню, что он к названию добавлял «цвай».

— Может быть, Треблинка-2?

— Да-да! Треблинка цвай. Точно! Точно Треблинка.

— Так это же недалеко отсюда. Лагерных построек там не осталось, немцы всё после восстания заключённых уничтожили. А музей на этом месте наши после войны создали — может быть, и о твоём отце какие-то сведения отыскать можно. Кстати, в двенадцати километрах от этого лагеря есть хутор, где я родился, мама моя и сейчас там живёт.

— Так вы, господа мэры, завтра и отправились бы туда, — вмешалась в разговор Люба. — Меня тоже с собой взяли бы, я свекровь уже около года не видела. А что, неплохая идея? Один с мамой увидится, другой с печальным прошлым отца встретится.

— Это очень правильно! Я сегодня же позвоню маме, она нас будет ждать. Ты не возражаешь, Виктор?

— Конечно, нет. Я с радостью.

Весна уже полностью овладела востоком Польши, дни были тёплыми и солнечными, сочная трава по утрам блестела росой, а молодые листочки деревьев и кустарников источали тонкий аромат.

Весеннее утро было легким и прозрачным. «Фольксваген» Гжегоша катил по песчаной просёлочной дороге к родному хутору. Виктор любовался сосновым лесом. Стройные высоченные деревья, высаженные когда-то человеком на песках, превратили землю из пустыни в цветущий рай. Люба, сидевшая сзади, рассказывала о здешних достопримечательностях, о песчаном карьере, железной дороге, небольшой речке, которая становилась более полноводной, чем выше поднимался лес.

Выехали на огромную поляну: вокруг поля с весёлым ковром озимой пшеницы, а вдали у леса — жилые и хозяйственные постройки самого хутора. Автомобиль лихо подрулил ко двору. На пороге стояла дама почтенного возраста, одетая в модный брючный костюм василькового цвета, волосы были уложены в простую гладкую причёску с тугим калачиком на затылке. Сын пошёл навстречу матери, она поспешила к нему, глаза улыбались, светились радостью, она попала в крепкие объятия и долго грелась в них.

— Знакомься, мама. Это мой друг и коллега из России Виктор Григорьевич Сафронов. Виктор, а это моя мамочка Агнесса Гаевская, или по-вашему Агнесса Станиславовна, а по-нашему просто тётя Агнешка.

Агнешка глянула на гостя и остолбенела: чем ближе подходил Виктор, тем больше растерянности было на её лице, глаза её наполнялись слезами, а губы шептали:

— Гжегош! Мой Гжегош Сафронов!

— Мама, Гжегош — это я, а он Виктор.

Но мать не слышала сына, она продолжала говорить:

— Гриша, это мой Гриша!

Все переглядывались, кажется, начинали догадываться. Агнешка обняла гостя и начала целовать его.

— Матка боска! Как же ты похож на своего отца! Ведь твой отец Гриша Сафронов из деревни Лысогорка?

Виктор кивнул. Слезы у Агнии покатались градом, колени задрожали, и, если бы её не поддержал сын, она точно бы осела наземь. Мать замолчала, не было слов и у гостей, а может быть, никто не решался говорить раньше неё.

— Пойдёмте, дети, в дом, присядем... Сын мой Гжегош, ты прости меня, если сможешь, что долго держала тебя в неведении, но твой отец не мифический пан Гаевский, который погиб в конце войны, твой отец русский солдат Григорий Сафронов, и вы с Виктором братья. Пан Гаевский Бронислав действительно скрывался у нас на хуторе от солдат Красной Армии, но я тогда уже была беременна тобой, когда же Бронислав исчез, пришлось сказать, что беременна от него, иначе меня бы не поняли хуторяне, хотя и так не поняли и осуждали. А вот о том, что у нас в семье год жил Григорий, никто не знал. — Она сделала паузу, посмотрела на детей, те сидели молча, ожидая продолжения... — А теперь ты, Виктор, расскажи, где твой отец, жив ли он?

— Нет, пани Гаевская, он умер ещё в 1967 году от инсульта, но умер не внезапно, и речь была ясной до последнего мгновения. Отец сетовал на то, что не всегда был хозяином своей жизни, находился словно в плену у обстоятельств, а жизнь сама за него решала, что делать, как быть. Когда он прощался с нами, хотел сказать многое, но последней фразой было: «Прости меня, Агнешка!» Сказал и перестал дышать.

Агния Станиславовна заплакала, сын обнял мать, успокаивал. Наконец она перестала всхлипывать, встала и, как могла, обняла сразу троих. Потом спросила:

— Виктор, ты не будешь возражать, если я стану называть тебя сыном?

— Нет, не буду. Вы же мама моего брата.

— Что ж, дети мои, жизнь удивительная штука и повороты у неё часто бывают такими крутыми! Ну да ладно. Хорошо, что Бог с нами, пусть он не покинет нас. Давайте накрывать на стол, завтракать пора.

Пригласила, а ноги не идут — ослабла, как женщина после родов. И немудрено: она наконец-то родила тайну, которую хранила долгие десятилетия. Агнешка не сказала сыну правды даже после того, как отец её, умирая, попросил дочь:

— Сыну про отца расскажи, он уже взрослый мужик, негоже ему не знать своего рода-племени.

— Да, папа, расскажу, как будет момент, обязательно расскажу.

И вот он пришёл, этот момент, пришёл неожиданно-негаданно. Один Бог знает, когда, кому, в какой момент что нужно узнать.

Дети ещё долго молчали, каждый думал о своём вновь приобретённом кладе, в котором нет золота и бриллиантов, но есть родство человеческих душ — родство генетическое, духовное.

Первым очнулся Гжегош:

— Люба, пойдём соберём на стол.

— Так я вам и позволила хозяйничать в моём доме! — оживилась Агнешка.

На столе появились вареники с капустой и картошкой, приправленные жареным салом с луком, салат из тёртой редьки. Отдельно были поданы вареники с творогом, утопающие в сметане, молоко. На сковородке, шкварча, разогревалась домашняя колбаса. Гжегош принёс из машины бутылку виски.

— Сынок, и охота вам пить этот английский самогон? Я вас сейчас угощу тем, что любил ваш отец.

Агния шустро, как девчонка, спустилась в погреб, достала старинную четверть — трёхлитровую бутылку домашней водки.

— Этого хватит? — спросила она с улыбкой.

Это была разрядка — все дружно рассмеялись. Потом налили. Виктор подошёл к Гжегошу.

— За твоё здоровье, мой средний брат! А у нас с тобой ещё есть старший брат Евгений, 1939 года рождения. Давай за нас! За братьев Сафроновых!

Потом выпили за маму Агнешку, почтили память отца, вспомнили маму Виктора.

— Дети мои, я очень рада, что вы в прекрасном настроении, а потому пришла пора предъявить вам один документ, который, пожалуй, будет красноречивей всех разгово-

ров. — Агния удалилась в свою комнату, а вернулась с небольшим деревянным ящичком, из которого извлекла две обыкновенные школьных тетради.

— Это записи вашего отца. Я их читала не один раз, но не всё поняла, не хватило моих знаний по русскому языку, вы же хорошо его знаете, прочтёте сами и мне растолкуете. Читать тебе, Виктор.

Виктор Григорьевич открыл первую тетрадь и сразу узнал почерк отца. Текст был написан химическим карандашом и хорошо сохранился. Сердце заныло, глаза наполнились слезами, и непонятно было, что захватило душу Виктора — радость или печаль. Он покашлял и начал читать:

— Я, Сафронов Григорий, родился восьмым ребёнком в крестьянской семье Сергея и Евдокии из деревни Лысогорки, что у истоков реки Медведицы в Средневолжской губернии. Родился я в 1913 году, после меня родились ещё два брата Иван и Александр, и всего нас у отца с матерью было десять — восемь сыновей и две дочери. Самый старший Матвей женился, когда мне было четыре года, его жена Аграфена родила их первенца Петра в тот же год, когда мать родила нам последнего брата.

Детство моё было обыкновенным, как у всех крестьянских детей, посильную работу мы выполняли с ранних лет. К пяти-шести годам нас заставляли пасти цыплят, чтобы коршуны не могли схватить этих жёлтых малюток, чтобы не затерялись они в густой траве. Вот и бегали мы за ними, сбивая в кучу, и постоянно пересчитывали. С десяти лет нам поручали нянчить младших братьев или племянников, когда старшие работали в поле. А дальше — больше: запрягали лошадей, отгоняли и встречали из стада скот, убивались в коровниках и свинарниках, сажали и копали картошку, рубили дрова, добывали гончарную глину — да разве всё перечислишь, с раннего детства постоянно в работе, и это была наша жизнь, другой мы не представляли. Мы хотели поскорее стать взрослыми: сеять, жать, молотить, возить зерно на мельницу.

Были у нас игры и развлечения. Летом в погожие дни купались в нашей речке Степнухе, ловили рыбу: обтянем банку материей, сделаем в ней дырочку, на дно хлебных крошек насыплем — и через час в банке десяток пескарей. За день наловишь на хорошую сковороду, мама жарила и нас нахваливала. Нравилось нам ходить в лес по грибы и ягоды. В июне в лесу земляники было видимо-невидимо, собирали её, на зиму заливали мёдом, сахар стоил дорого. Но главной радостью для нас были праздники — Рождество, Масленица, Пасха, приезжали в гости мамины братья и сёстры из соседней деревни, нас катали на санях, лепили целые снежные городки, которые одни обороняли, другие штурмовали, снарядами были снежки. На Рождество славили, домой возвращались с богатыми гостинцами, разной снедью, перепалили нам и мелкие деньги. На Пасху играли в «бабки», катали с горки крашенные яйца, от души наедались пирогов и прочих угощений, ибо в будние дни обычной пищей были щи, каши, картошка и хлеб.

Детство моё закончилось рано: не исполнилось мне и девяти лет, как умер отец. Он был зимой на заработках в Царицыне, возвращаясь домой, простыл, заболел — и всё, не стало у нас тяти. А был он у нас мастеровой, умел делать всё — как говорили в деревне: и швец, и жнец, и на дуде игрец. Действительно, отец был не только работающим крестьянином, но слым неплохим плотником, знал кузнечное дело, валял валенки, стеклил окна, а на досуге играл на скрипке и гармошке. И нас неназойливо учил всему. С его уходом семья осиротела.

Старшие, Матвей и Алексей, были давно женаты, жили отдельно, Федор готовился к сватовству, сестра Анна уехала с мужем жить в Царицын, так что за отца в семье остался Владимир, которому едва исполнилось шестнадцать лет. Матери было тяжело одной ухаживать за оравой мужиков. Сестра наша Наталья умерла ещё в юности, потому-то снохи Аграфена и Мария бывали у нас часто, особенно зимой, когда нужно было сушить пряжу и ткать холсты. Я помогал маме, осваивал часть женских работ по дому, доил корову, готовил пищу, это бывало летом во время полевых работ, тогда я был в доме полным хозяином и нянькой.

Так пролетели пять лет. Брат Николай уехал в Царицын учиться в музыкальном училище. Он лучше всех из нас играл на скрипке и самостоятельно освоил нотную грамоту, после чего прохода никому не давал: хочу учиться и всё тут! Отправили его к Анне, а

та только рада была. И стал наш Коля музыкантом, скрипачом, в оркестре Сталинградского музыкального театра работал.

В конце 1927 года слегла наша мама, худеть стала, высохла вся как щепка, боли были сильные. Районные врачи сказали, что это рак и сделать ничего нельзя. Долго мучилась она, на прощанье позвала меня, надела свой крестик нательный, поцеловала и сказала:

— Тебе, Гришенька, теперь быть за мать в нашей семье. Ты уж прости, сынок, что не нарожала вам побольше сестёр. Малых блюда, корми, одевай, обшивай. Видать, судьба у тебя такая всякую работу уметь делать. Ваню, как школу закончит, учиться отправьте, уж больно он смысленный — не крестьянского труда человек родился, а умственного. Сашку не обижай, сам посмотришь, что из него лепить надо, ты же у меня умный. Прощай, сынок! А теперь я посплю.

Мама отвернулась, и мне показалось, что она уснула. Через два часа я принёс ей молока, другого в последние дни она ничего не ела, хотел разбудить её, но она уже была далеко.

Вот тут-то жизнь и взяла меня в плен окончательно. Я тоже играл на скрипке и гармошке, мне нравилось работать в кузнице, лепить из глины, но женский труд поглощал всё. Владимир работал в поле, он хозяин, он старший, он «отец», а я «мать» и двое детей при мне, их надо учить, воспитывать, кормить. А что делать?

Рано утром пеку блины, Сашка проснулся и хнычет:

— Гринь, дай блина.

— Сейчас допеку, и сядем завтракать все.

— Гринь, ну что тебе, жалко? Дай сейчас, совсем живот подвело.

Жалко стало братца, дал ему горяченький блинчик, а тот в плач:

— Горячо, больно во рту, всё обжёт. Злой ты, Гришка.

Однажды зимой младшие после уборки скотного двора на печке греются, я варю пшённую кашу, варю и пою да периодически кашу пробую, Саня наблюдает:

— Гришка, каши дай.

— Не дам, ещё не разварилась.

— А сам ешь.

— Не ем, а пробую, — и опять ложку в рот.

— Смотри, всё не съешь, нам оставь. Володька вон целый день работает, ему каши много надо.

Пришло время, сели за стол, налил молока, открыл чугунок. Сашка ахнул и толкнул Ваню в бок:

— Гляди, братка, наш Гришка колдун: ел, ел кашу без нас, а чугунок полный, аж с верхом.

— Будешь причитать и просить, перестану колдовать. А ты вырастешь и узнаешь, что любая крупа во время варки впитывает воду и увеличивается в объёме, оттого и каши больше становится.

— А что такое объём?

— Это пусть Иван тебе расскажет, он в науках больше разбирается и объясняет, как учитель.

— Ешь, Саша, не болтай за столом, а то мы всё смолотим. Про квадрат и куб я расскажу тебе перед сном, — пообещал Ваня.

Жили мы вчетвером и, казалось, хорошо справлялись, но пришла пора нашему Володе в армию идти, и так уже отсрочку на год давали. В тридцатом году призвали нашего брата-отца на службу, а через год и мне повестка пришла — как ни крути, восемнадцать лет. Наш председатель сельсовета Трифонов в райцентре был, в военкомат зашёл, но разговор был напрасен. Военком твёрдо сказал: «Сейчас отсрочку дадим, а по весне следующего года заберём. А вы пока с малыми ребятами решайте. Семья у них большая, пусть старшие младших берут на воспитание. Другого выхода нет».

Предложение военкома Сафроновы восприняли как руководство к действию, на Рождество собрался семейный совет, я рассказал о просьбе матери. Решили Ивана отправить в Сталинград к Анне и Николаю, пускай учится, а Сашу забрал Матвей, который жил и работал в Туле на оружейном заводе. Саша и его сын Петр были одногодками, вот

и стали расти и учиться вместе дядя с племянником. Семейный совет решил, что после моего ухода в армию заботы о доме, скотине и земле лягут на Алексея, а когда вернётся Владимир, всё станет на свои места.

Настала весна 1932 года, меня подстригли наголо, переодели в военную форму, и стал я проходить курс молодого бойца в войсковой части под Курском. Учили нас стрелять, ползать, ходить строем, колоть, работать ножом и сапёрной лопатой, но как только перевели в боевую роту, моя пехотно-ползучая жизнь закончилась. Наш полк отправился в летние лагеря. Узнав о моих кулинарных способностях, прикомандировали меня к полевой кухне. Так и прослужил я всю срочную службу при котле, половниках, шумовках, противнях и сковородках, всегда бывал сыт, иногда пьян, зато без выходных дней и увольнений, вся служба прошла за оградой части да в лесных условиях летних лагерей. Правда, польза от того была немалая, наслушался разных командирских разговоров и про жизнь, и про любовь, и про политику. Заместитель командира по политчасти давал мне много интересных книг, с удовольствием читал я Некрасова, Маяковского, Толстого, Горького, Достоевского, стихи и прозу Пушкина, и это позволило мне смотреть на мир по-другому. А вот «Капитал» Маркса, как ни силился, понимал с трудом, труды Ленина и Сталина нам растолковывали на политзанятиях. Одним словом, стал я лучше соображать, разбираться в людях, постепенно превратился из забитого деревенского парня в человека, который мог обдумать сложившуюся ситуацию, планировать свою жизнь.

Ловкачей в армии тоже хватало. Прислали мне в помощники Яшу Шмигеля, этакого шустренького одессита, который сказал начальству, что он повар, а сам горох от чечевицы не мог отличить, даже не знал, как картошку варить. Начал я учить Яшку, он всё на лету схватывал, но ленив был до безобразия.

Прошло около месяца, у нас стали пропадать продукты: то сахару не хватит, то масла, то офицерского печенья недосчитаемся. Подумал я на Шмигеля, но не пойман — не вор. Однажды прикорнул я после обеда прямо на кухне в подсобке, во сне чувствую, кто-то дышит на меня и осторожно ощупывает, потом в карман, где ключи от продовольственных кладовок были, рука полезла. Не открывая глаз, нащупал рукой большую скалку и мигом со всей молодецкой силой шарахнул воришку по башке, а тот брык на пол и сознание потерял. Пошёл я доложить начальнику столовой старшине Геркушенко. Подходим к подсобке, а из неё наш одесский воришка выползает с огромной шишкой на лбу.

— Хорошо ты его приложил, Гриша! Слава Богу, что жив остался. Отдадим-ка мы его особистам.

Куда девался Шмигель, я не знаю и знать не хочу, потому что потом встречал в жизни таких же и в сто раз хуже. В армии за три с половиной года увидел я много разного, поучительного, сам был честен, старался людям помогать, делать хорошее.

Не хотели меня отцы-командиры отпускать на гражданку, уговаривали на сверхсрочную остаться — видно, блины им мои очень нравились. Ох, уж эти блины! Они в моей жизни сыграли и положительную, и кошмарную роль, но об этом позже.

В общем, не захотел я служить дальше в армии, и причина для того была: Владимир прислал письмо, что после демобилизации женился и с женой Марией решили они жить в Оренбурге, сообщил, что работает шофером, специальность эту получил в армии. Подумал я тогда об отчем доме, о нашей родной Лысогорке, и сердце защемило: «Дом будет стоять разрушаться, а ты будешь сидеть здесь, как в клетке, вставать раньше всех, ложиться позже всех. На гармошке и той играть некогда, разве что по ночам для подвыпивших офицеров». Воздуху вольного мне захотелось, простора деревенского.

Прибыл я в Лысогорку, почитай, под самый новый 1937 год, с подарками приехал. Братям и племянникам подарил кому гимнастёрку, кому галифе, а кому и сапоги кирзовые, женщинам по дороге платков разных накупил — деньжат-то в армии удалось скопить, да и на что мне денежное довольствие было тратить, всегда сыт был, одет и обут. Родные встретили с радостью, дом был ухоженным и тёплым.

Погоуляли малость, попьанствовали, песен вдоволь напелись, пора и за работу — весна на носу. Зерна семенного брат заготовил, как положено, а вот скотины у Алексея

взял немного, куда мне одному. Подремонтировал хозяйственные постройки, поработал в колхозной кузнице и к посевной был во всеоружии. По вечерам ко мне гости часто заглядывали, поговорить о том-о сём, послушать рассказы об армейской службе, о людях из других областей и краёв нашей большой страны, с которыми вместе «ляжку тянули».

Зашла как-то вечером и Зинка Рожкова, спросила:

— Может, помочь что, Гриша?

— Да нет, вроде сам со всем справляюсь.

— Ну, тогда я пошла.

— Так ты за этим только и приходила, чтобы спросить?

— Ну да.

— Да ладно. Так я тебе и поверил. Пришла, проходи, чаю попьём.

Так и проговорили всю ночь сначала за столом, а потом в постели. С тех пор повадилась ко мне Зина через ночь шастать. Я-то сначала с голодухи по бабам повелся, а потом и сам не рад был. Спасибо брату Алексею, он как узнал про Зинкины походы ко мне по ночам, чуть по лбу меня не треснул.

— И тебе это надо, брат? Я думал, ты в армии уму-разуму набрался, а ты дурак дураком. Ты что, не знаешь, что муж от этой бабы сбежал, уехал на какую-то стройку и не вернулся. Она теперь своим дочкам папку ищет, уже под кем только не лежала. Тебе уж своих детей пора иметь. — И, не давая мне вставить слова, заключил: — Завтра же идём сватать Веру Кудряшову. Всем хороша девка — и лицом, и станом, и работать умеет. Решено.

Нашу свадьбу с Верой сыграли на Масленицу, и зажили мы, как все люди живут. Любил ли я жену, не знаю, но не было у меня горения в груди при виде её. Она женщина приятная, не злобливая, умела приласкать мужа, уговорить его на дела добрые. Я с Верой не испытывал горести и считал, что это были лучшие годы моей пока недолгой жизни.

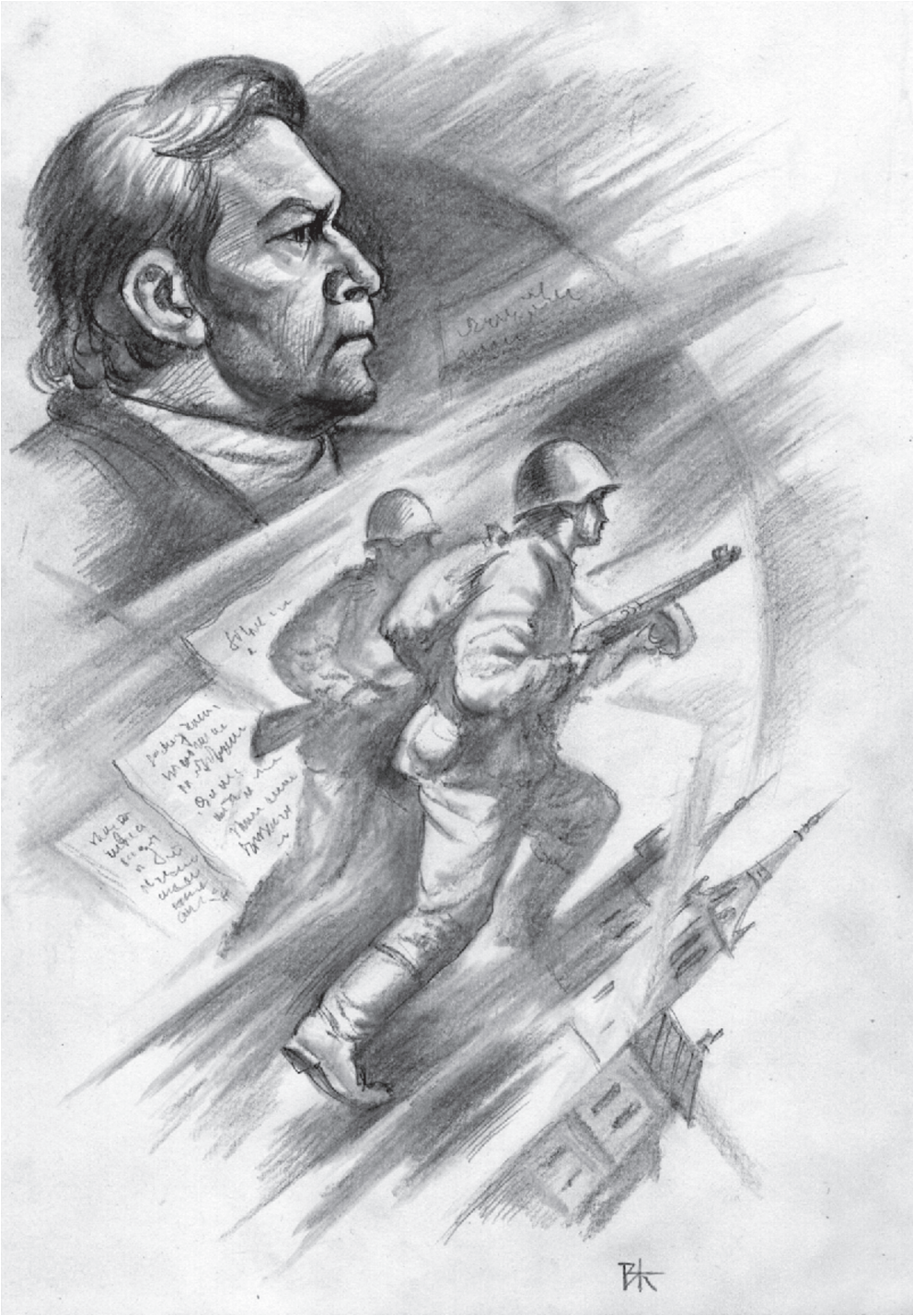
В январе 1939 года у нас родился сын Евгений, радости в семье прибавилось. Радовали меня и братья, которые смело выходили в люди: Николай был не последним человеком в Сталинграде, Иван учился в педагогическом институте, Саша служил на Балтийском флоте, Федор работал в райцентре в потребкооперации, помогал нам в реализации сельхозпродукции. Старший племянник Пётр заканчивал пограничное училище, без пяти минут офицер. Живи и радуйся. И мы радовались: в деревню стали привозить звуковое кино, ставили столбы, чтобы подать в колхоз электроэнергию, провели радио.

Всё бы хорошо. Но случилась война, будь она неладна, будь проклята! Вот тут опять жизнь меня взяла в плен. Если вам кто-то скажет, что к войне можно привыкнуть, не верьте. Война — это страшное зло, ад, где горят люди, льётся кровь, реками льётся, унося тысячи, миллионы жизней. Это зло можно только уничтожить, искоренить.

К концу июля 1941 года я был призван в Красную Армию, с которой отступал и отступал на восток страны. Воевал по своей армейской специальности — поваром при ротной полевой кухне с товарищами: ездовым Николаем Быковым и помощником повара Артёмом Коловым. Тылы всегда наступали последними, а отступали первыми, правда, часто приходилось и догонять своих под грохот орудий и скрежет танковых гусениц, неоднократно и в бой вступали. Но что бы ни случилось, кухню мы свою берегли и еду бойцам готовили исправно в любых условиях. Потерять на фронте оружие или пулемёт плохо, а потерять походную кухню — беда. Солдат должен есть горячую пищу.

Вот так мы отступали почти год. Правда сказать, бывали иногда и тихие дни передышек, когда по неделе и больше сидели окопавшись, бывали и наступления, но немцы вскоре выбивали нас с освобождённых земель и гнали, гнали на восток.

В конце апреля 1942 года наш полк, который входил в состав 38-й армии, закрепился на небольших высотах северо-восточнее Харькова, успешно отражая удары фашистов. Мы, рядовые, не знали, что готовят командиры, но прошёл слух о скором наступлении на Харьков. В атаку мы пошли 12 мая и продвинулись вперёд километра на три-четыре. Ночью передышка, а с утра завязались тяжёлые бои. К часу дня обед был готов, мы приблизились к окопам, и тут началось: танки, танки, танки с крестами, бронемашин-



ны, мотоциклы, шквальный огонь — и всё на нашу роту. Мы, следуя приказам командиров, начали отходить. Только спустили кухню в балочку — фашисты тут как тут. Расчёт залёт, но кухня предательски выступала над нами. Нас окружили, огонь из винтовок был слишком слаб против автоматов противника. В перестрелке погиб Артём, а нас с Николаем пленные. Немецкие офицеры по-хозяйски распорядились кухней, нас усадили по своим местам и под охраной отправили к ним в тыл.

На небольшую лесную поляну, окружённую колючей проволокой, мы прибыли к вечеру. За проволокой около трёх сотен наших солдат — оборванных, без сапог, раненых.

— Ты есть кох? — спросил меня офицер из охраны временного лагеря.

Я не знал, что ответить.

— Он кох, повар, а я его помощник, — ответил за меня Николай.

— Мы не знаем помощник. Ты есть пленный и ты, кох, есть пленный. Бери своя еда и давай этим людям. Давай, давай! — рассмеялся офицер с мёртвой головой на фуражке.

Раздавать кашу было не во что, накладывал прямо в ладони.

— Браток, а попить есть? — спросил крепкий коренастый артиллерист.

— Есть вода в термосе.

Я хотел было налить, но подошёл наш пленённый командир, по виду не лейтенант, а из старшего комсостава:

— Ты, товарищ, не спеши воду разбазаривать. У нас здесь почти каждый второй ранен, давай сначала их напоим и накормим.

Артиллерист начал было возмущаться, но я парировал:

— Командир дело говорит. Вода в первую очередь раненым.

— Какой он тут командир?! Это они, гады, полстраны сдали и нас до плена довели.

— Ты что, дурак или провокатор? Язык свой прикуси! — рявкнул на него командир.

Раненых напоили, накормили. На всех пленных по полной порции каши не хватило, досталось лишь по две пригоршни.

Утром нас погрузили в товарные вагоны, куда везли, неизвестно, но явно на запад. Иногда состав подолгу стоял, но всех держали в вагонах, двери открывали только утром и вечером, чтобы опорожнить параша, кинуть несколько буханок чёрствого хлеба и поставить флягу воды. Не помню, сколько дней мы ехали, но казалось, слишком долго.

Высадили нас на большой станции. Командир сказал, что очень похоже на Польшу, где-то в пригороде крупного города, а какого — непонятно. Пленных выстроили в колонну, которая растянулась почти на километр, и погнали в окружении охраны с собаками. Шли около суток, без сна, с короткими привалами. Есть не давали, только воду. Изнурённые и полусонные, на следующие сутки прибыли в лагерь — какой и где расположен, никто не знал. Началась сортировка — одних агитировали в русскую освободительную армию, где командовал генерал Власов, других в разведшколу, третьих в лагерные капо, а коммунистов и евреев сразу расстреливали. Мною не интересовались дня три. Потом начали выявлять мастеров: кузнецов, механиков, столяров, поваров, каких нас оказалось четыре человека. Нас отвели к столовой, ждали недолго, к нам вышел офицер в эсэсовской форме — холёный, спортивного телосложения, с постоянно бегающими глазами на лошадиной морде. Переводчик представил:

— Гауптштурмфюрер СС Франц Штангль, комендант концентрационного лагеря Собибор. Сейчас он даст вам задание.

— Вы все повара, это так?

Мы дружно ответили — да.

— Сейчас каждый из вас скажет, какие продукты и какая посуда вам нужна, чтобы приготовить ваше любимое блюдо. Я буду пробовать, и тот, кто приготовит лучший продукт для моего вкуса, будет приятно удивлён.

Я заказал муку, молоко, яйца, растительное и сливочное масло, немного пищевой соды, сковороду выбрал сам, приготовил блины и подал их со сметаной и чаем. Не знаю, что готовили другие, но через час меня вызвали к Штанглю.

— Как называется эта еда?

В ПЛЕНУ У ЖИЗНИ

— Блины.

— С чем ещё можно есть твои блины?

— С мясным фаршем, творогом, картофельным пюре, жареной капустой.

— Хочу попробовать с мясом.

Я приготовил фарш пожирнее с жареным луком, напёк свежих блинов, завернул в них начинку и подал.

— Останься здесь, русский, — командовал Штангль.

Я замер и наблюдал, как этот здоровяк поглощает блин за блином, приговаривая: «Шмэк гуд».

— Как зовут тебя, русский повар?

— Григорий Сафронов.

— Ты есть молодец, Грига. Будешь моим личным поваром, если умеешь печь хороший хлеб.

— Умею, но для этого мне нужна русская печь.

— Это не проблема, если ты знаешь, как делать русскую печь.

— Знаю.

— Тогда ты мой повар. Отправьте его в Собибор сегодня же и прикажите, чтобы строил свою печь, — дал команду гауптштурмфюрер.

В этот же день меня повезли куда-то на поезде, высадили на полустанке, передали другим охранникам, пересадили на дрезину. Ехали недолго, впереди я увидел строения, окружённые рядами колючей проволоки в два человеческих роста, вокруг вышки, на которых охранники с пулемётами. Наряды охраны ходили и между рядами «колючки».

Охранник на въезде тщательно проверял документы и спросил по-украински:

— Шо за таку важну птаху вы до нас припёрли? Генерал, чи шо?

— Та ни, — ответил один из сопровождающих, — на генерала рылом не выйшов. Но приказ коменданта: нэ притесняты, нэ быты, а во всим помогаты.

Тогда я не знал, что это были вахманы, которые охраняли лагерь — в основном украинцы-западенцы, которых переделали в эсэсовскую форму и специально обучили охране заключённых, пыткам и издевательствам. Позже стало понятно, что это тупые ограниченные люди, думающие только о наживе и продвижении по службе, они не гнушались никакой, даже самой мерзкой работой ради денег и золота. Сколько было вахманов в лагере, я не считал — тридцать, а может, пятьдесят, они служили во внешней охране, и общаться с ними было не принято. Эти люди хоть и говорили почти по-русски, но на русских похожи не были — ни по духу, ни по повадкам. Хотя с одним из них по фамилии Шкиряк мне пришлось встречаться ежедневно, он был моим персональным надзирателем и контролёром, он же первый пробовал пищу, которую я готовил для Штангля.

По прибытии в лагерь Шкиряк и ещё два вахмана помогли мне класть русскую печь в специальной пристройке к столовой. Они были знакомы с конструкцией печи, потому работа шла быстро, печь выложили за два дня. К вечеру вахманы куда-то исчезли, вернулись ночью с заслонкой для устья, чугунами, ухватами и прочей поварской утварью. Всё было не новое — точно, забрали у кого-то. На следующий день я приготовил пробный обед — сварил щи, нажарил картошки с салом. Компания вахманов уселась за стол, поставила бутылку самогона, и началась трапеза.

— А ты дывись мовчки, дывись, як жить надо, Гриша. Горилку пити тобі з намы не можно и вообще ни чого не можно. Нам тоже не можно, но мы вумни, а ты тупый москаль, — сказал Шкиряк и заржал, как сивый мерин.

Так вот и началась моя жизнь в плену: вставать на рассвете, печь хлеб, готовить блины, вареники с разной начинкой, сырники, пельмени, борщ, супы, каши. Аппетит у Штангля был отличным, ел он за троих. А ещё разные комиссии, гости либо ночные попойки с пленными женщинами, потому из кухни я почти не выходил. Относительный отдых был, когда комендант лагеря ненадолго уезжал. В один из таких дней, сидя на пороге кухни и не спеша потягивая сигарету, увидел я, как въехал в лагерь эшелон, вагоны паровоз толкал сзади. На перрон по команде вышли люди — около четырёхсот

человек с чемоданами и узлами, их разделили — мужчин направо, женщин налево. Прибывшие начали раздеваться догола, аккуратно складывая отдельно обувь, одежду, держа в руках паспорта, деньги и драгоценности. Женщин повели в барак с названием «парикмахерская», а мужчин в баню.

Я пошёл убирать кухню, делать заготовки к приезду Штангля, сварил обед себе и Шкиряку. Лишь вечером вспомнил о прибывших вновь заключённых, что-то их не видно и не слышно.

— А где эти люди, которых привезли утром? — спросил у Шкиряка.

— Гриша, так разве ж то людены, то жиди, жиди порхатые. Их вже нема, воны уси зустрічаються со своим Богом.

— Как нема, их что, убили?

— Та ни. Им просто в камерах, что баней зовутся, дали подышать танковым выхлопным газом, так вони и вмерли.

Я не знал, что сказать, опустил руки, долго молчал, потом спросил:

— А зачем немцы их убивают?

— Ну, Гриша, ты зовсім тупий. Ты шо теорию нацизма не читав, чи шо? Ты шо не чув, шо немцы — это высша раса, людены другого сорта це мы с тобой, а ще е нелюдены, це жиди и цыгане, от их и треба вбивати, треба землю от усякой поганой твари отмыти.

Прошло два дня после события, перевернувшего мою душу, как довольный обедом Штангль спросил меня:

— Грига, ты что так за евреев переживаешь? У вас в деревне евреи были?

— Никак нет, — ответил я

— Тогда ты счастливый человек, Грига. Евреи — это не люди. Это они у вас революцию сделали, это они убили всех ваших умных людей, чтобы не мешали им обманом наживать деньги. Евреи с помощью денег пытаются управлять миром. Но мы, немцы, высшая раса, не дадим им это сделать. Мы уничтожим, искореним еврейское семя. Мы и только мы можем без жалости это сделать. А вы, славяне, слишком сентиментальны и тупы, вот вас и обманывают. Иди, Грига, работай и запомни: нелюдей жалеть не надо. А наш лагерь есть лагерь уничтожения евреев, мы главные санитары мира, и мы его очистим.

С тех пор душа моя онемела и опустела, я замолчал. Нет, я не стал глухонемым, слух и память у меня, наоборот, обострились, я старался понимать немецкий язык, а говорить перестал, особенно при тех, кто понимает русский, а значит и докладывает. Других же, с кем можно было говорить, в лагере не было.

Лето было нежарким, часто перепадали дожди, воздух наполнял аромат сосны и можжевельника. Здесь мог бы быть прекрасный дом отдыха, если бы два-три раза в неделю не прибывали эшелоны с «расходным материалом», как называли немцы и вахманы людей, которых привозили на смерть. Самое интересное, что бедняги и не подозревали, что их скоро убьют, им внушали, что они приехали работать, но для размещения в лагере необходимо пройти санитарную обработку. Потому они покорно раздевались, аккуратно складывали свои вещи, беспокоились, чтобы после обработки их не перепутали, затем без слов, как овцы, шли по последнему в своей жизни маршруту до газовых камер. Крики умирающих, задыхающихся разрывали сердца нормальных людей, но нисколько не трогали ни палачей, ни тех, что считали себя высшей расой, ни тех, у которых чистый славянский корень сгнил, а остатки питающих организм жил сосали только яд, только дерьмо фашизма. Вопли идущих на смерть людей стимулировали извращённый разум эсэсовцев, придавали им силы и бодрость, звероподобные особи соревновались друг с другом в изощрённости методов умерщвления людей. Так кто же был не людьми?

Я всё больше и больше ненавидел Штангля и думал, как его отравить. Но чем? Как это сделать? Каждую порцию еды сначала ел Шкиряк или я, а когда комендант отбирал себе женщин из новой партии смертников для ночных забав, он кормил и поил сначала их. Этот гад ласково, как херувим, просил их открыть ротик и аккуратно, со стороны казалось, что с любовью, вкладывал туда лакомый кусочек и целовал жертву в щёчку. Отравление было невозможно, потому я искал другие методы, продумывал варианты, но

ничего толкового придумать не мог. Эти профессиональные убийцы, зная десятки способов лишения человека жизни, себя страховали тщательно. Тогда решился я на крайнюю меру — просто зарезать Штангля ножом, а там будь что будет! Нужен был момент, ведь мы с ним почти никогда не оставались один на один, рядом был Шкиряк, переводчик или надзиратель. Но я ждал момента, упорно ждал.

Однако сбыться моим планам было не суждено, в один из дней августа рано утром меня разбудил Шкиряк:

— Давай прощаться, Гриша.

— Тебе что, новое место определили, переводят в другой лагерь?

— Тебе, Гриша, определили. Собирайся быстрее, не чешишь.

Опять усадили меня на дрезину и повезли, ехали в основном по лесу и въехали в новый лагерь, за оградой из нескольких рядов колючей проволоки. Охрана здесь была внушительней, чем в Собиборе, вышки были выше, стояли чаще, а территория раза в три больше. Все лагерные здания стояли, как по линейке, на них вывески: парикмахерская, баня, лазарет, столовая, пекарня, гараж, бензоколонка, по всему лагерю бетонные дорожки, вдоль которых — молодые берёзки.

Меня с охраной высадили на платформе железнодорожной станции.

— Это что за место?

— Читать надо, русская свинья, — ответил конвоир.

Я уже давно прочитал, что станция называется Треблинка, значит, так называется и лагерь. Я понимал: раз меня привезли одного, значит, не убивать, значит, ещё поживу. Подошли к зданию комендатуры, какой-то вахман-хохол скомандовал:

— Пошли, москаль, со мной, будем печь строить. Это приказ самого Франца.

Всё для постройки печи было готово, к ночи сложили, на другой день обмазали, на третий побелили. Подручного моего, вахмана, звали Микола. Работник он был хороший, и что мне очень понравилось, большую часть времени молчал, без дела, как Шкиряк, не трещал.

Провели пробную топку, всё в порядке, сварили супчик, похлебали.

— А ты и вправду хороший повар, Гришка. Иди отдыхай. Завтра будешь готовить любимые блюда своего хозяина Штангля, он будет к обеду. Да по лагерю смотри сам не ходи, а то пристрелят, здесь строго. Тебе разрешено только в свой барак, на кухню, продовольственный склад, пекарню, в баню по команде, душ и туалет при кухне, — предупредил Микола.

На следующий день прибыл Штангль, которого торжественно встречали: было построение, речи, затем обед, обедали со вторым комендантом Куртом Францем, странное совпадение: у одного имя Франц, у другого фамилия, но оба были «мастерами смерти». Курт за столом ел умеренно, но любил во время трапезы пропустить рюмочку-другую шнапса, после еды порцию коньяка, который всегда был при нём во фляжке.

Через сутки мне приказали приготовить большой банкет человек на двадцать. В этот же день в лагерь прибыла первая партия евреев-смертников — около тысячи человек. Как и Собиборе, процедура была одна: раздевали, сортировали одежду, мужиков и детей сразу в газовые камеры, женщин в парикмахерскую, где стригли, волосы готовили для отправки в Германию, а их владелиц — на тот свет. В живых оставили около 50-60 крепких мужиков для захоронения трупов да отобрали 20 женщин помоложе и покрасивее. Женщинам выдали праздничные наряды, лагерные портные всё подогнали по размерам, парикмахеры уложили волосы в модные причёски, припудрили лица. Я видел этих красавиц на ночном банкете-оргии в честь первой партии уничтоженных людей в лагере смерти Треблинка-2. Коменданты лагеря, их подручные и два эсэсовца из Берлина напились, как последние свиньи, насильовали женщин, менялись ими, издевались, а к утру начали бросать их с вышки, соревнуясь, у кого какая лучше летит, а потом добивали их внизу. Сволочи! Нелюди!

С этого времени я совсем перестал спать и твёрдо решил, что лучше погибнуть, но унести с собой на тот свет несколько этих гадов. Я по-прежнему молчал и думал, присматривался к людям, старался прочитать в их глазах, на их лицах, есть ли те, кто хочет отомстить.

А между тем в Треблинку всё прибывали и прибывали эшелоны, бывало, и по два состава приходило, людей в вагоны набивали до отказа. Роторные экскаваторы не успевали копать рвы для захоронения трупов. Дни были адом. Сколько я насмотрелся и наслушался рассказов вахманов о том, как убивали людей вне газовых камер! Штумпфе по кличке «Смеющаяся смерть» убивал людей и хохотал, каждая смерть вызывала в нём приступ смеха — он убивал и хохотал, хохотал и убивал. Фольксдойче из Одессы Сви-дерский был прозван «мастером молотка» — одним ударом проламывал череп жертвы, от удовольствия изо рта пуская слюну. Эсэсовец Прейфи устраивал засады у помойки, куда приходили оголодавшие люди поесть картофельных очисток, он заставлял их открывать рот, стрелял в него, приговаривая: «Это еда на всю оставшуюся жизнь, больше есть не захочется». Шварц и Ледеки в сумерках стреляли заключённых, соревнуясь, кто больше убьёт, а потом среди луж крови, накачавшись пивом, пели сентиментальные немецкие песни. Это был не лагерь, а какой-то зверинец, где верховодили хищники неизвестной породы с извращённой психикой.

Не было предела изощрённым пыткам и издевательствам, не было сил смотреть на это, слышать об этом. Но всё это было! Было и совершалось уродами, которые называли себя сверхчеловеками.

Я старался работать как можно больше, чтобы устать: думал, буду спать ночью, но ночь превращалась в кошмар, в неглубоком сне мелькали кровавые люди, кричащие дети, плачущие женщины, и всюду смерть, смерть, смерть. Я устал. Я отчаялся. Но есть Бог, есть! Я молил, просил у Бога смерти, но он принял другое решение.

Ближе к концу зимы стало известно, что в Треблинку едет Гиммлер. Раньше руководителя СС прибыла охрана, врачи, повара, парикмахер. Всю нашу службу, в том числе и меня, отстранили от дел и приказали сидеть в своих бараках. Сидел я в своей каморке и играл на гармонии, которую ещё осенью выпросил у Штангля, увидев в куче вещей, сложенных смертниками на перроне. Хорошая была гармошка, настоящая шуйская. Играл я на ней и тихонько пел «Степь да степь кругом...». В каморку потихонечку вошёл капо нашего барака чех Иржи, присел рядом, послушал:

— Хорошая песня, грустная, как и все русские песни.

Я кивнул.

— А что, Гриша, есть в России весёлые песни?

— А тебе веселиться хочется?

— Хотелось бы повеселиться, но не сегодня. До веселья ли голодным людям?

— По тебе не скажешь, что ты умираешь с голоду.

— Не обо мне речь, Григорий.

Я молчал, наигрывая мелодию «Славное море — священный Байкал».

— А эту песню я знаю, — похвалился Иржи.

— Откуда?

— Бывал там в 1919 году в составе чехословацкого батальона.

— Так ты белогвардеец?

— Эх, Гриша, Гриша... — Иржи встал и пошёл к выходу.

— Стой. Зачем приходил? Так вот знай: что бы ты на меня ни донёс, ни Штангль, ни Франц не поверят.

— Потому и приходил, что человек ты надёжный. Я за тобой давно наблюдаю. Думаю, ты свой парень и фашистов ненавидишь.

— Не бери на понт. Я не фраер дешёвый, — почему-то по-блатному ответил я.

— Я это знаю. Знаю, как ты по ночам во сне кричишь, как ты проклинаешь наших сегодняшних хозяев.

— Много будешь знать, скоро состаришься.

— А ничего не будешь знать, скоро умрёшь, как собака.

— Тогда говори, что мне нужно знать.

— Пока ничего не скажу. Но есть люди, верные люди, которых надо бы сейчас подкормить. Справишься, будем говорить дальше.

— Сколько человек подкормить?

— С пятью справишься?

— Справлюсь и с десятью. Хлеб он, как известно, припёк даёт.

Дальше мы обговорили время и место, где Иржи будет забирать хлеб и остатки еды с барского стола. Дело пошло, настроение у меня стало лучше. Я догадался, что меня ввели в тайную организацию, которая готовит восстание в лагере. Кто были её руководители, я не знал.

Вскоре после отъезда Гимmlера работы у меня прибавилось: провианта для заключённых понадобилось больше, потому как увеличили зондеркоманду — шеф СС приказал эксгумировать все трупы и сжечь. Мне стало ясно, что бойцов в тайной организации прибавилось, я старался, как мог. Старания мои постепенно привели к доверию.

Весной, когда начало припекать солнце и открытые могилы тысяч и тысяч людей стали чадить трупным запахом, Иржи рассказал мне о сути организации, сообщил, что в ней уже достаточно людей для подготовки и проведения восстания. Вся организация разбита на пятёрки, члены которой знают только своего командира, а тот, в свою очередь, знаком с начальником направления. Иржи с недавних пор возглавил направление материального обеспечения организации восстания, до него этим направлением руководил варшавский врач, который отравился, чтобы не проболтаться на пытках. Курт Франц обнаружил у него в кармане пачку денег. Деньги подпольщики собирали для обеспечения бежавших восставших, дав им возможность приобрести одежду, еду на первое время, а может быть, и заплатить за транспорт, чтобы уехать подальше от этого страшного места. Франц задал себе и доктору вопрос: «Зачем заключённому-смертнику деньги?» Врач молчал, его хотели пытать, но не успели. Организаторам восстания пришлось на время притихнуть, усилить конспирацию.

— У тебя, Григорий, есть своё задание, ты отлично с ним справляешься, у людей появились силы, они способны драться, для этого уже накоплено оружие, немного взрывчатки и кое-какие инструменты для побега. Ближе к дате восстания ты будешь оповещён, что должен будешь делать и на каком участке.

Я ждал, я верил, ночью в полудрёме думал о своей деревне, жене, сыне, представлял, как пашу наши поля, убираю хлеб, как люди улыбаются друг другу. Особенно настроение улучшилось, когда в конце весны узнали, что Красная Армия ещё зимой разбила фашистов под Сталинградом и гонит, гонит их на запад. Я уже не мечтал отравить комендантов, я жаждал убить их во время восстания, убить и бежать, однако я был далёк от всех замыслов организаторов, судьба готовила мне другую роль.

В один из самых жарких дней июля Иржи предупредил меня, чтобы я под любым предлогом ночью был на кухне, мне принесут на хранение сапёрные кусачки для «колючки». О восстании я буду предупреждён за несколько часов, а пока необходимо надёжно спрятать инструмент.

— Как только всё начнётся, к тебе прибегут семь человек, ты восьмой, ваша задача проделать в проволочном заборе проход между двумя вышками ближе к лесу. Вот между этими, — Иржи показал вышки через окно.

— А как же пулемёты на вышках?

— Это не твоя забота, брат, когда вы подойдёте, на вышках уже не будет ни пулемётов, ни охраны. Как только сделаете проход, бегом в лес — и врассыпную, дальше ориентируйтесь сами. Через сутки место встречи в лесу в двух километрах северо-восточнее деревни Вулька. Всё понял, друг мой?

Мы обнялись.

— Удачи нам, Иржи! Бог даст, встретимся.

Вечером первого августа вроде бы случайный заключённый, проходивший мимо крыльца кухни, где я перекуривал, не поворачивая в мою сторону головы, сказал:

— Завтра утром на рассвете ты должен быть здесь.

Я всё понял, но меня мучила одна мысль: как быть с комендантами, как с ними посчитаться. Убить их вечером значит провалить восстание, а ночью я к ним не подберусь — значит, не судьба мне уничтожить эту мразь. А жаль. Я был опять в плену у обстоятельств.

Ночью я не спал, время тянулось. Решил пойти на кухню ещё до рассвета, но не прошёл и половины короткого пути, как меня остановил внутренний патруль.

— Стоять! Руки вверх!

Я выполнил команду.

— Ты куда идёшь, свинья?

— Я не свинья, я личный повар господ комендантов. Мне необходимо приготовить завтрак для гауптштурмфюрера Штангля, он сегодня рано утром уезжает, — нашёл я немецкие слова.

— Опустит его Кнюфке, это Грига-кох, — приказал старший наряда.

— Давай быстрее, бегом и не болтайся по улице! — прикрикнул Кнюфке, толкая меня прикладом в спину.

Светало, который был час, я не знал, часов у меня не было, зато окна были открыты, на улице уже всё видно, рассветная тишина — и вдруг сухо рявкнул револьверный выстрел, следом несколько ружейных, заговорили пулемёты и взрыв, мощный взрыв, это была взорвана бензоколонка, пожар охватил строения вокруг. Я достал из укрытия сапёрные кусачки, и тут же поспели мои сотоварищи, знакомиться было некогда, на подходе к проволочному заграждению наша восьмёрка уже была семёркой, а когда проход был готов, нас осталось четверо. Я отчаянно бежал в лес, не выпуская из рук увесистый инструмент. Сзади был пожар, непрерывающаяся стрельба, крики, лай собак, а я бежал и бежал. Вот она, речка — небольшая, прохладная, напился воды и двинулся вверх по течению. Сколько времени прошло, не помню, но добрался до поляны, где лес расступался, речка расширялась и образовывала плавни, зашёл в камыши, отыскал укромное местечко и решил отдохнуть. Отломил краюху хлеба, жевал, запивая водой, и слушал. Стрельба вроде бы прекратилась, но лай собак был повсюду и всё ближе и ближе ко мне. Я сел на дно, вода доставала до шеи, камыш был густой, но кое-какие участки берега мне были видны. Собачий лай стал слышен совсем близко, потом стал удаляться, затем послышался с другой стороны — было ясно, что не одна группа эсэсовцев и вахманов бросилась на поиски беглецов. В небо по-прежнему поднимались клубы чёрного дыма, а вокруг были слышны какие-то шорохи, треск сухих веток, скорее всего, это звери убежали подальше от пожара.

Я сидел в воде, к вечеру начал мёрзнуть, но на берег выбраться боялся. Потом всё-таки вышел, отжал одежду, залез на большую берёзу, устроился между ветвей, подремал, как мог, а на рассвете снова в воду. Три дня поисковые группы ходили по лесу вокруг лагеря, дважды приближались к плавням, но собаки мой след не взяли. Ни о каком походе к деревне Вулька, где была назначена встреча, даже думать было нельзя. На четвёртый день всё успокоилось, окрестности притихли, но запах пожарища ещё висел в воздухе. Я не знал, куда идти, но решил, что на восток безопаснее. Посушил выданные мне перед восстанием рейхсмарки и осторожно двинулся в путь. К вечеру приблизился к какому-то хутору, но входить в него не стал, устроился на дереве, наблюдал. В хуторе было чуть больше десятка домов, мужики возвращались с полей, женщины встречали скот с пастбищ, работали во дворе. Стемнело, в окнах зажглись огни, ничего подозрительного я не увидел, но всё-таки решил переночевать в лесу. И не напрасно. Рано утром в хуторе появились эсэсовцы, много эсэсовцев, и вахманы, они заходили в дома, выгоняли крестьян из жилья, обыскивали постройки, протыкали штыками сено. Искали до обеда, но никого не нашли и, оставив охранять хутор восемь вахманов, удалились восвояси.

«Да, здесь пока делать нечего», — подумал я и отправился бродить по лесу в поисках какого-нибудь жилья. Думаю, что ходил я по кругу, потому что снова вышел к своим плавням. Плохо! Плохо я ориентируюсь в лесу. Примерно через неделю, гонимый голодом — лесной ягодой не насытишься, вышел к тому же хутору, вахманы исправно несли службу. Что делать? Делать нечего, надо ждать.

Прошла ещё неделя, а может быть, и больше, счёт дням я уже потерял, голод и неопределённость звали меня к людям, но хутора охранялись. Не помню, сколько прошло ещё дней, ночью в полусознательном состоянии я пробрался во двор третьей от края избы, залез на сеновал и зарылся в сене. Сколько я спал, не знаю, но разбудил меня запах молока, в желудке засосало, и я потерял сознание. Очнувшись, увидел молодое красивое женское лицо.

В ПЛЕНУ У ЖИЗНИ

— Молока, — прошептали мои губы, — молока.

Она молча спустилась вниз, принесла кружку парного.

— Ещё, ещё, прошу ещё.

— Ты сколько дней не ел?

— Много, но не знаю сколько.

— Нельзя сразу много, живот заболит. Лежи тихо. Я приду к обеду и принесу еду. Только прошу, пана, тихо! Ни на чей голос, кроме моего, не отзывайся. Спи, тебе надо спать.

Я опять уснул и, похоже, надолго. Девушка пришла после вечерней дойки.

— В обед я приходила, но ты крепко спал. На, поешь.

Вкуснее в мире я ничего не ел, это была ячневая каша с молоком и хлебом, её было мало, мне хотелось ещё и ещё, но моя добрая фея сказала:

— Хватит. Терпи, завтра ещё принесу. Теперь ты с голоду не умрёшь. Ты бежал из Трехлипки?

Я кивнул.

— Но ты не похож на еврея.

— Я русский.

— О, matka боска! Этого нам ещё не хватало.

— Что испугало тебя, красавица?

— За выдачу всех беглых из Трехлипки немцы объявили большие награды, но больше всех за русских.

— Как зовут тебя?

— Я — Агнешка. А ты?

— Меня зовут Григорий.

— Гри-го-ри. Это сложно. Лучше по-нашему Гжегош. Так подойдёт? Раз ты выжил в огне Трехлипки, значит, тебе долго жить. Я тебя не выдам, я не фашист.

— Спасибо. — Я вынул из укромного места немецкие марки и протянул Агнешке.

— Ты меня покупаешь?

— Нет. Эти деньги мне ни к чему. Куда я могу пойти с ними без документов, что куплю? А ты найдёшь, на что потратить.

— Спасибо, Гжегош, только пусть они пока побудут у тебя. Вдруг отец увидит их, начнёт спрашивать: где взяла? Я ему пока про тебя не скажу, а больше рассказывать некому, мы живём вдвоём. Мама моя ещё до войны умерла. Конечно же отец узнает, что ты прячешься у нас, но лучше это будет позже, когда вас перестанут искать, прекратят облавы. А сейчас спи, тебе надо набираться сил.

Вот так началась моя новая подпольная жизнь, почти год я общался только с двумя людьми, но это было приятное общение, люди-то были добрыми, сердечными и, конечно, главной в моём новом плену была Агнешка. Хозяин дома пан Станислав Гаевский утром уезжал в поле с работником, который жил тут же на хуторе. В сентябре в поле работ хоть отбавляй — убирают картофель, кукурузу, подсолнечник, поздние сорта капусты и ещё много чего, что зимой кормит и людей и скот. Работал Гаевский, как и все крестьяне, с рассвета до заката, так же работала и его дочь, только дома. Девушка ухаживала за скотиной, доила, варила сыры, готовила пищу, ткала, пряла, вязала, шила, дом в чистоте содержала. А теперь у неё появился помощник Гжегош, человек-невидимка. Я же быстро набрался сил и с середины сентября чистил скотный двор, кормил скотину, часто готовил еду, и ничего не ведающий пан Гаевский нахваливал дочь за вкусные завтраки, обеды и ужины, но мне этой работы было мало. Увидел я как-то гончарный круг, попросил Агнешку принести глины и давай кувшины да кринки делать.

Время пошло быстрее, вести с Восточного фронта приходили хорошие — наши теснили немцев на всех направлениях, освобождали Украину и Белоруссию, а это означало — не за горами день, когда вступят на территорию Польши.

Осень постепенно переходила в зиму, на сеновале стало холодно, и мы с Агнешкой решили открыться её отцу. Не по годам умная оказалась Агния Станиславовна, мудрая. Как-то вечером взяла пару моих гончарных поделок, которые мы тщательно прятали на скотном дворе, и пошла показывать отцу.

— Как горшки, папа?
Станислав покрутил их в руках и заключил:
— Добрые, очень добрые вещи. Где купила и за какие деньги?
— Не купила, наш домашний мастер сделал.
— Домовой, что ли? — улыбнулся отец.
— Можно и так сказать. Хочешь, познакомлю?
— С нечистой силой не знакомлюсь, — перекрестился пан Гаевский.
— Да нет, отец, он обыкновенный человек, русский, убежал из Треблинки и уже больше двух месяцев живёт у нас.
— Как у нас?
Я стоял за дверью, слышал весь разговор и понял, что мне пора войти, не дожидаясь приглашения.
— Здравствуйте, пан Станислав, меня зовут Григорий Сафронов. Я действительно беглый заключённый из Треблинки-2. Хочу сказать вам огромное спасибо за приют, который дала мне ваша семья.
Станислав пару минут не мог оправиться от шокового состояния, потом рассмотрел меня и строго сказал:
— Приют тебе никто не давал, ты сам, как вор, пробрался в мой дом, жил, ел, пил, скрываясь, как преступник.
Я молчал. Но Агнешка! Моя золотая Агнешка сказала:
— Папа, виновата я. Он давно хотел предстать перед твоими глазами, но я запрещала, зная твой нрав. Боялась, что переживания скажутся на твоём больном сердце. Сейчас фашисты уже не ищут беглых узников, а Гжегош человек тихий и мастеровой.
Пауза была длинной, она, как острая коса, висела над нами, и только один пан Гаевский знал, куда она упадёт.
— Ладно, садитесь за стол, ужинать пора. Дочь, принеси нам чего-нибудь покрепче, нужно выпить с незваным гостем, который у них хуже татарина, а у нас, не приведи Господь, немцев накличет.
Выпили по одной, по другой, Станислав стал мягче.
— Давай-ка Расскажи о себе, Гжегош.
Я подробно всё рассказал о своей жизни, о плене, о восстании, о побеге.
— Да, брат, жизнь у тебя не сахар. Куда же тебя теперь девать? Выгнать, так ты, как есть, пропадёшь без денег и документов.
— Деньги есть, — я выложил на стол рейхсмарки.
Пан Гаевский пересчитал.
— Не густо, но и это деньги, хоть что-то справить можно.
— Мне ничего не надо. Мне бы перезимовать где-то, а там наши близко будут, пойду им навстречу.
— Перезимовать — это правильно, идти сейчас никуда нельзя. Ваши только Киев вернули, до нас ещё километров семьсот с гаком. Конечно, русские бьют немцев, но не так быстро, как нам бы хотелось. Живи пока. Только где тебя спрятать? В бане нельзя, мы её топим не чаще двух раз в неделю, каждый день топить невозможно, соседи народ очень любопытный.
— А если я сам дом осмотрю, может, что и придумаю.
— Ладно, закусывай пока, утро вечера мудренее.
Спал я в ту ночь на сеновале, а утром определили мне место за печкой, там же решили соорудить фальшстенку, прикрыв её шкафом, где в случае облавы я бы мог спрятаться. Однако, слава Богу, ни одной облавы, ни одного обыска в доме Гаевских не было.
Жили мы дружно, я работал в доме и на скотном дворе, гончарничал, ткал полотна. Мы часто оставались с Агнешкой дома одни, я чувствовал, что смотрит она на меня влюблёнными глазами, да и во мне играла молодецкая сила, но я сдерживался, старался не подавать виду, терпел. А весна торопилась, на улице уже забарабанила капель, солнце поднималось всё выше и выше, разогревало землю. На проталинах зазеленела трава, появились подснежники, и в наших душах зацвели сады. Сдержатъ свои порывы ни она, ни я не смогли, страсть победила нас, и мы совершили то, что не должны были делать без

свадьбы. Но мы не жалели ни о чём. Я думал, Агнешка будет плакать, а она прижалась ко мне и зашептала слова любви, мы были на седьмом небе. С тех пор при первой же возможности мы предавались любовным утехам. С каждым днём я всё больше и больше понимал, что впервые в жизни по-настоящему полюбил женщину. Я старался не думать о доме, не вспоминать о жене, и только сын не давал мне покоя, приходил ко мне во сне почти каждую ночь, смеялся и обнимал меня. Какой он сейчас? Вырос, наверное. Но начиналось утро, я видел любимую, её личико, её руки, её фигуру, которую не портил даже тяжёлый деревенский труд, и в моей душе играла музыка. Подпольная жизнь начала казаться мне раем, торжеством жизни, вечным счастьем.

После посевной, когда на полях появились дружные всходы, я начал замечать, что Агнию тошнит. Девочка моя пыталась скрывать это от моих глаз, но со временем скрывать это стало невозможно.

Станислав говорил со мной резко.

— Ты знаешь, что за это бывает?

— Знаю и готов нести ответственность.

— Какую, к чёрту, ответственность? Жениться тебе на ней надо!

— Я готов! — И это было сказано мною твердо. — Но как? Я ведь сейчас никто, не русский, не поляк — так, человек без имени.

— Ничего, подойдут ваши поближе, у немцев начнётся суматоха, вот тогда за деньги, за драгоценности можно справить тебе любой паспорт. А пока учи польский язык, Казанова!

Принялся за учёбу, очень старался, любовь моя помогала преодолевать все преграды, музыкальный слух — исправлять акцент. При этом меня одолевали мысли: кроме паспорта ещё нужно иметь какую-то легенду тридцатилетней жизни — где родился, крестился, учился, кем работал до войны, знать историю и географию Польши. Можно ли превратиться в поляка за два-три месяца — наши уже на подходе и летом будут здесь. Если провал, если раскроется неправда? Тогда конец всему, тогда расстрел. Нет, лучше всего быть самим собой, добраться до своих, рассказать всю правду, а там будь что будет.

Я начал делиться сомнениями с Агнешкой, она их разделяла, особенно после того, как узнала, что в СССР считают всех попавших в плен предателями Родины. Она всё понимала, но хотела одного, чтобы я был с ней, я тоже этого искренне хотел. Станислав также принял мои сомнения, думал, гадал, однако ничего толкового предложить не мог. А время шло, лето было в разгаре, началась уборка хлеба. Гаевские оба были в поле, я хозяйствовал дома, втайне от посторонних глаз. В тишине уже отчётливо была слышна канонада советских орудий, а по ночам на востоке виднелось зарево жестоких боёв. Я решил, твердо решил идти навстречу нашим, перейти линию фронта, рассказать всё как есть, попросить вновь доверить мне оружие и воевать с фашистами до победы или до смерти.

Всё, решено! Сегодня вечером прощаюсь, завтра, 1 августа 1944 года пойду к своим. Закончу войну, вернусь сюда к Агнешке, к ребёнку и буду жить в любви. Господи, пусть простит меня моя жена Вера, пусть простит сын Евгений, но свой выбор я сделал.

Эти свои записи оставляю любимой и дорогой мне Агнии Гаевской и моему будущему ребёнку.

Григорий Сафронов.

Виктор отложил в сторону тетрадь, в воздухе висела тишина, каждый думал о своём, но это своё было их общим, частью их судьбы, частью их биографии. Первой прервала молчание Агния Станиславовна:

— Предлагаю вновь присесть к столу, помянуть вашего отца, потом я дам вам прочитать ещё одно письмо от Григория, которое я получила уже после войны.

— Нет, мама, давай уже сразу, без промедления, давай, родная, прочитаем всё, а потом и поминать будем, — твердо сказал Гжегош.

Агния извлекла из ящичка солдатское письмо-треугольник, аккуратно развернула его и передала Виктору.

Милая, дорогая, любимая моя Агнешка, здравствуй! Как ты поняла, я остался жив после этой ужасной войны. А теперь обо всём по порядку: я перешёл линию фронта и был арестован своими, родными, советскими солдатами. На допросах не поверили ни одному моему слову, били до потери сознания, хотели выяснить, в какой разведшколе я учился, какое задание получил от фашистов. Допросы длились много дней, на одном из них следователь сказал, что в их руки попали списки пленных, работающих в обслуге Треблинки-2, там есть и моя фамилия, но о том, что я сбежал во время восстания, сведений нет. Теперь все доказано, ты работал на немцев, кормил врагов, помогая им убивать людей. Потом был суд и опять Бог дал мне шанс, в составе «тройки» трибунала был один из моих сослуживцев по срочной службе до войны. Он не подал вида, что мы с ним знакомы, но настоял на замене расстрела на службу в штрафном батальоне, дабы смыть кровью свои грехи перед Родиной. Так с конца сентября 1944 года по 20 мая этого года я воевал в штрафбате. Нас бросали на пулемёты, танки, стены крепостей, кто не шёл, убивали в спину чекисты из заградотрядов. Я шёл, я специально лез на пули, ходил в атаку в полный рост, дрался в рукопашной, но ни пули, ни штыки меня не брали. За это время состав батальона поменялся раз пять или шесть, а я жил, не имея ни одной царапины. Это тоже плохо, ибо по законам военного времени только пролитая кровь освобождает от наказания.

Сейчас меня и нескольких моих товарищей везут под конвоем в СССР, а потому сразу приехать к тебе не могу. Постараюсь передать это письмо, когда будем ехать по территории Польши. Целую тебя, моя родная, ты целуй нашего ребенка. Я даже не знаю, кто у нас — сын или дочь. Привет отцу твоему Станиславу. И поверь мне, Агнешка, я буду делать всё, чтобы приехать к вам, приехать навсегда. Жди меня, моя родная.

Твой Григорий.

1 июня 1945 г.

Виктор закончил читать, повертел туда-сюда хорошо сохранившееся письмо отца и спросил:

— Агния Станиславовна, а как попал к вам этот солдатский треугольник, на нём ведь нет ни адреса, ни фамилии адресата?

— Письмо это, дети мои, принесла мне одна женщина через месяц после даты его написания. Она сообщила мне, что торговала на железнодорожном разъезде варёным картофелем, а эшелон, в котором ехал ваш отец, стоял там часа два. Григорий купил у неё весь товар и дал в придачу швейцарские часы, и очень, очень просил доставить письмо мне, не пользуясь почтой. Думаю, КГБ, или как его тогда называли, подвергал письма цензуре. Вот эта добрая женщина при первой возможности добралась до меня с письмом и рассказала, что Григорий со слезами на глазах умолял её сделать это. Спасибо ей... Вот так-то, дети мои. Давайте поминать отца?

Выпили молча, стоя, не чокаясь, закусывали тоже молча и думали о нём, о Григории Сафронове.

Тишину нарушил Виктор:

— Полагаю, теперь рассказывать мне, рассказывать о послевоенной жизни отца... Насколько мне известно, вернулся он домой в начале сентября 1945 года. Мама тогда перепахивала поля после уборки, с ней же был и Евгений. Деревенские мальчишки бежали по полю и что-то кричали. Мама заглушила трактор и услышала: «Гринька, Гринька Сафронов с войны вернулся». Она сразу не поверила, похоронка на папу пришла в 1942 году, уже все слёзы были выплаканы. Мама схватила Женьку и бегом домой. Отец сидел на крыльчке и курил. Не могу сказать, какой была их встреча, никто не рассказывал. Не знаю, было ещё какое-то следствие или суд, но определили папу на жительство в своей деревне под надзором участкового милиционера с условием ежемесячного посещения районного отдела госбезопасности. Так и ходил отец каждый месяц двадцать пятого числа и всегда возвращался оттуда раздражённый.

Когда я подросток и начал соображать, я понял, что у папы и мамы были прохладные отношения — казалось, они жили каждый сам по себе. Я не помню, чтобы отец смеялся, он больше грустил, на гармошке играл и пел только печальные песни, разговаривал

больше с животными, чем с людьми. Коров доил только сам, говоря им при этом ласковые слова. Колхозные кони любили его и понимали с полуслова, хотя он не был конюхом, а только кузнецом. Однажды рядом с конюшней начался пожар, ветер по траве понёс огонь на загон, лошади сбесились, ржали, пытались сломать высокий забор. Никто не решался подойти близко, все боялись идти через пламя. Только отец каким-то чудом перемахнул через жерди и направился прямо к жеребцу-вожаку, тот встал как вкопанный, папа почесал его за холку и повёл к выходу, открыл ворота, ловко вскочил на жеребца, кони стремглав выскочили за вожаком и на рысях ушли в поле. Все видели, как Григорий развернул небольшой колхозный табун и шагом повёл его к деревне.

А улыбался наш отец только тогда, когда радовался успехам детей, он даже сплясал, когда обмывали орден Красной Звезды, полученный Евгением за испытания ракетной техники. Сплясал, хватил ещё рюмочку: «Знай наших! Крепок сафроновский корень!» Еще радость отцу доставляли гости, родные братья и племянники. Старший Матвей тоже жил в Лысогорке, Алексей и Николай погибли на войне, но остальные не забывали родную деревню, часто гостили в ней Фёдор и Владимир, заезжал и Александр. А Ивана не видели лет двадцать, служил на Дальнем Востоке. Как закончил воевать с Японией, так и остался в армии, в большие начальники вышел по политической части. Приехал в гости наш дядя Ваня только после демобилизации в 1961 году с женой и сыновьями, остановился у нас, то есть в отчем доме.

Два брата подолгу беседовали по ночам, после бесед отец немного приободрился и даже смеялся, когда дядюшка публично вспоминал их детство и благодарил брата за то, что в юном возрасте он смог стать и отцом и матерью для младших. Я помню, как слёзы радости текли из глаз папы, как он обнимал брата Ваню, когда тот вручил ему деньги на ремонт дома и поблагодарил за то, что он хранит наш семейный очаг.

Виктор глянул на Гжегоша.

— Так что, брат мой Григорий Григорьевич, тебе предстоит знакомство с многочисленной роднёй по отцу. Среди твоих родственников есть педагоги, много врачей, инженеры, есть трактористы и кузнецы, но главное — все они прекрасные отзывчивые люди. Но это всё позже, а пока о грустном, о печальном.

Болезнь поразила отца в 1964 году. Я, как и просил отец, старался учиться, школу закончил в райцентре, в деревне была только восьмилетка, закончил с золотой медалью, это позволило мне сдать первый вступительный экзамен в институт на «отлично», и я студент. Пока остальные абитуриенты сдавали экзамены, я приехал домой помочь родителям по хозяйству и вещи собрать, подготовиться для жизни в большом городе.

Пятнадцатого августа после ужина отец присел читать газету, читал, читал, потом вдруг бросил газету на пол, вскочил и заходил по комнате, лицо покраснело, в глазах злость и горечь:

— Этот гад, этот урод, мерзавец уничтожил сотни тысяч людей, беззащитных женщин и детей, а ему пожизненное заключение! Сволочи! Все они там фашисты, рвать их надо, рвать на куски и судей тоже!

— Что с тобой, папа?

Но он будто не слышал меня, жилы на шее наполнились кровью, казалось, он сейчас кого-то ударит, что-нибудь сломает. Я взял газету и прочёл небольшую заметку, в которой сообщалось, что бывший комендант Треблинки Курт Франц приговорён судом к пожизненному заключению.

— Папа, родной мой, упокойся, мы с тобой ничего не изменим.

— Мы не изменим, а изменить бы надо. Это же не человек, это гадкий таракан, который пролезал везде, это шакал, который рвал кусками человеческое мясо, это монстр, рождённый для убийства!

Тут он вдруг побледнел и ослаб. Я подхватил отца, он был уже без сознания. Наш деревенский фельдшер ничего не смог сделать, сказал, что это похоже на инсульт и везти его никуда нельзя. На следующий день приехали врачи из районной больницы, назначили лечение. Отец пришёл в сознание через три дня, но правая половина тела оставалась безжизненной. Две недели я не отходил от самого дорогого мне человека, поднимал, умывал, делал уколы, поил лекарством, кормил. Первого сентября начались занятия, я

уехал в Средневожск. Маму освободили от работы для ухода, а по вечерам и ночью ей помогали Евгений и жена его Маша.

Я же при каждом удобном случае спешил в Лысогорку. Папа всегда радовался моему приезду, тем более с хорошими вестями. Учился я отлично, стал секретарём комсомольского бюро факультета, играл на гитаре и пел в нашем институтском вокально-инструментальном ансамбле. Отец улыбался всё чаще и говорил:

— Я тебя Виктором назвал не зря, сынок. Ты должен руководить своей жизнью, а не она тобой, не допускай, чтобы загнала тебя в угол, как это сделала со мной. Ты должен жить за двоих, за себя и за меня, но жить честно, не обижать и не обманывать людей. Никогда, сын, не скупись на добро, оно вернётся к тебе сторицей.

Но не всегда бывает, как хочется. Лето было в разгаре, я работал на комбайне, зарабатывать трудодни для отца с матерью и был свидетелем, как у папы произошёл второй инсульт, в конце июля 1967 года, а пятого августа отца у нас не стало, и последние его слова на этой земле были адресованы вам, Агния Станиславовна.

Виктор замолчал, молчали все, всхлипывала лишь Агнешка.

— Да простила я вашего отца, давно простила, Я чувствовала, я знала, что рвётся он ко мне, и души наши во сне встречались часто. Я понимала, что ему что-то мешает.

— Ему не разрешали даже ездить к братьям в другие области России, а за границу — тем более. Вы знаете, что отец умер, не имея паспорта гражданина СССР, — колхозникам паспортов не давали, в начале выдавать только в 1974 году. А получить паспорт для выезда за границу было вообще нереальной мечтой. Он бы точно уехал к вам, имея паспорт, но жизнь в очередной раз взяла его в плен.

Они ещё долго беседовали, Агния вспоминала эпизоды жизни Григория на хуторе, это были её самые счастливые дни.

— Ваш отец, дорогие мои дети, сделал меня счастливой, даже ежедневное ожидание его было для меня счастьем. Это была моя жизнь. Сегодня я узнала, что моего Григория уже нет в живых, но у меня появился ты, Виктор, и твой брат Евгений, которого я тоже буду ждать в гости, если ваша мама не будет против.

— Мамы уже больше двух лет нет на свете.

— Извини, Виктор, прими мои соболезнования и знай, что ты не сирота, если при-
мешь меня как мать.

— Я постараюсь это сделать: не было бы вас, не спасся бы отец.

Солнце давно перевалило на вторую половину дня, и Гжегош спохватился:

— Ну что, поедем в Треблинку?

Виктор ответил не сразу:

— А может быть, перенесем поездку на следующий мой приезд? И так слишком много впечатлений, и каких! У меня есть предложение-вопрос: можно ли здесь переночевать на сеновале — там, где спал отец, а завтра утром прямо в Варшаву, в аэропорт?

— Конечно, можно, и мама будет рада. Сейчас позвоню, распоряжусь, чтобы твои вещи доставили прямо к самолёту. Только одна заправка: сена на сеновале почти нет. Весна, брат, нового ещё не косили.

Братья дружно рассмеялись и пошли осматривать окрестности. Потом был весёлый ужин, они крепко выпили и отправились на сеновал. Люба занялась хозяйством, а уставшая Агния отправилась отдыхать, уснула быстро и крепко. Во сне пришёл к ней молодой улыбающийся Григорий, её любимый, её единственный.



ПОЭЗИЯ

Ксения ВАЩЕНКО

«Внутри меня растёт моё спасенье...»

Родина

Так тепло и прекрасно, у меня в саду зацвела ирга.
Соловьи поют, закат пробирается за овраг,
Где обычно радуга льется — молочные реки, кисельные
берега.

Мир — как чудо,
мир — чудовищная игра.
Где в каждом из нас внутри прорастает враг.

Мой враг внутри оставляет покинутые траншеи,
выжженную пустыню.
Смотрит глазами пустыми.
Шепчет мне — недомерок,
чей-то обмылок,
пустейшая из бутылок,
серое пепелище, вечно больной ребёнок,
коротящая схема, не выдерживающая проверок.

Если спросишь, я могу тебе рассказать,
Какие пустые и серые у врага моего глаза.

Но это совсем не страшно, когда цветы и
Тёплый воздух кутает, словно шалью.
Когда дедушка с бабушкой, старенькие, седые,
Подходят, а ты по глупости просишь, чтоб не мешали.

А они садятся рядом, тебе наливают чай,
И в душе у них горит медом пахнущая свеча.

Ты спроси у меня, как шумит дерево или растёт трава —
Я смогу подобрать все правильные слова.
Их собрать в горсти, запомнить и записать.

А сегодня небо прольется ночным дождём,

Если спросишь о доме, то это — цветущий сад.
Если спросишь о Родине — это сердце всех тех, кто ждёт.
Кто не спит по ночам и медовые свечи жжёт.

Яблони зацветут на следующих выходных.
Если спросишь, я тебе расскажу о них...

Колыбельная для Евы. Звёздная

1

С неба падает снег —
тривиальная строчка стиха.
Милый мой человек,
эта ночь и глуха, и тиха.
В тишине кружевной
лишь снежинки несутся гурьбой
над встревоженной мной
и над спящей прекрасной тобой.
Ночь глядит сквозь стекло,
для тебя, как и жизнь, далека.
Для тебя лишь тепло
в белой сладкой струе молока.
Млечный Путь тонок, бел,
месяц хмурит серебряный лоб.
Словно звёзды, тебе
Бог роняет снежинки в сугроб.

2

Ночь раскрывает тайны мне
о том, что каждый сугроб глубок,
что в каждом сугробе звезда на дне,
которую с облака бросил Бог.
И только темень несет ответ
(ответы истинные просты) —
почему в нашем доме всегда свет?
Потому что у нас есть ты.

Осень

1. Сентябрь

Такая осень, полная беды,
Воды и солнца, золота и пепла.
Но если же со мною рядом ты,
Я ничего не вижу, я ослепла,
Оглушая сижу, не говорю
И взвешиваю тёплое в ладони:

Почти что невесомое «люблю»
И каменно-тяжёлое «не помню».

2. Октябрь

Хороший день — сейчас не умереть,
Больничный двор, расчерченный шагами,
Небесный полог и земная твердь
И Лета под крутыми берегами.
Летит от лета к осени листва.
А что мне делать в скуку и прохладу?
Считать до ста, сбиваться и, устав,
Идти назад в безмолвную палату.
А мне навстречу — люди и беда
Спешат, бегут, ни на кого не глядя.
Течёт река беспамятства туда,
Где море памяти — и хуже, чем во аде.
Хороший день, безветренный такой,
Залитый солнцем, сладкий и короткий,
А в нем Харон прозрачною рукой
Куда-то в небо направляет лодки.

3. Ноябрь

Сегодня пятница, последний день осенний,
И время подводить всему итог.
Внутри меня растёт мое спасенье,
Мой аленький, мой маленький цветок.
Нет ничего: ни памяти, ни лета,
Ни слов, ни нот, тоска и маета.
И сквозь меня течёт немая Лета,
Любовь и боль, тревога и вода.

Про детство

1

Среди всех этих душевных стихийных бедствий,
когда хочется зиму забыть или обесцветить,
мне запрещают писать о любви и смерти.
Что же — значит, буду писать о детстве.

Детство — когда летишь на велосипеде,
а мама встречает у дачи: «Ну, наконец-то!»
Детство у вишни, все пальцы темны от сока,
детство — сидеть на тёплой траве под грушей.
Детство — песок, заползающий мне в кроссовки,
если идти по берегу, не разувшись.
Ссадина на коленке, панамка, шорты,
старый орех — корабль, трот-мачта, реи,
а впереди маячит и манит что-то:
вырасти поскорее бы, поскорее,
чтоб было двадцать, чтоб принц был, и меч, и лошадь,
чудище, битва, спасение — по порядку.

Или не принц, а просто сосед Алёша,
тот, что глядит постоянно в мою тетрадку.

2

А однажды я просыпаюсь, и мир внутри меня так глубок —
Дно Тихого океана. Марианская впадина — не иначе.
Выхожу я из дома и сворачиваю в клубок
То, что значило много, но больше уже не значит:
Старую панамку, орех на даче,
Тёплый летний день, далекий и голубой.
Пыльный город встречает ветрами глухих окраин,
И нам кажется, что навстречу река течёт нам

Из газетных обрезков, рекламы больших экранов.
Обреченности.
Уникальности нашей ранней.
О других не печалимся, о мире внутри печёмся.
Мир внутри разрывают наши собственные пираньи.
Мы отходим от дома сквозь зачеты и незачеты.
А мама нас не дожидается вечерами,
Хотя хочет дожидаться и даже спросить о чём-то.
Что могу я сказать ей? Что в груди острие ножа?
Что за жизнь не даю я по осени ни гроша?
Что мечтается мне,
Чтобы когда я падала, он меня удержал —
За руку, за плечо,
Говорил — надень шляпу, а то голову напечёт,
Говорил — надень шапку, а то схватишь в мороз отит,
Чтобы сидел рядом в печали и темноте,
Чтобы когда я читала, я думала: «Так, как он на меня
глядит,
Никто ведь, наверное, до этого не глядел».

3

А через сотню лет у нас есть свой собственный стол
И даже, может быть, собственный кабинет.
А среди всех этих людей и компьютеров нам мечтается о
простом:
Ощутить, как река качает нас на спине.
Как песок горячий рассыпается под подошвой.
Как варенье из вишен мы летом всегда варили.
Как орех на даче шелестит нам о чём-то прошлом.
Как давно мы с тобою, мама, не говорили.

Как давно ты не прижимала, мама, к своей груди.
Как внутри меня, мама, что-то давно остыло.
В детстве кажется, что лучшее — впереди,
А сейчас понимается, что лучшее уже было:
На летний полдень по дачным дорожкам, таким знакомым,
На своём — самом быстром — несёшься велосипеде...
А сейчас мы боимся, подъезжая к родному дому,
Что однажды нас мама уже и не сможет встретить...



ПРОЗА

Юрий ЛИФАНОВ

Нетипичный

Рассказ

Сейчас это трудно представить, но в те времена, о которых речь, домашних телефонов не было даже у некоторых Героев Советского Союза. И Витьке Васильеву, рабкору областной молодежной, выпало общаться именно с таким. Впрочем, Витька сам его выбрал.

Тогда, полвека назад, накануне двадцатилетия Победы даже начинающий внештатник мог спокойно позвонить чуть ли не облвоенкомку и, сославшись на задание редакции, попросить адреса живущих в городе Героев Советского Союза. Было именно так. Витька позвонил, и его пригласили зайти в любое время.

Понимая, что для посещения такого серьезного учреждения необходим солидный документ, он выправил в редакции удостоверение. Дали временное, но на официальном бланке с красно-синей «шапкой» газеты: мол, податель сего является внештатным корреспондентом печатного органа обкома комсомола «Молодой ленинец». А о постоянном, в красных корочках с золотистым тиснением и с фотографией, Витька, признаться, начал мечтать уже после двух-трех маленьких заметок о своих заводских — каменщиках, плотниках, бетонщиках, выполнявших все планы и обязательства в честь громких юбилеев и важных государственных событий...

К своим семнадцати Витя Васильев был уже плотником третьего разряда в ремонтно-строительной комплексной бригаде на тракторном заводе. Он мало понимал, чем, кроме добавочной десятки, теперешний «взрослый» разряд так уж отличался от его ученического двухгодичной давности. Но одновременно был совершенно уверен, что до высших, пятого или шестого (это когда мастер участка Юсупов не просто дает указания и с криком требует исполнения, а серьезно советуется с тобой) — ему еще расти и расти. И до соответствующей зарплаты в немислимые сто семьдесят рублей «грязными» еще топтать и топтать по заводским стройплощадкам...

«Молодой ленинец» мать выписывала на дом. И даже знала, что за публикации авторам платят деньги — гонорары. Не только журналистам, но и внештатным корреспондентам из рабочих и колхозников. Витька, конечно, не раз видел такие подписи под статьями и заметками — токарь, каменщик, тракторист. Слышал, что журналисты на одном месте не засиживаются, часто ездят в командировки по райцентрам области и сельской глубинке. Интересно, что ни говори, ведь область наша не меньше иных европейских стран, а то и побольше...

Однажды мама показала ему объявление: редакция приглашала в собственный «Университет молодого журналиста» рабочих, студентов и учащихся старших классов. На вечерних занятиях будут учить азам журналистики, с перспективой публикации лучших материалов в газете. Понятно, что Витька в назначенный день и час явился в редакцию.

...В военкомате выдали ящичек с карточками: смотри, мол, сам, выписывай адреса. Ящичек был длинный, сотни карточек с данными жителей города и сельских районов. Витька выписал в блокнот несколько фамилий и адресов горожан, практически выбирая тех, кто живет поближе, к кому можно быстро доехать на трамвае или троллейбусе.

К тому времени поездки по городу, узкой саблей изогнутому вдоль Волги на десятки километров, уже не были такими долгими, когда с Тракторного в Кировский или Красноармейский районы ехали к родным и знакомым в гости с ночевкой. Теперь с севера до юга и обратно регулярно ходили электрички и автобусы. Часа в три укладывалась дорога автобусом в один конец, от края до края. Правда, с пересадками. Долго, конечно. К тому же вдоль автотрассы или железной дороги по Витькиным представлениям и смотреть-то было особо не на что: либо голая степь или пустыри, либо серые заборы. За одними — частные дворы, за другими — блочные новостройки.

Когда в прежние годы доводилось ехать с матерью пригородным, а позже электричкой, на Судоверфь к бабушке Мане, Витька не мог понять, отчего, неотрывно глядя в окно вагона на все эти заборы и подъемные краны, мама чему-то радуется. Нередко вовсе изумляется — то брови вскинет, глаза распахнет, то головой кивает, вроде с чем-то соглашаясь. И всегда улыбается. «Ну что там такого особенного, интересного? — недоумевал он. — Заборы блеклые, коробки бетонные. Да развалины старых домов...»

Для него, в ту пору пацана шести-семи лет, на всем этом пути ожидаемым и запоминающимся было лишь подворье с белыми каменными шарами у ворот, красной церковью с неблестевшими куполами и большим домом с узковатыми окнами (мать говорила, что это усадьба попа). Да ещё, вслед за церковью, на другой стороне насыпи в большом загоне привычно теснились серо-грязной пеной настоящие овцы и коровы. «На колбасу пригнали». — мрачно-важно обмолвился как-то пожилой попутчик....

Дальше можно было и не вглядываться... Витьке уже не терпелось увидеть бабушкин дом, который был заметен издали, с самого начала улицы, но куда надо было еще взбираться по немалой горе. У дальнего частогокола на задах двора, в сарайчике у дяди Вити, имелось много интересных железок и разных инструментов — рубанки, пилы, молотки, даже неподъемная кувалда. Ею хозяин дробил большие куски угля, куча которого была свалена за тем же сарайчиком, и, сильно припадая на правую ногу, таскал черные мятые ведра в дом, к печке.

Дом, по словам матери, дядя Витя начал строить сам, как только вернулся с фронта и женился на тетке Вале. Три комнаты, кухня с печкой, прихожая... А еще комнатные двери, в которых стёкла непрозрачные, со снежин-

ками. Хоромы! Не то что их комнатуха в коммуналке на три семьи... Но тетка Валя, как-то внутренне винясь, в каждую встречу непременно говорила матери: «Повезло тебе, Антонина. Вода, туалет теплый, душ, отопление центральное. Всё под рукой. Скоро газ проведут... И комната светлая, хоть и небольшая. Да вам с Витькой много ль надо?..» «Скажи еще — хорошо, что не в подвале, — отшучивалась мать, — у них там тоже и вода, и туалет. И ноги за окошком...»

Комнату им дали от завода. Восстановили разрушенные стены еще довоенного четырехэтажного дома, накрыли его новой крышей, подвели нужные трубы и кабели. И первыми заселили семьи с детьми.

«Детьми Сталина», — часто говорила мать.

Эти слова не удивляли Витьку. Хотя Сталина уже и не было. В детском садике тетеньки в одинаковых синих халатах им так и говорили: «Вот Сталин, наш вождь и отец, он всех нас защитил. Его именем назван наш город. Гордитесь, ребята!» — и показывали на портрет человека в маршальском мундире со звездой, с густыми усами и добрым прищуром внимательных глаз. И хотелось верить, что этот человек в рамке на стене действительно родной каждому ребенку и взрослому. И верилось.

Много позже, когда мать однажды с улыбкой вновь назвала Витьку «дитём Сталина», он, чувствуя иронию, спросил — почему так? «Да при нем и до войны, и после были запрещены аборты, — ответила она. — Вот вас и нарожали. Видишь, сколько ребятни во дворе... Чем только кормить вас, дети Сталина?..»

Поездки в южный район к родным были редкими, но всегда желанными. Еще и потому, что там были дети тетки Вали и дяди Вити: хитроватый Пашка, родившийся в год Победы, добродушная Танюшка, появившаяся тремя годами позже, и младшая Оля, Витькина одногодка — молчаливая, казавшаяся очень серьезной. Но более всего теплело у него на душе, когда навстречу торопливо выходила, всплеснув руками, баба Маня... У других ребят — бабушки, баушки, бабани, бабули. А а у Витьки, Пашки, Таньки и Оли была бабуся!..

«Хорошо Валентине, — иногда по-доброму вздыхала мать, — всю жизнь бабуся ей отдала. Так замуж и не вышла после смерти нашего отца, до войны еще... Всех детей Валентины вынянчила. Всегда они у нее накормлены, обстираны, обихожены...»

Казалось, не было в жизни никого добрее и роднее бабуся. Витьке иногда хотелось вдруг крепко обнять ее, защитить, уберечь. От кого и от чего? Он и сам того не понимал... И даже удивлялся, как это она, такая маленькая и худенькая, могла стать мамой его мамы. Вдобавок нередко задавал неожиданные вопросы. Например, ни с того ни с сего интересовался, как маму, такую полную и высокую, малышка бабуся могла обхватить, обнять, встречая с войны...

— Да война тогда еще не кончилась, — отвечала мать. — Меня после контузии и ранения комиссовали вчистую. А бои еще продолжались. Но уже далеко-далеко. И я после госпиталей — кожа да кости была, не то что обнять — на руки, как дитё, взять можно было... Мама меня и узнала-то не сразу, когда я приехала. Обомлела прямо. Думала, что от меня кто-то весточку привез, худую или добрую.... А это я... Нашла ее и сестру на старом месте, где наш дом стоял. Только вместо дома — развалины и головешки... А они в подвале устроились. Тогда почти все так жили — кто в погребах, кто в землянках. В домах разбитых тоже. Главное — чтоб печка была. У них, слава богу, буржуйка имелась — помог кто-то вдове с девчонкой...

...Однажды, когда они в очередной раз ехали в гости к бабушке, снова увидев улыбку матери, молчаливо глядевшей в окно вагона, он не удержался и довольно грубо спросил:

— Мам, ну чего ты все в окошко это лыбишься? Там же нет никого и ничего!

— Потом скажу, — сухо ответила мать и опять отвернулась к окну. Но уже без улыбки...

Видимо, не посчитала нужным что-либо объяснять сыну при попутчиках. Или обиделась на его неожиданную грубость. Но когда взбирались по горке к бабушкиному дому, вдруг сказала: «Я ведь за людей радуюсь. Из подвалов они выбираются, из развалин. Ты говоришь — нет там ничего. А дороги? А дома? Не видишь, что ли? Большие, малые... Дома! В них жить по-людски теперь можно. И как быстро строятся! Душа радуется...»

Отрывки этих картин и воспоминаний одолевали Витьку, пока он ехал на встречу с Героем Советского Союза Иваном Михайловичем Чувалиным, жившим на улице Академической. Поговорить именно с ним Витька решил еще и потому, что о героях, проживавших в Центральном районе, то есть неподалеку от Дома печати, наверняка уже не раз писали в местных газетах, и в молодежке, конечно, тоже. Потому выбрал он соседний с Центральным Ворошиловский район, тем паче что добираться туда с Тракторного и в те времена было не слишком сложно: на троллейбусе и всего-то с одной пересадкой.

По данным картотеки, Чувалину было сорок семь лет. Как говорить с этим известным взрослым человеком?.. Да еще о войне, о подвиге, увенчанном «Золотой Звездой». С такими знаменитыми людьми Витька до этого близко не общался, оттого не без оснований считал, что все заранее заготовленные вопросы он от волнения в момент забудет, хоть и записал их в новеньком, приобретенном специально к этой встрече блокноте. После каждого вопроса — пара чистых страниц для ответа. Да и вопросы, как теперь понимал Витька, были какими-то заученными, шаблонными, что говорится, деревянными: как вы воспитываете патриотизм у молодежи... Ничего другого не придумалось. По рассказам опытных журналистов, люди, увидев блокнот, словно зажимаются, отвечают односложно «да», «нет». И что потом писать? Поэтому шел он от остановки к дому героя в неважном настроении, злясь на собственную бестолковость и мучаясь сомнением — надо ли было ему безо всякого опыта браться за такой сложный материал?

Он не спешил, даже надеялся, что Ивана Михайловича в выходной день дома не застанет. Загодя позвонить герою он не мог по той простой причине, что телефона у Чувалина не было. Но ведь он пообещал самому Владимиру Федоровичу Ряшину, заведующему отделом коммунистического воспитания, что напишет в номер ко Дню Победы о Герое Советского Союза. Сам вызвался! Запомнил, как Ряшин своим ровным неторопливым баском, время от времени поправляя указательным пальцем очки на переносице, уже не раз говорил толкавшимся в его кабинете внештатникам, что им давно пора находить темы самостоятельно. Вот Витька и нашел. И тему, и героя, и адрес. А если встреча не состоится и газета останется без запланированного к празднику материала, то как потом объяснить это всё Ряшину? — растерянно мучился Витька...

По номерам было понятно, что дом, где жил Чувалин, расположен ближе к железнодорожному полотну. Улицу Академическую Витька не раз видел в детстве и отрочестве из окон пригородного поезда и электрички: неказис-

тые дома да деревья вдоль дороги. Даже еще не деревья — саженцы худенькие. И как раз вскоре проезжали ту самую церковь и загон для скота. Но церковь теперь уже плотно закрывали новостройки, а на месте загона раскинулась спортплощадка с футбольным полем. Деревья на Академической и в окрестье заметно выросли и в ясный апрельский день уже всю зеленели молодой липковатой листвой...

Дом оказался новой пятиэтажкой. Подобных домов, выходявших торцами к дороге, было несколько — самых белых и чистых в округе. Тот, который искал Витька, стоял вторым. Был поздний утренний час выходного дня, когда никуда не спешившие жильцы садились за неторопливый завтрак или включали черно-белые телевизоры, имевшиеся уже во многих квартирах. И на улице, и у подъездов домов людей почти не было.

Немного помявшись, Витька поднялся на третий этаж и позвонил в нужную дверь.

Ждать не пришлось совсем. Быстро щелкнула задвижка, и дверь открыл мужчина неопределенного возраста, с довольно мрачным взглядом. Или Витьке так показалось от волнения...

— Здравствуйте, Иван Михайлович... Извините за беспокойство, но у вас нет телефона, поэтому я не смог предупредить вас. Я из газеты «Молодой ленинец», — зачастил Витька. — Я хочу... у меня задание... от редакции... написать о вас к Дню Победы... Вы же Чувалин? Герой Советского Союза?

— Проходи, — равнодушно, даже для приличия не улыбнувшись, сказал хозяин, раскрыв дверь пошире и немного шатнувшись вбок...

Войдя, Витька почувствовал запах вроде бы свежих опилок или «распущенных» на морозце бревен... Из небольшой прихожей просматривались комната с частью круглого стола и кухня, где на газовой плите виднелась алюминиевая кастрюлька. Рядом белел бок большого холодильника с округлой дверцей. Подобные «ЗИЛы» и «Днепры» Витька видел только в магазинах.

— Иди в зал, за стол. Там... Но ты не обращай внимания... — уже с мелькнувшей ноткой виноватости сказал хозяин. — Я сейчас.

Сняв полуботинки, Витька вошел в комнату и понял причину древесного запаха: на невидимой из прихожей части стола возвышалась заметно початая, зеленоватая этикеткой поллитровка «Московской», стоял мутноватый пустой стакан, лежал кусок черного хлеба, а в мелкой тарелке поблескивали крупной солью остатки вареной картошки, желтело горчичное масло. Рядом как-то жалась к стене узкая, заправленная темно-синим одеялом кровать. Тут же, почти вплотную к кровати, висился двухстворчатый шкаф без зеркала. Телевизора вроде бы не было. Стульев имелось лишь два. Витька присел на один из них, спиной к окну.

— Выпить не предлагаю. Молод еще, — войдя в комнату с прихваченной вафельным полотенцем кастрюлькой, сказал хозяин. — Картошку будешь? Вареную.

— Нет, я недавно завтракал, спасибо... — явно робел Витька.

— Зря! С селедочкой она в самый раз. Но селедки нет. Вчера кончилась... А нынче в народ еще не выходил... — посетовал Чувалин. — Из газеты, значит... — продолжил он. — И что ж вы там, в редакциях своих, тоже считаете, что мы немца и всех его шестерок трупами завалили и потому победили?

В вопросе почувствовалась пока еще легкая агрессия... Витька, не ожидая такого поворота, не знал что ответить. Ведь перед ним сидел не абы кто, а герой. Настоящий. В бригаде, на перекурах, ему иногда приходилось слышать подобное от мужиков в возрасте, рубивших стол костяшками домино, но он почему-то не особо вдумывался в суть этих нелегких слов. Знал одно — мы победили, это было главным.

— А если и так... — не дождавшись ответа, продолжил хозяин. — А как, как иначе-то? А?.. Мы защищались. Умело — неумело... Как могли, так и стояли... Или не надо было? А?.. Чё ж молчишь?..

Он замолчал, и Витька попытался собрать в кучку свою растерянность, начать разговор, ради которого пришел к этому человеку.

— Я... я и хотел попросить вас вспомнить о войне, — начал было он. — О подвиге вашем...

— Ты знаешь, не хочу. Не могу... — Чувалин налил себе полстакана водки. — Одно скажу, — он махом опрокинул стакан, поморщился, — нельзя к войне привыкать. А она затянулась... Мы и привыкли. К чужой боли, к грязи... Невозможно привыкнуть к холоду, к сырости... А к смерти привыкли... Мы ж... мы ж вплавь. Через Днепр, в сентябре... И сразу на плацдарм, закрепились. А холодина уже... Смерть, кровь всё меньше смущали. Может, и «наркомовские», да двукратные, маленько помогали. Хотя... Но нельзя, нельзя к этому... Нельзя привыкать. Так вот скажу...

Он опять замолчал. Наверно, пытаюсь подобрать еще какие-то слова, более внятные и понятные этому мальчишке из газеты. Витьке стало тревожно: чем закончится такой разговор? И что делать с пьянеющим на глазах человеком, совсем незнакомым?

— Как видишь, я сейчас тут один... — снова заговорил Иван Михайлович. — Была жена. Ушла. И звезда твоя, говорит, не нужна. Подумаешь, говорит, надбавки к ней... К звезде... Ну, квартиру дали... Эту вот... Не такую большую, правда... С сыном ушла, с Сережкой моим... Тебя-то как зовут, корреспондент? — поднял он чуть туманящийся взгляд на гостя.

— Виктор...

— Витька, значит... А моего Сережкой... Так ты что узнать-то хотел?

— Ну... может... вспомните... Подробности, детали того боя... за который вам...

— Ты вот что, — Чувалин как-то внутренне подобрался, потверже встал, подошел к шкафу. — Глянь вот книжку, тут про меня, перепиши в блокнот название, спроси в библиотеке. — Он достал из шкафа небольшую зеленую брошюру, положил перед Витькой. — Там прочитаешь, как всё было... Отдать не могу, даже на время. Одна она у меня.

— Спасибо, Иван Михайлович. Я запомнил, найду. — Витька торопливо поднялся из-за стола. — Пора мне... С наступающим Днем Победы вас...

Ему стало ясно, что со статьей ничего не получится. И брошюра не поможет. И вообще, как из нее чужое переписывать, не узнав самому от человека что-то новое? Нет, надо было поскорее всё объяснить Ряшину, чтобы Владимир Федорович успел заменить его заявку на какой-то другой материал. Из приемной начальника цеха звонить было не принято, личные разговоры секретарша пресекала: телефон служебный, линия не должна грузиться посторонними разговорами. Можно было, конечно, позвонить с улицы. Но возле телефонных будок случаются очереди, а в иных не редкость аппараты с оторванными трубками... Да и что объяснишь по телефону? Мол, не могу написать, герой был не в форме?..

В следующий понедельник сразу после работы Витя Васильев поехал в центр города, в Дом печати. Опоздать не опасался: Ряшин всегда засиживался на работе. Отписывался, как он говорил.

— Лишнего выпил, говоришь... — перебил он Витьку, когда тот с порога стал рассказывать о своей встрече с героем. — ...И спросить ничего толком не успел?

— Не успел. Он... Понимаете, начал о том, что нельзя на войне привыкать к чему-то... Я и не понял к чему. К смертям, кажется... Или вообще к войне...

НЕТИПИЧНЫЙ

Он, конечно, герой. Но нетипичный какой-то... — Это Витька вспомнил о типичных героях в типичных обстоятельствах, о чем им на занятиях как-то сам Ряшин и говорил. — Он мне еще книжку небольшую показывал, там его подвиг описан. Но с собой мне не дал ее, бери, говорит, в библиотеке, вот тут я название записал. Нетипичный какой-то... — показывая Ряшину страничку блокнота, повторил Витька.

— Эка ты его!.. — глянул в блокнот Ряшин. — Нетипичный... Ну-ну... Ладно, иди. Спасибо, что предупредил.

В День Победы Витька с бригадой работал на гальваническом участке кузнечного цеха. Надо было срочно, пока участок в этот день простаивал, заменить ванну для протравливания металла — ломami отодрать со стенок и днища почерневшего куба изъеденные щелочью дубовые брусья и поставить новую ванну. Ее четырехугольный сруб, собранный из двухметровых, плотно подогнанных друг к другу и скрепленных большими медными болтами обструганных лесин, свежо и чисто розовел рядом с закопченной стеной цеха.

Закон запрещал привлекать несовершеннолетних к сверхурочным и в праздники. Но Юсупов попросил Витьку выйти. Как откажешься? Да и платили за такие дни в два раза больше обычного.

Он долбил старые брусья днища, стараясь измельчить их в щепу. Так легче выгребать совковой лопатой. В этот момент и услышал сверху голос Юсупова:

— Витя!.. Поднимись-ка на минуту.

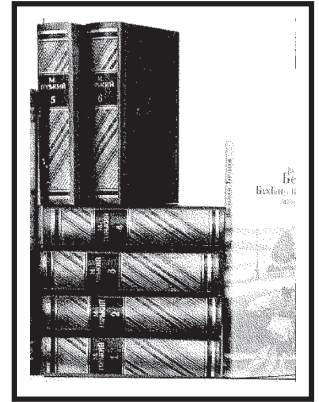
Когда он вылез, мастер протянул ему газету и как-то уважительно хмыкнул:

— Да ты у нас, оказывается, грамотный малый. На вот. Статья твоя здесь. Про героя... Купил в киоске утром.

Ничего не понимая, Витька развернул праздничный выпуск «Молодого». В «подвале» первой страницы бросился в глаза красный заголовок: «К войне нельзя привыкать». А чуть ниже, шрифтом помельче: «Молодой рабочий тракторного завода Виктор Васильев беседует с Героем Советского Союза».

В еще большем недоумении — он же ничего не писал! — Витька быстро пробежал небольшой текст, уловив лишь одно — стараниями умудренного Ряшина Чувалин интересуется его, Витькиной, жизнью, производственными делами, одобряет желание молодежи больше знать о ратном подвиге народа в годы войны. И честно говорит юному рабочему, что на войне часто бывает очень страшно, что можно погибнуть в любой момент. И гибли... Но если иначе нельзя, если надо спасать свою Родину...

— Молодец, Витек! — похлопал его по плечу Юсупов. — Прав герой. И ты хорошо написал.



Книжная ПОЛКА



Юрий Перминов.
Сибиряки
в Сталинградской битве.
Тобольск и вся Сибирь.
Тобольск, 2013

Орден Мужества на груди планеты

Трёхтомник «Сибиряки в Сталинградской битве» вышел в издательской серии «Историко-культурологический, литературно-художественный альманах «Тобольск и вся Сибирь». Редактор-составитель книги — главный редактор альманаха Юрий Перминов.

Более полутора тысяч страниц, прекрасная полиграфия, редкие архивные документы и фотографии, письма, воспо-

минания, поэзия и проза, репродукции картин, плакаты, карты и схемы... Трёхтомник посвящён 70-летию победы советских войск в Сталинградской битве. Рассказать об этом событии авторы попытались как можно полнее, и не только об участии в битве сибиряков. Конечно, даже в таком солидном труде невозможно было упомянуть всех поимённо, поведать о каждой дивизии, полке и батальоне. Но эти книги — памятник всем павшим в битве, сыновний поклон ветеранам.

Материалы любого из представленных жанров — будь то стихи, газетные статьи или очерки — вызывают гордость за нашу страну, её героическое прошлое. Широка, как сама Россия, география представленных в трёхтомнике авторов. Это не только Сибирь, Урал и Дальний Восток, но и Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Ульяновск, Волгоград и Воронеж, Саратов, Калининград и Астрахань, а также Казахстан, Украина и Белоруссия. Кто же эти авторы? Историки, политологи, социологи, художники, искусствоведы, военные журналисты, научные работники музеев, поисковики и конечно же сами участники Сталинградской битвы. Книга содержит

фрагменты мемуаров известных советских полководцев, отрывки из произведений Михаила Шолохова, Виктора Некрасова, Михаила Алексеева, Юрия Бондарева, фронтовые песни и стихи поэтов военной поры. Есть, в частности, произведение Николая Палькина, всего несколько дней не дожившего до выхода в свет трёхтомника «Сибиряки в Сталинградской битве»:

Мелькнула заря Подмосковья.
Сумели врага потеснить.
На Волге решается кровью:
Отечеству быть иль не быть?

.....
И гневом кипят перелески,
И сердце исходит тоской,
И в сечу бросается Невский.
И рубится Дмитрий Донской.

Нет места пустым разговорам,
Пути к отступлению нет.
Идёт по окопам Суворов.
Кутузов сзывает совет.

Дом Павлова, яростно меткий,
У смерти на самом краю.
Сошлись все потомки и предки
За русскую землю свою!

За боли её и обиды,
На верную гибель врагам
Гремит Сталинградская битва,
Пылает Мамаев курган...

Этими строками из поэмы Николая Палькина «Мамаев курган» завершается поэтический раздел «Сибирский изборник». Названия других разделов также красноречиво свидетельствуют о содержании альманаха: «Победоносцы», «Подвиг», «Святая Русь», «Как это было», «Мемориальное», «Галерея», «Письма. Беседы. Воспоминания», «Сибиряки идут» и другие. Среди прочих материалов читатель найдёт и очерк об истории создания мемориального комплекса на Мамаевом кургане, о великом скульпторе своей эпохи Евгении Вучетиче и гениальном инженере из Тобольска Николае Никитине.

Выход этого труда — несомненная литературная удача его редактора-составителя, известного русского поэта Юрия Перминова и талантливого московского художника, одного из лучших иллюстраторов книги в России Ивана Лукьянова.

В каждом из нас живёт частичка Сталинграда, и это даёт возможность ощущать собственную принадлежность к беспрецедентному общенародному подвигу. И через семь десятилетий имя Сталинград заставляет вздрагивать потомков несостоявшихся завоевателей. И никакие либералы и масоны не способны изменить Россию, пока в ней жива память о Сталинграде, навечно вписанном в летопись русской славы. «Сталинград — это орден Мужества на груди планеты Земля», — образно сказал о нашем городе чилийский поэт Пабло Неруда.

Каждому в той великой битве была предначертана своя роль. В 1942—1943 годах в донских степях и самом городе кипели кровопролитные бои. И сибиряки из Красноярска и Омска, Иркутска и Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Биробиджана, Новосибирска и Ханты-Мансийска, сибирских районов и сёл по праву гордятся тем, что их деды и отцы тоже внесли свой вклад в разгром фашистов на берегах Волги.

Матвей СИБИРЯКОВ



Борис Екимов.
Возвращение. Рассказы
о живой жизни.
Москва: Ника, 2015

Прислонись к дверному косяку

В московском издательстве «Ника» вышла в свет книга рассказов Бориса Екимова, которая возвращает нас к живым людям, реальным бедам и высокой русской словесности. Впервые книга из-

вестного мастера остросоциальной прозы вышла в православном издательстве.

Хочется думать, что это событие означает перемену в отношении православных издателей к современной отечественной литературе. Ведь почти четверть века они переиздавали сокровища дореволюционной и эмигрантской литературы и с опаской смотрели как на советскую, так и на современную литературу. В понятном стремлении оградить православного читателя от сомнительных в нравственном отношении книг его лишили текущей словесности, а заодно и той недавней советской литературы, которая по-своему хранила понятия о христианских устоях бытия.

Возможно, мои наблюдения непоказательны, но среди тех, кто в основном покупает книги в церковных лавках, нечасто встречаются те, кто читал «Свечечку» Юрия Казакова, «Последний поклон» Виктора Астафьева, «Усвятских шлемоносцев» Евгения Носова, «Старика» Юрия Трифонова, «Привычное дело» Василия Белова, «Последний срок» Валентина Распутина, «Осень в Тамани» Виктора Лихоносова, «Над зыбкой» Виктора Потанина... А все это — азбучная классика русской литературы конца XX века, заветная полка всякого человека, у которого душа болит об Отечестве.

И немногие из них слышали о Борисе Екимове. А ведь если что-то останется для будущих поколений от нынешней российской литературы, сохранится как точное свидетельство пережитого нами, то это рассказы и повести Бориса Екимова. Еще в начале 1990-х тогдашний редактор «Нового мира» Сергей Павлович Залыгин писал: «Пройдут годы, люди захотят понять, чем же все-таки была «перестройка», и вот тут-то они и потребуют реализма как такового... типа новоиерусалимского времен Твардовского и — типа екимовского...»

Каждый рассказ Екимова — это художественное исследование нашей повседневности, но не холодное, а милосердное. Взгляд Екимова точен и милосерден одновременно, и это большой дар. Его герои (в большинстве своем жители задонских станиц и хуторов) по-

стоянно слышат голос совести, и часто именно это делает их одинокими в нынешней жизни.

Помню, как двадцать лет назад, в 1996 году, меня потряс опубликованный в «Новом мире» рассказ Екимова «Фетисыч» — о девятилетнем мальчишке, которого все уважительно звали Фетисычем за рассудительность и раннюю самостоятельность. История о том, как на хуторе умерла единственная старушка-учительница и мальчонка отправился искать ей замену, потрясла тогда всех, кто ее прочитал. Педагогическая газета «Первое сентября» полностью перепечатала этот рассказ, отдав для него половину номера.

Именно «Фетисыч» и открывает новую книгу писателя. В нее вошло тринадцать рассказов. Тринадцать, без преувеличения, шедевров высокой русской словесности, совершенно неделимой на «православную» и «неправославную», «актуальную» и «традиционную», «либеральную» и «патриотическую»...

А название книге дал рассказ «Возвращение» — об одинокой старушке бабе Наде. Живет она в крайней бедности, но видит вокруг лишь хорошее и светлое, такое у нее особенное зрение: «Не забывают люди добрые. Соседи идут, родненькие, свои. Мы все тута посплелися, как плетень...» Ни одного слова осуждения она не говорит даже в адрес соседей-алкоголиков, выгнавших на улицу свою дочку-школьницу.

Баба Надя приютила у себя соседскую девочку и счастлива, что не одна. Им хорошо вместе вечерами: девочка рисует, а старушка молится или рассказывает истории из своей жизни. Однажды, когда девочка была в школе, а баба Надя хлопотала в огороде, грабители зашли в хату и унесли иконы — видно, больше поживиться было нечем.

Девочка-подросток отправляется искать украденные святыни, спрашивает у торговцев, заявляет в милицию. Все напрасно. Баба Надя угасает. Девочка в отчаянии просит: «Господи, помоги...» И тут вдруг «на одной из досок девочке почу-

дился живой образ. Боясь спугнуть это зыбкое видение, она подалась вперед, чтобы взглядеться пристальнее. И увидела отчетливо, ясно, среди зыби линий увидела лик... Он проступал все отчетливей: мягкий рисунок лица, складки большого платка, лицо обрамляющего, выпростанные из платка руки, бережно держащие спеленутого Младенца. Не дыша и не спуская с образа глаз, девочка взяла краски и, опустившись на колени, начала осторожно работать, закрепляя и упрочивая насовсем только ей видимое на темном дереве. Коричневый цвет и охристый, золотистый... Багрянец и лазурь... Одна кисточка, другая...

Наутро в хате все было как прежде. Из переднего угла, украшенная сухими и бумажными цветами, глядела Богородица...»

Прочитайте у Екимова все, что найдете. Каждый его рассказ — это возможность прислониться к дверному косяку отчего дома. Кто-то после такого чтения станет чуть мудрее, кто-то укорит себя и станет чуть внимательнее к старикам и детям.

Дмитрий ШЕВАРОВ



Чулкова М. Е.,
Анипкина А. В.,
Беспалова В. И.
Горнисты трубят
сбор.
Волгоград: Принт,
2015

Пионерские звёзды не гаснут

«Горнисты трубят сбор»: пионерская организация Волгоградской области в очерках, документах и фотографиях, стихах и прозе». Не удивительно, что именно в Волгограде в нынешнем году вышел в свет этот уникальный энциклопедический

труд, посвященный 90-летию пионерской организации и приуроченный к празднованию 70-летия Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Жанр книги — альманах, то есть неперiodический сборник занимательных и справочных сведений, плод многолетней работы авторского коллектива под руководством кандидата педагогических наук, доцента ВГСПУ М. Е. Чулковой, долгое время руководившей областной пионерской организацией. Составители книги — М. Е. Чулкова, Л. В. Анипкина, В. И. Беспалова, а также сами авторы статей.

История пионерской организации сегодня предстает в воспоминаниях участников пионерского движения, разнообразных именах и топонимах.

Так, в Волгограде и Волжском есть улица Пионерская, такие же названия есть в районном поселке Городище, Краснослободске, поселке Степном, хуторе Суходол, селах Ивановка и Студено-Яблоновка Волгоградской области. Есть Пионерский переулок, Пионерский поселок, станция метропрама «Пионерская». Не ушло еще из памяти жителей города название «Волгоградский дворец пионеров».

Парадоксально, но летопись пионерской организации Волгоградской области системно не представлена в каких-либо изданиях, она рассеяна в материалах архивов, отдельных очерках, воспоминаниях, изданиях советского времени, тиражи которых давно разошлись.

Как отмечают составители книги, пионерское движение «не изменило себе, не отреклось от богатой истории Отечества» и сегодня собирает силы: растет его авторитет у молодежных лидеров, родителей и самих школьников.

В книге отмечается, что идейный потенциал пионерии и сегодня живет в детских объединениях, пусть пионеры и превратились в казачат, кадетов, следопытов, а тимуровские команды — в волонтерские группы.

Летопись пионерии Царицына — Сталинграда — Волгограда отражена в самой структуре книги и включает события 1922 —

1930 годов (глава «Утро пионерии»), довоенного периода («На большом подъеме: в труде и борьбе»), Великой Отечественной войны и послевоенных лет («И горн позвал на подвиг, боевой и трудовой»), периодов восстановления хозяйства («Быть частью Родины своей»), трудовых будней 60-х («Труд души тебе, Родина»), 70-х (глава «Деловая поступь не стихает»), 80-х годов («В семье единой»), периодов преобразования пионерии («Гори, костер пионерский») и её возрождения («Пионерские звезды не гаснут»). Завершается рассказ о пионерии Волгоградской области историей этого движения в XXI веке, подготовкой к празднованию юбилея пионерской организации в 2012 году.

Следуя научному принципу исторической достоверности, составители книги посвящают читателя в архивные материалы, документы, фотографии, воспоминания очевидцев и рассказы действующих пионервожатых и педагогов, приводят примеры речёвок, пионерской символики, песен и стихов детского движения разных лет. Возможно, поэтому чтение альманаха «Горнисты трубят сбор» становится поистине захватывающим, а его содержание осваивается с первого знакомства.

В книге можно увидеть копии текстов официальных документов. В них оживает история: лица, конкретные события жизни пионерского движения. Приведем некоторые из них: «О присвоении Сталинградскому Дворцу пионеров и октябрят имени И. М. Варейкиса» — Постановление крайисполкома от 5 мая 1936 года; «О награждении Всесоюзной пионерской организации орденом В. И. Ленина» — Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1962 и от 18 мая 1972 годов.

Неподдельный интерес вызывают письма и приветствия в адрес краевой пионерии руководителей государства, великих полководцев, известных людей своего времени, которые не нуждаются в комментариях. Например, письмо Н. К. Крупской к воспитанникам Нижнечирского детского дома от 26 января 1934 года; телеграмма Верховного Главнокоманду-

ющего Вооруженными Силами СССР И. В. Сталина коллективу Николаевской средней школы 1943 года. Есть и современные документы: обращения главы Администрации Волгоградской области Н. К. Максюты, депутата Государственной думы РФ А. В. Апаринной 1993 года к пионерам области и другие. В этих примерах — уважение к детям как будущему страны, полноценным членам общества.

Память о работе волгоградской пионерии предстает в многочисленных фотографиях, воссозданных на страницах издания.

Они уникальны по своей исторической значимости. Например, фото, запечатлевшие встречу пионеров с итальянскими гостями — бойцами Движения сопротивления; участие героя войны А. П. Маресьева в слете пионеров; беседу Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова с пионерами школы № 50 Волгограда; встречу пионеров города с А. М. Черкасовой, защитником Дома Павлова Т. И. Гридиным, М. А. Шолоховым, другими известными людьми, которые считали своим почетным долгом работу с подрастающим поколением.

Сопоставляя хронику дел и событий пионерии, пунктуально воспроизводимую составителями книги, видишь, что было главной идеей и целью работы пионерии, как менялись ее приоритеты. Вот лишь некоторые факты: 1922 год — масштабное создание пионерских отрядов, первые отряды имени Спартака; 1923 год — пионеры, воспитанники детдомов № 15 и № 31 пишут письма В. И. Ленину; в январе 1924 года пионерским группам и отрядам присвоено имя Ленина (его пионерия носила около 70 лет); в июле этого же года открылся первый царицынский пионерский лагерь «Зеленая поляна» на 800 человек.

Слова «впервые» и «первый» — примета того времени для деятельности пионерской организации, и это хорошо видно на страницах альманаха.

В конце 40-х годов лозунг «Все лучшее — детям» имел практическое подтверждение: летние оздоровительные

лагеря области принимали уже более 19 тысяч детей, появились плавучие пионерлагеря для воспитанников детских домов. Заметны свершения пионерии 60-х годов: в Ленинском районе школьники спасли 4 млн мальков рыб, во Фроловском было высажено 213 молодых деревьев, заложены сады, цветники, в Николаевском открылось первое школьное лесничество «Тополек».

В Волгоградском Дворце пионеров начал работать Клуб интернациональной дружбы. Во всех городах и селах нашего края проведены слеты к 40-летию пионерской организации. В Волгограде с участием пионеров открыто 20 музеев боевой славы, 40 лагерей труда и отдыха.

Авторы книги убедительно доказывают, что во все времена пионерская организация была неотъемлемой частью общественной жизни страны и нашего края. Её дела связаны не только с исторической судьбой Сталинграда, но и с мировыми событиями. Волгоградские пионеры советского времени поддерживали лидеров мирового демократического движения, борцов за независимость, встречались с посланцами доброй воли и юными посланцами мира — девочкой из США Самантой Смит и Катей Лычовой из Москвы.

В практических делах и масштабных проектах пионерии ясно видна динамика развития детско-юношеской организации: от роли первопроходцев и помощников во всех практических делах взрослых к участию в политической жизни страны, поддержанию ее патриотического духа. Пионерская риторика также изменялась со временем, отражая основные вехи истории страны: от лозунгов 20-х годов «Мы боремся с неграмотностью» и «Ни одного колоска не оставим в поле!» до современных «Нести радость людям» и «Мы — наследники Победы!»

Пожалуй, ни в одном другом издании идея развития и преемственности пионерской организации не прослеживается столь четко. В альманахе приводятся любопытные данные: в 1925 году в стране

насчитывалось 1 300 тысяч пионеров, в районах Сталинграда их было более 4 тысяч, в Сталинградском уезде (Качалино, Дубовка и др.) — почти 2,5 тысячи, Хоперском и Усть-Медведицком округах — 4,5 тысячи, 2-м Донском, Ленинском и Николаевском уездах — более 3,5 тысячи. Но уже в восстановленном после войны Сталинграде число пионеров превысило 25 тысяч.

К началу 1966 года в областной пионерской организации состояло уже 180 тысяч членов. В 70-е годы пионерские организации охватывали все школы и практически всех учеников соответствующего возраста нашего города и области.

В 2010 году в волгоградской организации состояло всего 7226 человек. Увы, статистика, как известно, — вещь упрямая!

В книге есть и такой необычный, интересный факт: в пионерском движении сегодня принимают участие взрослые — видимо, еще раз хотят пережить эмоции из детства, которые связаны с творчеством, игрой и романтикой пионерии.

В книге приведены имена, фотографии и воспоминания о лидерах и активистах движения, легендарных вожakov пионерии, первых вожатых школ и интернатов, секретарей комитетов ВЛКСМ, бывших КИДовцев, руководителей организации «Пост №1», военно-патриотической игры «Зарница», лагерей пионерского актива «Альтаир», «Орленок», «Артек» и других.

Многие активисты пионерии советского времени прославили свой край и страну, стали достойными, известными людьми. Среди них Герой Советского Союза Алексей Маресьев; участники войны, а в дальнейшем ученые Владимир Каленов и Владимир Дубков; ответственный секретарь редакции газеты «Волгоградская правда» Елена Алмазова; организатор ассоциации «Дети военного Сталинграда» и музея «Дети Царицына — Сталинграда — Волгограда» Юлия Кулешова; доктор филологии, профессор Виктор Шаховский; академик Олег Трубачев;

к осмонавт Юрий Малышев, композитор Александра Пахмутова и, конечно, многие другие.

Обзор фактов, приведенных в альманахе «Горнисты трубят сбор», дает представление о панораме добрых дел и важных инициатив пионерии Царицына — Сталинграда — Волгограда. Сквозь призму документов разных времён проступают черты социальной и речевой культуры эпох, их символики и важнейших культурных концептов. Таким образом, альманах решает две важные задачи: с одной стороны, дает уникальную целостную и систематизированную картину деятельности пионерской организации нашего края, с другой — предоставляет в распоряжение ученых новый материал для целостного изучения детского патриотического движения. И в этом смысле само энциклопедическое издание, созданное подвижническим трудом неравнодушных людей, представляет собой культурное явление нашего времени.

Светлана ИОНОВА



Отчий Край

Литературно-художественный иллюстрированный журнал

Подписной индекс — 73662
Выходит 4 раза в год

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

400081, Волгоград,
ул. Большая, 15

ТЕЛЕФОН: 37-08-92

otchiykray@mail.ru

Рукописи принимаются
по электронной почте

УЧРЕДИТЕЛИ:

Комитет по культуре
Администрации
Волгоградской области,
ГБУК «Издатель»
ИЗДАТЕЛЬ:
ГБУК «Издатель».
400081, Волгоград,
ул. Большая, 15

Журнал зарегистрирован
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по
Волгоградской области.
Свидетельство
ПИ № ТУ34-00300

Заместитель
главного редактора
Владимир МАВРОДИЕВ
Художественный редактор
Вадим ЖУКОВ

Спецкорреспондент
Елена НИКОЛАЕНКО

Технический редактор
Татьяна ПРОХОРОЕНКО

Корректор
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Подписано в печать
01.12.15

Формат 70x108/16.

Печать офсетная.

Усл. печ. л. 21,2.

Уч.-изд. л. 22,3.

Заказ 2677тп. Тираж 400 экз.

ООО «Т-Пресс»

г. Волгоград, ул. КИМ, 6,

тел./факс: (8442) 26-60-10